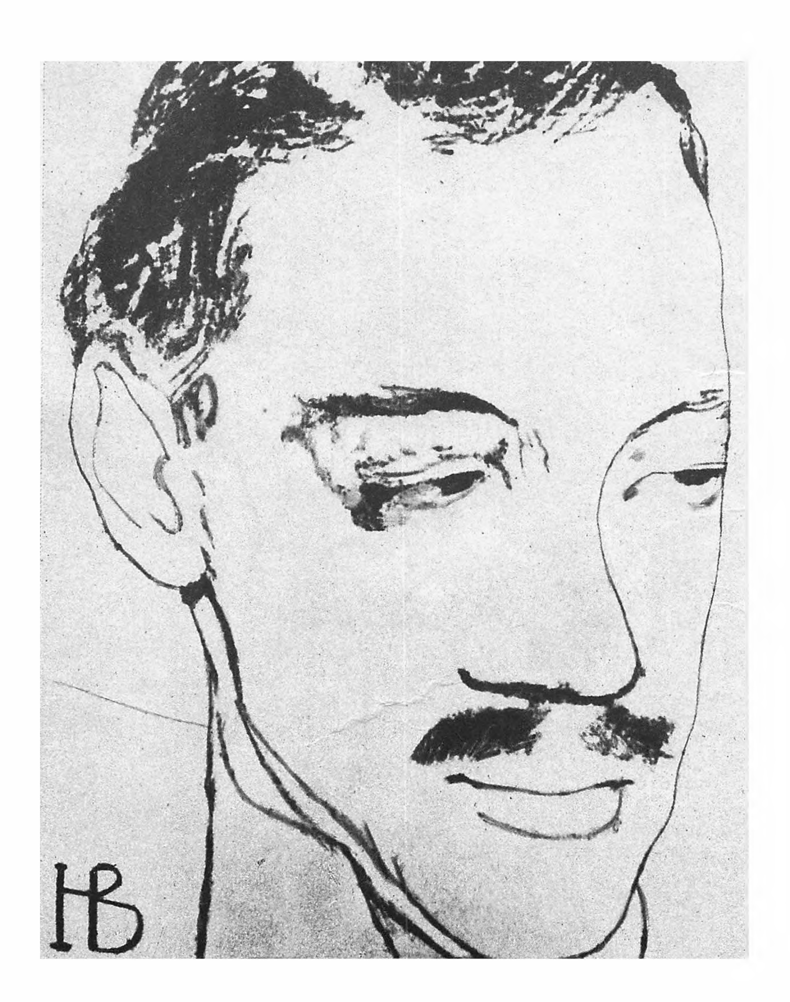

Вера ЛУКНИЦКАЯ
НИКОЛАЙ
ГУМИЛЁВ
Жизнь
поэта
по материалам
домашнего архива
семьи
Лукницких


HB

Вера ЛУКНИЦКАЯ

НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ

Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких

ЛЕНИЗДАТ · 1990

47
Л82

Рецензент *Д. Т. Хренков,*
член Союза писателей СССР

Редактор *Н. А. Чечулина*

На фронтисписе — портрет Н. С. Гумилева работы художницы Н. С. Войтинской. 1909 г.

Все фотографии, представленные в книге,— из архива и коллекции семьи Лукницких.

Л $\frac{4603020101—224}{М171(03)—90}$ 134—91

ISBN 5-289-00908-6

Д. С. Лихачев

ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ ВЕРЫ ЛУКНИЦКОЙ

В 1924 году, заканчивая курсовую работу по творчеству Н. Гумилева, студент Петроградского университета Павел Лукницкий, начинающий поэт, пришел с собранными материалами к Анне Ахматовой.

Встреча положила начало их дружбе и совместному труду о поэте.

В течение пяти с половиной лет Лукницкий постоянно углублял и расширял свой труд, находя с помощью Ахматовой новые сведения, новые факты и очевидцев. Тогда же он собрал все поэтические сборники всех изданий поэта, прозу, пьесы, переводы — практически все, вышедшее в периодической печати, литературоведческие работы поэта и о нем, рукописи и рисунки.

Таким образом, университетская курсовая работа переросла в рукописный двухтомник «Труды и дни» — свод сухих, конкретных фактов — хронологическую канву жизни и творчества Н. Гумилева.

Сам биограф — писатель Павел Лукницкий своей подвижнической жизнью заслужил искреннее уважение и современников, и сегодняшнего поколения. Я считаю за честь, что учился с Павлом Николаевичем на одном факультете Петроградского университета. Черты его натуры: аккуратность, точность, добросовестность, чутье истинных духовных ценностей, его органическая потребность фиксировать в своих дневниках все, что он видит, знает и чем живет,— известны не только в литературной среде.

В 1968 году Лукницкий предпринимал попытки снять запрет с имени Гумилева, обращаясь к Генеральному прокурору СССР, о чем также свидетельствуют документы.

До недавнего времени летопись П. Н. Лукницкого о жизни и творчестве Н. Гумилева печальным грузом покоилась в семейном архиве.

Наступило благоприятное время. Истинные энтузиасты возвращения забытых имен русской культуры приблизили его. И сегодня мы можем сказать, что благодаря таким подвижникам имя Н. С. Гумилева ждет нас, радует своими четкими позициями добра, открывает нам мир художника, жившего в начале века, но который остается нашим современником:

Но когда вокруг свищут пули,
Когда волны ломают борта,
Я учу их, как не бояться,
Не бояться и делать что надо.

Сухой свод библиографических данных так и остался бы прибежищем архивных работников, если бы безвременно ушедшему

Гумилеву не повезло во второй раз. Архивом Павла Лукницкого, который, к сожалению, так и не сумел им воспользоваться, занялась Вера Лукницкая.

Подготовленная работа о жизни и творчестве Н. Гумилева вовсе не претендует ни на полный охват материалов из архива Лукницкого, ни на «переиздание» материалов, выходивших в течение без малого шестидесяти лет за рубежом.

Автор — не литературовед. И она намеренно остановилась на собственном жанре: выбрала для своей работы ценные дневниковые записи биографий Гумилева и Ахматовой — Лукницкого; выдержки из писем Гумилева к Брюсову, полностью списанные с подлинников Лукницким в 1925 году по просьбе Ахматовой у вдовы В. Я. Брюсова; несколько бесед с современниками Гумилева, записанные Лукницким.

В книге использованы и некоторые выдержки из зарубежных публикаций, что вполне оправдано для представления образа.

Благодаря всем вышеназванным примерам автор дает возможность широкому читателю наиболее полно познакомиться с жизнью и деятельностью русского поэта — одной из центральных фигур литературного мира начала века. Главное — и это можно только приветствовать,— что жена и вдова писателя, литератор Вера Константиновна Лукницкая предлагает читателям книгу о Н. Гумилеве, использовав часть записей из дневников П. Н. Лукницкого, которые добавят немало новых сведений в историю отечественной культуры.

О ПОЭТЕ И ЕГО БИОГРАФЕ

> В биографии славной твоей
> Разве можно оставить пробелы?..
>
> *Анна Ахматова*

Книги знаменитого русского поэта Николая Гумилева не переиздавались у нас на родине с начала двадцатых и до конца восьмидесятых годов. Они были библиографической редкостью, предметом охоты коллекционеров и ученых-филологов, занимавшихся поэзией начала XX века. Сегодня гумилевские стихи как бы возвращаются из небытия на свое место в нашей культуре, становятся по праву общенациональным достоянием.

Поэзия Гумилева не устарела и вызывает возрастающий интерес у современного читателя. Об этом говорит тот факт, что изданные за последние три года большими тиражами однотомники поэта мгновенно исчезли с полок книжных магазинов. И естественно, что в связи с этой вновь обретенной популярностью пробудился интерес к личности поэта, к его трагической судьбе.

Создание творческой биографии Гумилева — процесс длительный и потребует усилий множества людей.

Первым биографом поэта был Павел Николаевич Лукницкий — писатель и путешественник, воин и первооткрыватель неведомых земель.

Лукницкий увлекся Гумилевым еще в ранней юности. Он сочинял стихи, подражая Гумилеву, и не мог (не хотел!) избавиться от этой подражательности, хотя называл себя всегда не без иронии «эпигоном Гумилева». Он так и остался верным себе и ему, но, сочиняя стихи всю жизнь, не позволял себе их публиковать с конца двадцатых годов.

И вот теперь, когда нет в живых П. Н. Лукницкого, когда завершился его путь, можно сказать, что «эпигонство» сослужило Лукницкому добрую службу. Жизнь Гумилева стала образцом для жизни самого исследователя.

Совсем еще мальчишкой Лукницкий, прибавив себе два года, пошел на Гражданскую. Поступок решительный, если учесть, что Павел Лукницкий принадлежал к культурной дворянской семье, учился в Александровском и Пажеском корпусах. Конечно, пример его кумира — Гумилева сыграл здесь свою роль. Позже влюбленность в поэзию Гумилева, в его рыцарские подвиги приняла более широкие формы.

После окончания войны Лукницкого направили в Ташкент, и он, не теряя времени, поступил там в Туркестанский народный университет, где стал членом первого литературного объединения в Средней Азии. Вскоре он перевелся по месту постоянного жительства в Петроградский университет.

В университете произошла встреча, определившая дальнейший путь Лукницкого как поэта и исследователя. Он познакомился с М. Л. Лозинским и В. К. Шилейко — переводчиками, поэтами, историками культуры.

Университет предложил Лукницкому сделать работу по Гумилеву (тогда еще такое было возможно — писать о расстрелянном в 1921 году поэте!). С благословения Лозинского и Шилейко — ближайших друзей Гумилева и Ахматовой — Павел Николаевич с величайшей радостью взялся за дело.

В то же самое время случай свел его с подругой Гумилева Ниной Алексеевной Шишкиной-Цур-Милен, последней певицей из старинного цыганского квартета Шишкиных,— красивой, талантливой, образованной женщиной. Н. А. Шишкина писала музыку на стихи Гумилева и пела их, аккомпанируя себе на гитаре.

В Лукницком она почувствовала настолько бескорыстно преданного памяти Гумилева человека, что без колебаний отдала ему книги с дарственными надписями, ноты, рукописи стихотворений, которые Гумилев щедро дарил ей, а порой и писал у нее, спрятавшись от бед и забот последних лет жизни.

Это очень помогло Павлу Николаевичу в его работе.

Вот передо мной подарок Лукницкому — «Гиперборей», ежемесячник стихов и критики за ноябрь и декабрь 1913 года, С.-Петербург. Это журнал, основанный Гумилевым на базе созданного им объединения «Цех Поэтов». Лозинский, прочитав реферат Лукницкого, сделал на журнале надпись: «Павлу Николаевичу Лукницкому с приветствием его благородному труду. 18.V.1924 г. *Лозинский*».

Постигая шаг за шагом жизнь Гумилева, Лукницкий не только изучал поэта, он жил им... Ослепленный поэзией Гумилева, продолжая сам сочинять стихи, он одновременно прозревал... Стал понимать, что это не то, не с в о е, что этого мало. И тогда он, как Гумилев, начал путешествовать. Время, правда, было другое. Уехать за границу — значило эмигрировать, расстаться с родиной навсегда, а Лукницкий уже хорошо знал, как стремился на Родину Гумилев из своих заграничных странствий и с каким трудом весной 1918 года он вернулся уже в Советскую Россию из Англии, добившись у властей паспорта. (Этот паспорт Павел Николаевич воспроизвел в точной копии; она хранится в домашнем архиве.)

Лукницкий исходил пешком, кажется, все горные тропы Крыма и Кавказа, он нанимался матросом на каботажные суда и совершал рейсы по Черному морю, потом — на туркменских шхунах — по Каспию. Но в итоге, подобно Гумилеву, выбравшему для себя не ведомую еще большинству русских Африку, Лукницкий выбрал себе тоже «белое пятно» — неисследованную область на Юго-Восточном Памире. И начиная с 30-го года совершил, так же как и Гумилев, именно три труднейших путешествия по высокогорным областям Памира. Не будучи профессиональным геологом, он открыл и нанес на карту пики, устья рек, ледники и перевалы. Один из пиков в честь Гумилева нарек «Шатром» — по названию книги африканских стихов. (А с 1976 года на географической карте Памира существует и «Пик Лукницкого».)

В 1930 году Лукницкий открыл на Памире местонахождение синего камня — лазурита (ляпис-лазури), за которое через шестьдесят лет, в 1989 году, ему посмертно присвоено звание Первооткрывателя, выдан наследникам диплом, нагрудный знак и даже денежное вознаграждение.

Н. С. Гумилеву в плане признания его заслуг повезло меньше. Ни за его «открытие» Африки, ни за уникальные экспонаты, переданные в Музей этнографии, ни за «месторождение» прекрасных стихов книги «Шатер» или «Абиссинских песен» он не получил пока вознаграждения на своей родине.

Гумилев писал:

Дай за это дорогу мне торную
Там, где нету пути человеку,
Дай назвать моим именем черную
До сих пор не открытую реку.

(А. Ахматова рассказывала Павлу Николаевичу, что, по словам Гумилева, именитый абиссинский вельможа рас Маконен подарил почетному русскому гостю поэту Гумилеву одну свою реку...)

Как Африка в биографии Гумилева, так Средняя Азия в биографии Лукницкого имела очень большое значение. Он написал о ней десятки книг. Его роман «Ниссо» — о людях Памира — переведен на многие языки. И даже в нем Лукницкий — уже сложившийся писатель — как бы подсвечен каким-то вечным гумилевским лучом. Роман этнографичен, снабжен эпиграфами из собственных стихов — это так напоминает характерные черты творчества Гумилева! А реальные предметы быта, которые Лукницкий, следуя примеру Гумилева, собрал в своих путешествиях, к большому сожалению, стареют в нашем доме. Они занимают целую комнату в небольшой московской квартире. Уже шестьдесят лет их некуда деть! Они никому не нужны. Обитатели дома принимают в своей «чайхане» любителей восточных яств и «экзотической» манеры жить да замечают порой ироничные улыбки гостей над чудачествами хранителей домашнего восточного музея...

Подобно Гумилеву в 1914 году, в первый день Отечественной Павел Лукницкий ушел добровольцем на войну. И все 900 дней вражеского окружения находился на передовых позициях Ленинградского и Волховского фронтов. И, защищая Отечество стойко и отважно, он так же, как Гумилев «Записки кавалериста»,— вел ежедневный фронтовой дневник и публиковал части его в периодической печати. Впоследствии дневник был издан в трех томах (более 2000 страниц) под названием «Ленинград действует».

Лукницкий воевал на разных фронтах все четыре года войны, от первого до последнего дня ее, и много раз был награжден за мужество и храбрость. Но более всего он гордился своей причастностью к ленинградской эпопее. Наградные листы за ленинградский подвиг так его и не нашли...

Но вернемся к середине двадцатых. Сделав работу для университета, Лукницкий продолжил исследования по Гумилеву. Он пришел к Шилейко, который обещал ему протекцию в знакомстве с Ахматовой. Сам не решался познакомиться: Ахматова была давно знаменита и, как ему казалось, недоступна.

Знакомство состоялось 8 декабря 1924 года.

Ахматова жила тогда в Мраморном дворце, в той его части, что выходит на Марсово поле, на памятник Суворову и на Неву. В моей книге «Перед тобой Земля» (Лениздат, 1988), в главе «Из двух тысяч встреч», подробно рассказывается об этом доме и его

обитателях (и даже дается план квартиры) и о первой встрече Лукницкого с Ахматовой. Скажу лишь необходимое.

Анна Андреевна Ахматова была в 1910—1918 годах женой Н. С. Гумилева, а в 1918—1921 — женой Владимира (Вольдемара) Казимировича Шилейко — крупного ученого-востоковеда и поэта. Жизнь в 24-м году, то есть в послереволюционный и послевоенный периоды, была неимоверно трудной, и, волею чрезвычайных личных обстоятельств, связанных с этими трудностями, Ахматова некоторое время жила в квартире Шилейко после развода с ним. Они оставались друзьями, помогали друг другу попросту выжить.

Совместная работа Лукницкого и Ахматовой по Гумилеву продолжалась пять лет. Лукницкий записывал за Ахматовой все, что она ему сообщала. Помимо своих рассказов, воспоминаний, ощущений Ахматова называла Лукницкому имена людей, которые могли дать добавочные сведения, показать или отдать документы, предложить свои воспоминания. Лукницкий ездил к ним, записывал и собирал. Когда Ахматова в разное время повторялась, волей или неволей убирая, добавляя детали, а иногда и смещая акценты, в зависимости от обстановки, настроения, самочувствия, он еще раз записывал ее, уже в новой интерпретации.

Вот несколько примеров их совместной работы начального периода.

Ахматова — Лукницкому: «Милый Павел Николаевич, сегодня я получила письмо из Бежецка. Анна Ивановна [1] пишет, что собрала целую пачку писем Николая Степановича.

Шура [2] просит меня узнать адрес Л. Микулич [3]. Вы, кажется, этот адрес записали. Пожалуйста, сообщите его Шуре. И сегодня я не встану, температура очень низкая — оттого слабость. До свидания. *Ахматова.* Царское. 2 апреля. 1925».

Из писем Лукницкого Ахматовой

14.05.1925

...Сегодня выезжаю из Москвы в Бежецк.

Мне следовало бы остаться в Москве еще на несколько дней, но я получил письмо от Александры Степановны (сестры Н. С. Г. — *В. Л.),* которым она приглашает меня приехать в Бежецк на пятницу, субботу и воскресенье, и, если бы я отдал эти три дня Москве, мне пришлось бы остаться здесь еще на неделю, до следующей пятницы.

Мне удалось повидать всех, кого я имел в виду. Исключение — Лариса Рейснер, но ее сейчас нет в Москве. Получил воспоминания от В. К. Шилейко, от М. М. Тумповской [4], от О. А. Мочаловой [5] и

---

[1] Анна Ивановна Гумилева (урожд. Львова, 1854—1941) — мать поэта.

[2] Александра Степановна Сверчкова (урожд. Гумилева, 1872—1952) — сводная сестра поэта.

[3] В. Микулич — псевдоним писательницы и переводчицы Лидии Ивановны Веселитской (1857—1936).

[4] Маргарита Марьяновна Тумповская (1891—1942) — поэтесса, переводчица.

[5] Ольга Алексеевна Мочалова (1898—1981) — поэтесса, приятельница Гумилева.

от Мониной [1]. С Нарбутом [2], Зенкевичем [3] и Павловым [4] виделся, получил от всех определенное обещание прислать воспоминания.

В том, что Зенкевич и Павлов обещания сдержат, я не сомневаюсь. Оба помнят и любят Николая Степановича. Нарбут очень занят службой (он председатель издательства «Земля и фабрика») и тяжел на подъем. Брюсова [5] завоевана до конца. Чулков [6] дал мне напечатанную статью о «Колчане», Горнунг [7] — все, что я захотел, у него взял.

У Тумповской, оказывается, есть только одно письмо Николая Степановича, остальные пропали. Это грустно, но это действительно так.

26.07.1925. Гурзуф.

...Ницше лежит на столе. Коленкоровые тетради — в ящике стола, и я еще ничего с ними не делал, думал на днях заняться и тем и другим. Тогда у меня будут вопросы. Вы позволите посылать их Вам?

19.08.1925

...Не знаю, вернулись ли Вы из Бежецка и застанет ли Вас в Петербурге это письмо. Я прочел «Так говорил Заратустра». Сейчас читаю «По ту сторону добра и зла». Все Ваши положения подтверждаются. Конечно, и «высоты», и «бездны», и глубины, и многое множество других слов навеяны чтением Ницше. Я затрудняюсь в кратком письме подробно показать Вам все, что мне кажется примечательным, — обо всем этом мне бы хотелось побеседовать с Вами в Петербурге. Я получил письмо от Мочаловой, посылаю его Вам — обратите внимание на строчку: «Лариса Рейснер мне не ответила...»

Я пробуду здесь, вероятно, до 6 сентября и на обратном пути рассчитываю побывать три дня в Москве...

У меня есть большая просьба: напишите мне, если это не затруднит Вас, обо всем, что появилось на горизонте нашей работы за этот месяц. Может быть, у Вас есть какие-нибудь пожелания для Москвы?

Лукницкий копировал рукописи Гумилева и, как настоящий архивист, научился это делать виртуозно. Он собирал периодику, ранние сборники, в которых с помощью Ахматовой делал много

---

[1] Вера Монина — подруга О. А. Мочаловой.

[2] Владимир Иванович Нарбут (1888—1944) — поэт-акмеист.

[3] Михаил Александрович Зенкевич (1891—1973) — поэт-акмеист, переводчик.

[4] В. А. Павлов (?) — морской офицер, поэт, знакомый Гумилева.

[5] Иоанна Матвеевна Брюсова (урожд. Рунт) — жена В. Я. Брюсова.

[6] Георгий Иванович Чулков (1879—1939) — беллетрист, критик.

[7] Лев Владимирович Горнунг (род. в 1902 г.) — поэт, литературовед.

помет, касающихся влияний, личных мотивов, дат, разночтений и всякого другого.

Ахматова позже сказала о мемуаристах: «Что касается мемуаров вообще, я предупреждаю читателя, 20% мемуаров так или иначе фальшивки. Самовольное введение прямой речи следует признать деянием, уголовно наказуемым, потому что оно из мемуаров с легкостью перекочевывает в почтенные литературоведческие работы и биографии. Непрерывность тоже обман. Человеческая память устроена так, что она, как прожектор, освещает отдельно моменты, оставляя вокруг неодолимый мрак. При великолепной памяти можно и должно что-то забывать».

Лукницкий начал работу в 1923 году, Гумилев расстрелян в 1921-м. Знакомы они не были. И Ахматовой пришлось вспоминать. Впрочем, как и другим знавшим его людям. Биограф мог утешать себя тем, что работа началась вскоре после гибели поэта, все друзья и близкие были еще молоды, память была крепкой, надежной, ощущения остры, отношение к трагедии Гумилева — однозначное.

Тем не менее, как мы уже говорили, даже у самой Ахматовой бывали повторы в воспоминаниях, добавочные детали или, наоборот,— опущенные, в зависимости от обстановки, настроения или самочувствия.

Молодой Лукницкий понимал, скорее чувствовал, что Ахматовой порой было трудно говорить — у нее, видимо, был некий комплекс вины перед трагической памятью Гумилева. Несмотря на сложные взаимоотношения, они, разойдясь, тянулись друг к другу. Оба осиротели, потеряли дом. Такое русское: «Не смирилась, не уберегла...» — должно быть, мучило Ахматову, и слишком еще свежи были душевные раны.

Ахматова следила за записями Лукницкого очень внимательно. И хотя у него был уже довольно большой опыт ведения дневников, она кое-что корректировала, иногда вычеркивала, а порой даже сжигала. На то ее воля.

Он всегда записывал то, в чем участвовал, что видел, о чем слышал. Иногда слова Ахматовой он ставил в кавычки, иногда — для быстроты письма — опускал их, но при этом все сведения, когда они не помечались другим определенным лицом, все оценки, мнения, рассуждения шли прямо из уст Ахматовой и были записаны в тот же момент, почти стенографически, без привнесения собственного суждения. Если в записях допущены фактические ошибки, это значит, что неверным или неточным было чье-то высказывание.

Из дневника Лукницкого

2.11.1925

Смысл ее слов о моей работе:

— Есть два пути для биографа: одна биография — идеализирующая поэта (может быть, так и нужно писать биографию поэта?). Так — И. Анненский... Это во-первых, а во-вторых, несомненно заведомое умалчивание Кривичем (сыном И. Ф. Анненского. — *В. Л.*) одних фактов, искажение других. Кроме того, Кривич плохо знает отца, плохо его себе представляет, не умеет пользоваться материалами.

В биографии Кривич говорит об Анненском главным образом как об учителе, директоре, чиновнике. Поздравительные адреса при

его отъездах, при перемене службы, развертываются Кривичем в длинный свиток. А главное, конечно, время упущено. Анненский появляется в этой биографии идеализированным. Облик его искажен. Но, может быть, так и лучше? Может быть, найдутся сторонники именно такой биографии?

Вы избрали другой путь. Вы решили собрать все... Даже весь сор, который примешивается к имени человека. Это путь более совершенный, но и более ответственный. Вы должны разобраться в каждой мелочи, пройти сквозь весь этот сор... и только пройдя сквозь него, вы можете создавать подлинный облик Николая Степановича.

Работа Лукницкого над биографией Гумилева, завершившись двумя томами в хронологическом порядке подобранных сухих конкретных фактов под названием «Труды и дни Н. Гумилева», в 1929 году практически была прервана. За этими томами остались записи в дневниках, карточки, заметки на разрозненных листках, рукописи, подлинники и копии документов...

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ К ПОТОМКАМ

Здесь собраны материалы, характеризующие быт, творчество и среду дореволюционных поэтов-акмеистов, главным образом Н. Гумилева. Материал этот имеет большое историко-литературное значение. Когда-нибудь я, а если не я, то другой историк быта и литературы использует эти материалы.

...Уезжая на Памир, я пишу это потому, что на Памире могут быть всякие случайности и человек, вступающий в такое серьезное путешествие, не может быть уверенным, что вернется живым и здоровым...

Апрель 1930 года. Ленинград. *П. Лукницкий*

Лукницкий был уверен, что наступит срок, когда все, что он смог собрать в «Трудах и днях», станет нужным и читателям и культурологам. Этот день пришел. Павел Николаевич, к сожалению, не дождался его. И все равно, он — главный автор этой работы, а я лишь исполняю долг перед его светлой памятью и надеюсь, что даже неискушенный читатель этих страниц сможет почувствовать, каким человеком был Николай Гумилев — поэт, путешественник и воин.

Первую книжку — «Путь конквистадоров» — Гумилев издал в октябре 1905 года, когда был еще гимназистом (как раз в этом месяце он сдавал экзамен за первую четверть VIII класса). В ней были собраны стихотворения, написанные не только в том году, но и в предшествующие два-три года. Не успела книжка появиться — недоброжелатели тотчас приклеили Гумилеву ярлык «конквистадора», и приклеили столь прочно, что критики до недавних пор так и называли его — конквистадором, завоевателем...

Влияние символистов было для Гумилева определяющим примерно до 1910 года, когда, пережив обаяние и свежесть символизма, он выработал собственное мироощущение, восстав против мистики, расплывчатости, туманных словоизречений...

Многое способствовало этому. И в первую очередь — характер самого Гумилева, ценившего твердую поступь по реальной земле и иронично относившегося к абстрактным рассуждениям о таинственном и нездешнем. Большое влияние оказало изучение французских поэтов парнасской школы с провозглашенной этой школой строгой формой стихосложения: каждое слово должно обозначать только то, что оно действительно значит.

Конкретные «земные» реалии, которые особенно заметно проявились после первого путешествия поэта в Африку, салонные завсегдатаи и мистики объявили «экзотикой», вложив в это понятие несколько презрительный оттенок.

Пусть хозяева здесь англичане,
Пьют вино и играют в футбол,
И Халифа в высоком Диване
Уж не властен святой произвол.

Пусть, но истинный царь над страною
Не араб и не белый, а тот,
Кто с сохою иль с бороною
Черных буйволов в поле ведет.

Пусть ютится он в поле из ила,
Умирает, как звери в лесах,
Он — любимец священного Нила
И его современник феллах.

Для него ежегодно разливы
Этих рыжих всклокоченных вод
Затопляют богатые нивы,
Где тройную он жатву берет.

А между тем все, о чем писал тогда Гумилев, было выражением изведанного им. Африканский дневник, стихи об Африке, поэма «Мик» — все автобиографично.

Н. М. Минский — писатель и философ начального периода символизма — в «Новой русской книге» (1922, Берлин) пишет: «Основной чертой творчества Гумилева была правдивость. В 1914 году я с ним познакомился в Петербурге, он, объясняя мне мотивы акмеизма, между прочим, сказал: „Я боюсь всякой мистики, боюсь устремлений к иным мирам, потому что не хочу выдавать читателю векселя, по которым расплачиваться буду не я, а какая-то неведомая сила“».

И как странно было появление в суждениях о нем третьего, противоречащего всему его творчеству ярлыка, утверждающего, будто Гумилев холодно и бесстрастно изображает лишь то, что является плодом его безудержных фантазий.

В первую мировую войну Гумилев был конным разведчиком, честно и храбро воевал, за что и был награжден. Вел дневник — «Записки кавалериста» — и писал стихи. На него навесили четвертый ярлык — шовиниста и империалиста.

Мучителен был рубеж, расколовший русскую интеллигенцию на два потока. В одном — люди, имевшие мужество уйти, уехать, пережить муки ада на чужбине и сохранить чувство родины, в другом — имевшие мужество пережить муки ада, остаться на родине и найти в себе силы жить и работать.

Таков был выбор Ахматовой. Таким, судя по биографии Гумилева, был бы и его выбор. (Здесь уместно привести слова Марины

Цветаевой из ее работы о В. Брюсове «Герой труда»: «Соблазнительное сопоставление Бальмонта и Гумилева. Экзотика одного и экзотика другого. Наличность у Бальмонта и, за редким исключением, отсутствие у Гумилева темы «Россия». Нерусскость Бальмонта и целиком русскость (разрядка моя. — *В. Л.*) Гумилева».

Когда Гумилев вернулся с войны, многие друзья и единомышленники покидали Россию, а он рвался домой. В Петрограде, как всегда, много работал, преподавал, выступал, возглавил Союз поэтов, сотрудничал в горьковской «Всемирной литературе». Но ярлыки и здесь не обошли поэта. Теперь бы мы сказали — зловещие ярлыки. И время им способствовало.

Гумилев неоднократно повторял, что считает себя вне политики. Не прославлял и не отвергал ни царя, ни революцию.

Чума, война иль революция,
В пожарах села, луг в крови,
Но только б пела скрипка Муция
Песнь торжествующей любви.

Однако аполитичность — тоже политика, во всяком случае, эти высказывания Гумилева дали возможность причислить поэта к лику злостных реакционеров, пробравшихся в советские идеологические учреждения, чтобы разрушить их изнутри. И этот ярлык получил Гумилев в декабре 1918 года, почти сразу же после объявления 5 сентября красного террора...

Н. С. Гумилев был мужественным человеком. Нападки он переносил стойко, не унижаясь до мести. Не оборвись его жизнь так рано (ведь он чуть больше Лермонтова прожил в нашей литературе), он бы творчеством своим защитил себя.

П. Н. Лукницкий взял на себя функцию не только летописца, но и адвоката, разрушителя ярлыков. Он любил Гумилева и поэтому, наверное, лучше других чувствовал, понимал его.

Из обращения Лукницкого к потомкам в 1930 году видно, что публикация его работы по Гумилеву в ближайшем будущем не состоится. Довольно скоро наступили времена, когда и просто хранить такие документы было опасно. А Лукницкий сохранил многое. Мало того, он размножал стихи и ценные материалы (кроме личных дневников) и передавал экземпляры в Библиотеку имени Ленина, в Публичную библиотеку Ленинграда, в архивы, в частные руки — чтобы не прерывалась нить, не терялся след, не останавливался пульс...

А тем временем за рубежом издавались книги Гумилева: собрания сочинений, сборники, отдельные произведения; воспоминания печатали современники поэта, издавались литературоведческие работы и не изданные при жизни произведения — иногда с помощью анонимных добровольцев — поставщиков документов, чаще открыто, с точными адресами источников из СССР. Энтузиасты рылись в архивах, искали, находили, передавали туда, где публиковали, где издавали. Иногда были ссылки на Лукницкого. Но чаще материалы, найденные в библиотеках, хранилищах, в частных собраниях, использовались анонимно.

У Лукницкого не было скупости архивиста. Он только радовался, когда узнавал о новых публикациях по Гумилеву. Жалел только, что не дома, в России...

А дома — дома он до самой смерти помогал всем, кто занимался исследованиями по Гумилеву и Ахматовой, щедро делясь

своими знаниями. Много его писем-ответов с информациями лежит в личных архивах В. В. Жирмунского, Лидии Чуковской, Романа Тименчика, М. Кралина, Ольшанской и многих других. В семейном архиве хранятся копии этих писем и письма-вопросы к нему...

В заключение позволю себе сказать, что, имея возможность быть причастной к архиву Лукницкого о Гумилеве, оглядываюсь назад — и что же? До конца Гумилев живет в своих созданиях. Не правда ли, все они — и Гондла, и Северный Раджа, и Колумб, и короли из первой книги, и бесстрашные капитаны — все они стремятся к одному и тому же, и устами их всех говорит все тот же верный себе и своему необыкновенно цельному мировоззрению, неутомимый, страстный, мудрый и юный в своей наивности, задумчивый одинокий воин и капитан. Читаешь его стихи — и хочется водить караваны, идти и строить на северных суровых утесах золотоглавые храмы, подниматься под самый купол, где мыслит только о прекрасном и вечном упрямый Зодчий, смотреть на древнее, высокое небо, на звезды и петь с ними о тайнах мира и великой к нему любви.

А мы, дети своего века, разрешали себе, расталкивая друг друга, торопясь, бессвязно лепеча, высказывать безжалостные и несправедливые, придирчивые и пристрастные мысли о том, что выше, неизмеримо выше нас, в чем больше вдохновенья и божества, вместо того, чтобы сохранить для будущего прекрасный образ Поэта. Не так уж часто балует нас этим вечность!

В книге используются следующие издания:

Николай Гумилев. Стихотворения и поэмы. 3-е изд. Советский писатель. Библиотека поэта. Большая серия. Л., 1988.

Николай Гумилев. Стихи. Поэмы. Тбилиси, Мерани, 1988.

Н. Гумилев. Собр. соч. в 4 т. Под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Изд-во книжного магазина Victor Kamkin Inc. Вашингтон, 1962—1968.

Николай Гумилев. Неизданное и несобранное. Составление, редакция и комментарии М. Баскер и Ш. Греем. VMCA-PRESS. Paris, 1986.

Николай Гумилев в воспоминаниях современников. Редактор-составитель, автор предисловия и комментариев Вадим Крейд. «Третья волна» Париж — Нью-Йорк, «Голубой всадник» Дюссельдорф, 1989.

Гумилевские чтения. Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband, 15. Wien, 1984.

Вера Лукницкая. Перед тобой Земля. Лениздат, 1988.

Наше наследие, 1988, № 5, 6.

Новый мир, 1989, № 1—4.

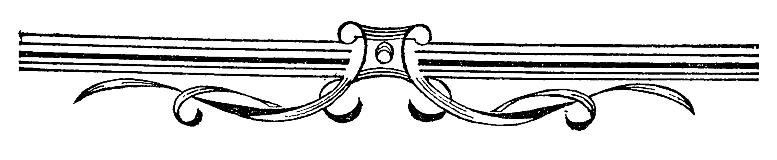
Звезда, 1989, № 6.

Неман, 1989, № 5.

Московские новости, 1989, № 44, 48.

В начале глав — эпиграфы из Гумилева. В конце каждой главы приводятся некоторые библиографические сведения, в том числе из неопубликованной книги П. Н. Лукницкого «Труды и дни Н. Гумилева».

Вера Лукницкая



1886—1904

Солнце, сожги настоящее
Во имя грядущего,
Но помилуй прошедшее!

3 апреля 1886 года, по старому стилю, в Кронштадте, в доме Григорьевой по Екатерининской улице, у морского врача Степана[1] Яковлевича Гумилева и его жены Анны Ивановны родился сын, через двенадцать дней крещенный Николаем. Таинство крещения на дому совершил протоиерей Кронштадтской военной госпитальной Александро-Невской церкви о. Владимир Краснопольский. Крестным отцом стал адмирал Лев Иванович Львов, дядя поэта по матери, крестной матерью — Александра Степановна Сверчкова, дочь С. Я. Гумилева от первого брака.

В материалах Лукницкого, без указания даты, есть запись: «Пращур поэта по линии матери князь Милюк был первым владельцем имения Слепнево Бежецкого уезда Тверской губернии[2].

И. Я. Милюков (прапрадед поэта со стороны матери) участвовал в сражении под Очаковом.

Я. А. Викторов (прадед поэта по линии матери) участвовал в сражении под Аустерлицем, был ранен, лишился зрения и денщиком был доставлен в Россию. Прожил сто с лишним лет. (Со слов А. А. Ахматовой записаны стихи Гумилева из незаконченного цикла о Наполеоне, 1912 г.)

Мой прадед был ранен под Аустерлицем
И замертво в лес унесен денщиком,
Чтоб долгие, долгие годы томиться
В унылом и бедном поместье своем».

---

[1] Правильное имя отца Н. С. Гумилева — Стефан.
[2] При жизни Н. С. Гумилева Слепнево принадлежало его матери.

Есть примечание: возможно, что вместо слова «унылом» в стихотворении было слово «угрюмом».

6 октября 1806 года родился Иван Львович Львов — дед поэта по линии матери. 27 декабря 1814 года родилась Юлиана Яковлевна Львова, урожд. Викторова, — бабушка поэта по линии матери.

30 июля 1836 года родился отец поэта, Степан Яковлевич, в Жолудеве Рязанской губернии. Отец отца был дьяконом в Жолудеве. Степан Яковлевич был младшим в семье, тоже закончил духовную семинарию. Сестры его были замужем за священнослужителями.

Через полтора месяца после рождения сына С. Я. Гумилев был произведен в статские советники и уволен по болезни от службы «с мундиром и пенсионом», и 15 мая семья переехала на жительство в Царское Село.

Гумилевы купили двухэтажный дом с садом и флигелями на Московской улице, № 42, против Торгового переулка. (В наши дни на этом месте построена школа-интернат. Дом Гумилевых не сохранился. Но если бы он существовал, то, скорее всего, находился бы под № 55).

Николай Степанович рос маленьким, худеньким и до десятилетнего возраста был очень слаб здоровьем. Страдал сильными головными болями. После прогулок, особенно городских, он чувствовал себя совершенно больным. Лишь в Тифлисе в пятнадцатилетнем возрасте головные боли прекратились окончательно.

Мать Гумилева ценила только один метод воспитания — доброту, а в образовании главным и необходимым считала — развивать вкус. Она утверждала, что сущность человеческой природы определяется и выражается нашими вкусами. Развивать вкус в ребенке то же, что формировать его характер.

На шестом году Коля выучился читать.

Первые попытки литературного творчества относятся именно к этому времени. Мальчик сочинял басни, хотя и не умел еще их записывать. Вскоре стал сочинять и стихи. П. Н. Лукницкий записал, со слов Ахматовой, отрывок из стихотворения шестилетнего Коли Гумилева:

Живала Ниагара
Близ озера Дели,
Любовью к Ниагаре
Вожди все летели...

Весной 1893 года Н. Гумилев выдержал экзамен в приготовительный класс Царскосельской гимназии. Пе-

ред экзаменами сомневался в своих познаниях и делился по секрету своими сомнениями с гувернанткой. Однако на экзаменах отвечал совершенно спокойно, без всякого волнения, и оказалось — он все прекрасно знает.

Характер у Гумилева развивался спокойный, мягкий и совсем не мрачный. Он терпеливо переносил все неприятности, связанные с его слабым здоровьем, был тихим, редко плакал. Его няня, Мавра Ивановна, привязалась к мальчику за его покладистость, ласковость, кроткий нрав и жила у Гумилевых четыре года.

Жизнь в доме протекала размеренно и спокойно. Каждый день был расписан точно, как нотный лист: завтрак, разговоры о делах и политике, прогулки, чтение вслух, вечером зажигались свечи, приходили гости, хрустели белые скатерти...

Занятия в гимназии утомляли. Иногда мальчик засиживался до одиннадцати часов ночи: делал выписки из книг, выучивал наизусть тропари. В конце осени заболел бронхитом. Родители взяли сына из гимназии и пригласили домашнего учителя. Мальчик начал заниматься дома со студентом физико-математического факультета Баграпием Ивановичем Газаловым. Студент остался с воспитанником и летом.

Осенью Гумилевы переехали из Царского Села в Петербург, наняли квартиру в доме Шамина, на углу Дегтярной и 3-й Рождественской улиц. Дом по Рождественской улице тогда стоял под № 32. Жили Гумилевы в квартире № 8. Теперь эта улица называется 3-й Советской. Здание, к счастью, сохранилось.

Газалов готовил Гумилева к вступительным экзаменам в гимназию Гуревича — знаменитого педагога и директора Собственных учебных заведений.

Гимназия находилась на Лиговском проспекте, № 1, то есть на углу Бассейной (ныне ул. Некрасова).

Мальчик увлекся зоологией и географией. Завел дома животных — морских свинок, белых мышей, птиц, белку. Когда дома читали описание какого-нибудь путешествия, Коля всегда следил по карте за маршрутом. Учитель, не сумев привить маленькому другу любовь к математике, подарил ему книгу с надписью: «Будущему зоологу», а в шутку звал его Лобачевским.

Курс обязательного обучения не вызывал у гимназиста интереса, и говорить об успехах в учебе было бы преувеличением. Ходил в гимназию без рвения. Равнодушие к регулярным занятиям ловко компенсировал

наверстыванием упущенного в короткие сроки и, быстро отрешаясь от учебы, все более погружался в чтение. Всегда любил первую свою книжку — сказки Андерсена. Ахматова рассказывала, как Гумилев ревниво хранил эту книгу и, уже знаменитым поэтом, любил перечитывать ее.

В 1890 году Гумилевы купили усадьбу по Николаевской железной дороге — в Поповке. Усадьба небольшая: два дома, флигель, пруд и парк, обрамленный хвойным лесом.

Не в одном стихотворении Гумилев обращается к своему детству. И строфа:

Цветы, что я рвал ребенком
В зеленом драконьем болоте,
Живые, на стебле тонком,
О, где вы теперь цветете? —

по словам Ахматовой — о Поповке.

Десять лет Гумилевы провели в любимой Поповке, сначала только летние месяцы, а потом, с поступлением детей[1] в гимназию, и зимние каникулы.

Гумилев говорил, что ничто так не помогает писать стихи, как воспоминания детства:

«Когда я нахожусь в особенно творческом состоянии... я живу будто двойной жизнью, наполовину здесь, в сегодняшнем дне, наполовину там, в прошлом, в детстве. В особенности ночью.

Во сне — не странно ли? — я постоянно вижу себя ребенком. И утром, в те короткие таинственные минуты между своим пробуждением, когда сознание плавает в каком-то сиянии, я чувствую, что сейчас, сейчас в моих ушах зазвучат строки новых стихов...

Хорошо тоже вспоминать свое детство вслух.

Меня очень баловали в детстве — больше, чем моего старшего брата. Он был здоровый, красивый, обыкновенный мальчик, а я — слабый и хворый. Ну, конечно, моя мать жила в вечном страхе за меня и любила меня фанатически. И я любил ее больше всего на свете. Я всячески старался ей угодить. Я хотел, чтобы она гордилась мной».

Светлые воспоминания детства утешали его, развлекали, придавали силы, помогали справляться с неудачами. Он любил говорить о том, что маленьким был

---

[1] У Н. С. Гумилева был старший брат Дмитрий Степанович (1884—1922).

очень счастлив, и он понимает, какой великий дар судьбы — счастливое детство. Он считал, что все нравственные представления взрослой жизни — из детства. Он любил вспоминать свои разговоры с матерью... Ее мало трогали гимназические неуспехи сына, она хотела, чтобы он понял одну важную мысль — наука много сделала для человечества, но жалка та наука, которая захотела бы заменить собой святость веры.

Может быть, разговорами с нею навеяны слова поэта: «Обрати внимание, какая не прерывающаяся никогда нить истины проходит здесь. Разве божество не говорит также и нашему уму в каждой звезде, в каждой былинке, если мы только откроем свои глаза и свою душу? Наше почитание не имеет теперь такого характера, но не считается разве до сих пор особым даром, признаком того, что мы называем «поэтической натурой», способность видеть в каждом предмете его божественную красоту, увидеть, насколько каждый предмет представляет око, через которое мы можем смотреть, заглянуть в самую бесконечность?»

Человека, способного всюду подмечать то, что заслуживает любви, мы называем поэтом, художником. И разве не чувствует каждый человек, как он сам становится выше, воздавая должное уважение тому, что действительно выше его?

Летом 1897 года отдых в Поповке был прерван — семья поехала в Железноводск: по предписанию врачей отец Гумилева должен был пройти курс лечения. Мальчик не любил традиционные прогулки у подножия горы Железной. Он любил читать. А еще, захватив из дому изрядную коллекцию оловянных солдатиков, устраивал баталии всех родов войск.

Вернувшись осенью в Петербург, Гумилевы поселились в просторной квартире на Невском проспекте, № 97, кв. № 12.

Мальчик начал занятия во втором классе, как всегда, равнодушно-спокойно. Зато увлек оловянными солдатиками своих сверстников. Устраивались примерные сражения, в которых каждый гимназист выставлял целую армию.

Так он сблизился с товарищами. Организовал с ними «тайное общество», где играл роль Брамы-Тамы. В здании гимназии, в людской, в заброшенном леднике, в пустом подвале устраивались собрания членов «общества» при свечах, в самой конспиративной обстановке. Мальчишки были помешаны на тайных ходах, на

подземельях, на заговорах и интригах, выстукивали в домах стены, лазили по подвалам и чердакам, искали клады, разочаровывались и снова увлекались.

В это время Коля Гумилев прочел все, что было дома и у друзей. Родителям пришлось договариваться со знакомым букинистом. Любимые его писатели: Майн Рид, Жюль Верн, Фенимор Купер, Гюстав Эмар, любимые книги: «Дети капитана Гранта», «Путешествие капитана Гаттераса».

Гимназический товарищ Гумилева Л. Леман рассказывал, что комната Николая Степановича в Петербурге была загромождена картонными латами, оружием, шлемами, разными другими доспехами. И книгами, книгами. И все росла его любовь к животным: попугаи, собаки, тритоны и прочая живность были постоянными обитателями в доме Гумилевых.

Он любил говорить об Испании и Китае, об Индии и Африке, писал стихи, прозу. Наверное, поводом были не только книги, но и рассказы отца о его плаваниях по морям-океанам. И военные истории дяди-адмирала.

С нетерпением дождавшись весны, Гумилев снова на воле, в Поповке. Он все чаще и чаще заменял теперь игры в солдатиков «живыми» играми с товарищами в индейцев, в пиратов, в ковбоев. Играл самозабвенно. Одно время выполнял роль Нэна-Саиба — героя восстания сипаев в Индии. Он даже требовал, чтоб его так и называли. Потом стал Нададом Красноглазым — героем одного из романов Буссенара. По чину ему полагалось быть кровожадным. Но кровожадность никак не получалась. Однажды мальчики собрались жарить на костре пойманных карасей. В возмездие за проигрыш в какой-то игре один из товарищей потребовал от Коли, чтобы тот откусил живому карасю голову. Процедура не из приятных. Но Коля, для поддержания репутации кровожадного, мужественно справился с задачей, после чего, правда, от роли отказался.

Из дневника Лукницкого

24.12.1927

АА[1]: «В июле 1925 г. я была в Бежецке у А. И. Гу-

[1] АА — так в дневниках Лукницкого обычно обозначается А. А. Ахматова. Н. С. — обычное сокращение имени и отчества Гумилева.

милевой. Она охотно говорила со мной о Н. С. Там же я видела две интересные фотографии: остров на пруде в Поповке и группу детей в лодке (Гумилев и Краснос...)» [1]

Родители давали обыкновенно каждому из участников игр по лошади, и им легко было воображать себя ковбоями или индейцами. Гумилев носился и на оседланных, и на неоседланных лошадях, смелостью своей вызывал восторг товарищей. В центре пруда был островок, обычное место сражений. Компания делилась на два отряда: один защищал остров, другой брал его штурмом. В этих играх Гумилев выделялся взрослой смелостью при всей своей милой наивности и вспыльчивостью при бесконечной доброте.

С детских лет Гумилев был болезненно самолюбив: «Я мучился и злился, когда брат перегонял меня в беге или лучше меня лазил по деревьям. Я хотел все делать лучше других, всегда быть первым. Во всем. Мне это, при моей слабости, было нелегко. И все-таки я ухитрялся забираться на самую верхушку ели, на что ни брат, ни дворовые мальчики не решались. Я был очень смелый. Смелость заменяла мне силу и ловкость. Но учился я скверно. Почему-то не помещал своего самолюбия в ученье. Я даже удивляюсь, как мне удалось кончить гимназию. Я ничего не смыслю в математике, да и писать грамотно не научился. И горжусь этим. Своими недостатками следует гордиться. Это их превращает в достоинства».

И еще он понял: человеку необходимо быть храбрым, он должен идти вперед и оправдать себя как человека. Он настолько лишь человек, насколько побеждает свой страх.

Все больше и больше увлекался сочинительством. У него уже была целая тетрадка собственных стихов. Никто не мог остановить его. Полюбил Пушкина; читал не только сам — заставлял читать товарищей.

Осень. Петербург. Занятия в третьем классе гимназии. Посещения утренних спектаклей для царскосельских гимназистов, в числе которых неизменно был Гумилев. «Руслан и Людмила» и «Жизнь за царя» — в Мариинском, Островский — в Александринском, «Потонувший колокол» Гауптмана, Шекспир — в Малом.

---

[1] Так в дневнике.

В личной библиотеке к Пушкину прибавились Жуковский, затем Лонгфелло — «Песнь о Гайавате», Мильтон — «Потерянный рай», Колридж — «Поэма о старом моряке», которую впоследствии поэт переведет сам, Ариосто — «Неистовый Роланд».

В гимназии издавался рукописный литературный журнал. В нем Николай Степанович поместил свой рассказ: нечто похожее на «Путешествия Гаттераса». Там фигурировали северные сияния, затертый льдами корабль, белые медведи. По книгам издателя Гербеля и выпускам «Русской классной библиотеки» под редакцией Чудинова, которые Гумилев скупал и прочитывал все подряд, он составлял конспекты, и теперь уже не отец рассказывал ему о плаваниях (он все чаще и тяжелее хворал), а сын отцу «делал доклады» о современной литературе. Причем Степан Яковлевич всегда отмечал, что сын говорит хорошо — не волнуясь, спокойно, а главное, систематично, что он имеет все задатки будущего лектора.

Гумилеву было тогда двенадцать лет.

В следующем году он написал большое стихотворение «О превращениях Будды».

1900 год. У старшего брата Дмитрия обнаружился туберкулез, и родители решили для укрепления здоровья детей перевезти их на Кавказ, в Тифлис. Оставили квартиру в Петербурге, продали Поповку, продали мебель.

Гумилев поступил в четвертый класс Второй тифлисской гимназии, проучился полгода, а 5 января 1901 года родители перевели его в Первую тифлисскую мужскую гимназию, находившуюся на Головинском проспекте (ныне проспект Руставели). Эта гимназия считалась лучшей гимназией города.

За зиму Степан Яковлевич сумел приобрести небольшое, в 60 десятин, имение Березки в Рязанской губернии. Как каждого человека на склоне лет, его, вероятно, потянуло в родные места. Но все-таки, скорее, климат и живительная природа определили этот выбор. Кроме того, северным детям был необходим здоровый отдых с нежарким летом.

25 мая 1901 года Гумилевы отправились в имение, чудесно прожили лето и к 1 сентября вернулись в Тифлис.

Пятый класс гимназии. Успехи, как всегда, средние, а по греческому — и вовсе никакие. Назначена переэкзаменовка на осень. С этим Гумилев уехал, нимало,

впрочем, не огорчившись, в Березки. Там, как всегда, читал, носился на лошадях, сочинял стихи о Грузии и о любви.

Под впечатлением Надсона писал в девичьи альбомы:

Когда же сердце устанет биться,
Грудь наболевшая замрет?
Когда ж покоем мне насладиться
В сырой могиле придет черед?

Но, несмотря на эти замогильные стихи, Гумилев не был пессимистом. Наоборот. Любовь, тайна, неизведанность страсти притягивают его все сильнее, делая его жизнь отнюдь не однообразной и скучной.

Из Березок в Тифлис он приехал один, самостоятельно: это ощущение было бесконечно интереснее экзамена, который он тем не менее успешно сдал.

В начале сентября 1912 года выступил в газете «Тифлисский листок» с собственным стихотворением «Я в лес бежал из городов». Первая публикация доставила ему огромную радость и определила дальнейший путь.

Самостоятельная жизнь настолько понравилась, что он весною следующего года остался в Тифлисе у приятеля по гимназии — Борцова, взял репетитора по математике и сдал экзамены за шестой класс. Круг его интересов расширился: он увлекся астрономией, стал брать уроки рисования, совершил массу прогулок в горы и на охоту, зачитывался Владимиром Соловьевым, полюбил Некрасова, иногда посещал вечеринки с танцами у друзей дома — Линчевских, хотя к танцам относился пренебрежительно. Отличался серьезностью поведения. Свою необычную внешность старательно совершенствовал изысканными манерами.

21 мая 1903 года Гумилев окончил шестой класс и получил от директора Первой тифлисской гимназии отпускной билет в Рязанскую губернию сроком до 1 сентября 1903 года.

В то время большая часть тифлисской молодежи была настроена революционно. Под влиянием товарищей, в особенности одного из братьев Легранов — Бориса, впоследствии политработника, и Гумилев увлекся (он всегда быстро загорался) политикой. Начал изучать «Капитал» Маркса. А летом, в деревне, между тренировками в верховой езде и чтением левой политической литературы, стал вести агитацию среди местных жителей. Поскольку он успешно воспитывал в себе уме-

ние учить, поражать, вести за собой — словом, лидерствовать, то и с рабочими-мельниками ему это удавалось, что, естественно, вызвало массу серьезных неприятностей со стороны губернских властей: гимназисту пришлось покинуть Березки.

Но увлечение оказалось неглубоким. Гумилев никогда больше к политике не возвращался и не стремился в нее вникать. Когда началась русско-японская война, он, насмотревшись на расклеенные по стенам домов и в витринах магазинов мажорные картинки победоносных действий русской армии, решил, «как гражданин и патриот России», непременно ехать добровольцем на фронт. Родным и друзьям с трудом удалось его отговорить, втолковав ему всю позорную бессмысленность бойни на Дальнем Востоке.

Приведу несколько примеров его отношения к политике.

В письме Брюсову 8.01.1907 года из Парижа Гумилев писал, что из созданного им журнала «Сириус» «политика тщательно изгоняема».

Еще в одном из парижских писем Брюсову: «...сама газета показалась мне симпатичной, но я настолько наивен в делах политики, что так и не понял, какого она направления...»

Лариса Рейснер писала итальянцу Скарпа в 1922 году: «Malheuresement il ne comprenait pas rien dans la politique, ce «parnassien russe»[1].

Не использовав летний отдых до конца, Гумилев с матерью и сестрой выехал в Царское Село. Остальные члены семьи продолжали жить в Березках. Степан Яковлевич послал прошение директору Николаевской царскосельской гимназии о помещении его сына, ученика Первой тифлисской гимназии Н. С. Гумилева, в седьмой класс, «в который он по своим познаниям переведен».

В Царском Селе Гумилевы сняли квартиру — на углу Оранжерейной и Средней улиц, в доме Полубояринова (сейчас Средняя улица называется улицей Коммунаров, а Оранжерейная — Карла Маркса). Одну из комнат Николай, к удивлению родных и ужасу хозяев, превратил в «морское дно» — выкрасил стены под цвет

---

[1] К сожалению, он (Гумилев.— *В. Л.*) ничего не понимал в политике, этот «русский парнасец».

морской воды, нарисовал на них русалок, рыб, разных морских чудищ, подводные растения, посреди комнаты устроил фонтан, обложил его диковинными раковинами и камнями.

Директор Императорской Николаевской царскосельской гимназии И. Ф. Анненский вакансий для экстернов не имел, и 11 июля 1903 года Николай Гумилев был определен интерном, однако с разрешением ему, в виде исключения, жить дома.

«Я всегда был снобом и эстетом, — вспоминал Гумилев. — В четырнадцать лет я прочел «Портрет Дориана Грея» и вообразил себя лордом Генри. Я стал придавать огромное внимание внешности и считал себя некрасивым. Я мучился этим. Я действительно, наверное, был тогда некрасив — слишком худ и неуклюж. Черты моего лица еще не одухотворились — ведь они с годами приобретают выразительность и гармонию. К тому же, как часто у мальчишек, красный цвет лица и прыщи. И губы очень бледные. Я по вечерам запирал дверь и, стоя перед зеркалом, гипнотизировал себя, чтобы стать красавцем. Я твердо верил, что силой воли могу переделать свою внешность. Мне казалось, что с каждым днем я становлюсь немного красивее».

24 декабря 1903 года общие друзья познакомили Гумилева с гимназисткой Анной Горенко, будущим поэтом Анной Ахматовой. Потом они встретились на катке. Некоторые стихи и поэмы Гумилева этого периода были посвящены Ане Горенко и позже вошли в его первый сборник «Путь конквистадоров». На экземпляре сборника, подаренного ею П. Н. Лукницкому, они помечены рукою Ахматовой: «мне».

ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ

Осенней неги поцелуй
Горел в лесах звездою алой,
И песнь прозрачно-звонких струй
Казалась тихой и усталой.

С деревьев падал лист сухой,
То бледно-желтый, то багряный,
Печально плача над землей
Среди росистого тумана.

И солнце пышное вдали
Мечтало снами изобилья

И целовало лик земли
В истоме сладкого бессилья.

А вечерами в небесах
Горели алые одежды,
И обагренные, в слезах,
Рыдали Голуби Надежды.

Летя в безмирной красоте,
Сердца к далекому манили
И созидали в высоте
Венки воздушно-белых лилий.

И осень та была полна
Словами жгучего напева,
Как плодоносная жена,
Как прародительница Ева.

Весною 1925 года Ахматова показала П. Н. Лукницкому скамью под огромным развесистым деревом, где весною 1904 года Гумилев первый раз объяснился ей в любви. И Лукницкий сфотографировал ее.

Вспоминает подруга детства Ахматовой В. С. Срезневская:

«С Колей Гумилевым, тогда еще гимназистом седьмого класса, Аня познакомилась в 1904 году [1], в сочельник. Мы вышли из дому, Аня и я с моим младшим братом Сережей, прикупить какие-то украшения для елки, которая у нас всегда бывала в первый день Рождества.

Был чудесный солнечный день. Около Гостиного двора мы встретились с «мальчиками Гумилевыми»: Митей (старшим) — он учился в Морском кадетском корпусе, — и с братом его Колей — гимназистом Императорской Николаевской гимназии. Я с ними была раньше знакома через общую учительницу музыки...

Встретив их на улице, мы дальше пошли уже вместе — я с Митей, Аня с Колей, за покупками, и они проводили нас до дому. Аня ничуть не была заинтересована этой встречей, я тем менее, потому что с Митей мне всегда было скучно; я считала (а было мне тогда уже пятнадцать!), что у него нет никаких достоинств, чтобы быть мною отмеченным.

Но, очевидно, не так отнесся Коля к этой встрече. Часто, возвращаясь из гимназии, я видела, как он шагает вдали в ожидании появления Ани. Он специально

[1] Дата знакомства Гумилева и Горенко у Срезневской ошибочна.

познакомился с Аниным старшим братом Андреем, чтобы проникнуть в их довольно замкнутый дом. Ане он не нравился — вероятно, в этом возрасте девушкам нравятся разочарованные молодые люди, старше двадцати пяти лет, познавшие уже много запретных плодов и пресытившиеся их пряным вкусом. Но уже тогда Коля не любил отступать перед неудачами. Он не был красив — в этот ранний период он был несколько деревянным, высокомерным с виду и очень неуверенным в себе внутри. Он много читал, любил французских символистов, хотя не очень свободно владел французским языком... Роста высокого, худощав, с очень красивыми руками, несколько удлиненным бледным лицом, я бы сказала, не очень заметной внешности, но не лишенной элегантности...

Позже, возмужав и пройдя суровую кавалерийскую военную школу, он сделался лихим наездником, обучавшим молодых солдат, храбрым офицером... подтянулся и, благодаря своей превосходной длинноногой фигуре и широким плечам, был очень приятен и даже интересен, особенно в мундире. А улыбка и несколько насмешливый, но милый и не дерзкий взгляд больших, пристальных, чуть косящих глаз нравились многим и многим. Говорил он чуть нараспев, нетвердо выговаривая «р» и «л», что придавало его говору совсем не уродливое своеобразие, отнюдь не похожее на косноязычие. Мне нравилось, как он читает стихи...

Мы много гуляли, и в этих прогулках иногда нас часто «ловил» поджидавший где-то за углом Коля!

Сознаюсь... мы обе не радовались этому, мы его часто принимались изводить: зная, что Коля терпеть не может немецкого языка, мы начинали вдвоем вслух читать длиннейшие немецкие стихи... А бедный Коля терпеливо, стоически слушал всю дорогу — и все-таки доходил с нами до дому».

На Пасху 1904 года Гумилевы в своем доме давали бал, на котором в числе гостей первый раз была Аня Горенко. С этой весны начались их регулярные встречи.

Они посещали вечера в ратуше, были на гастролях Айседоры Дункан, на студенческом вечере в Артиллерийском собрании, участвовали в благотворительном спектакле в клубе на Широкой улице (ныне — ул. Ленина), были на нескольких, модных тогда, спиритиче-

ских сеансах у Бернса Мейера, хотя и относились к ним весьма иронически.

Они встречались, гуляли, катались на коньках. Гумилев, в то время страстно поглощавший книги, делился с Анной Горенко своими «приобретениями». О чем говорили они? Конечно же о поэзии, о счастье творчества, о мужестве и благородстве.

Мысли, занимавшие их, через несколько лет обрели силу, зрелость и новый смысл старых истин, а тогда они произносились, пробуя себя на прочность, на долговечность. И разговоры о грехе, о страдании, об искушении — лишь предчувствия страстей и бед, лишь первые попытки справиться с жизнью...

Из дневника Лукницкого

30.11.1926

Ты помнишь, у облачных впадин
С тобою нашли мы карниз,
Где звезды, как гроздь виноградин,
Стремительно падали вниз.

«Башня» (Турецкая) в Царском Селе — искусственные руины. АА и Николай Степанович там встречались, наверху.

С осени родители одноклассника Гумилева — Дмитрия Коковцева, писавшего стихи, стали устраивать литературные «воскресенья» в своем доме на Магазейной улице. На вечерах бывали И. Ф. Анненский, поскольку хозяин дома, А. Д. Коковцев, был гимназическим учителем, гимназические учителя Е. М. и А. А. Мухины, В. Е. Евгеньев-Максимов (литературовед, специалист по Некрасову, тогда учитель), М. О. Меньшиков (публицист-нововременец), М. И. Туган-Барановский (историк-экономист, представитель «легального марксизма»), В. В. Ковалева (дочь писателя В. Буренина), К. Случевский (поэт), Л. И. Микулич, Д. Савицкий (поэт), В. И. Кривич (сын И. Ф. Анненского).

Гумилев бывал на «воскресеньях», несколько раз выступал с чтением своих стихов и выдерживал яростные нападки, даже издевательства некоторых из присутствовавших. Особенно его критиковал хозяин дома, не принимавший декадентства.

В письме Брюсову из Царского Села 8 мая 1906 го-

да Гумилев напишет: «Уже год, как мне не удается ни с кем поговорить так, как мне хотелось бы...»

Гумилев остро реагировал на непонимание, на литературный «застой», на творческую «беспросветность» царскоселов. Он, к этому времени проштудировав русских модернистов, ушел далеко вперед в своих вкусах и ощущениях от некоторых царскосельских рутинеров. А И. Ф. Анненский был для него, гимназиста, тогда еще недостижим.

Преподаватель гимназии Мухин рассказал (пишет в дневнике Лукницкий 18.02.1925 года): «На выпускных экзаменах на вопрос, чем замечательна поэзия Пушкина, Гумилев невозмутимо ответил: «Кристальностью». Чтобы понять силу этого ответа, надо вспомнить, что мы, учителя, были совершенно чужды новой литературе, декадентству... Этот ответ ударил нас как обухом по голове. Мы громко расхохотались! Теперь-то нам понятны такие термины, как верно определяет это слово поэзию Пушкина, но тогда...»

1905

Что-то подходит близко, верно...

Среди царскосельской интеллигенции, которая дышала, расцветала возле всегда живых представителей русской культуры — Дельвига и Кюхельбекера, Батюшкова и Чаадаева, Лермонтова и Тютчева и конечно же главное — Пушкина, обыватель, пребывавший в состоянии недоверия и подозрительности в начале XX века, особенно в период реакции после 1905 года, занимал, увы, значительные духовные территории. Обыватель презирал все, что не соответствовало его меркам.

Из дневника Лукницкого

12.04.1925

«Темное время это — царскосельский период, потому что царскоселы — довольно звероподобные люди», — говорит АА. И еще: «Николай Степанович совершенно не выносил царскоселов. Конечно, он был такой — гадкий утенок в глазах царскоселов. Отношение к нему было плохое... среди сограждан, а они были на такой степени развития, что совершенно не понимали этого.

До возвращения из Парижа — такая непризнанность, такое неблагожелательное отношение к Николаю Степановичу. Конечно, это его мучило...»

АА говорит, что ее папа полюбил Николая Степановича, когда тот был уже мужем Ахматовой, когда они познакомились ближе. «А когда Николай Степанович был гимназистом, папа отрицательно к нему относился по тем же причинам, по которым царскоселы его не любили и относились к нему с опаской, — считали его декадентом...»

А Н. Н. Пунин говорил, что «и над Коковцевым тоже издевались товарищи. Но отношение товарищей к Николаю Степановичу и Коковцеву было совершенно разное: Коковцев был великовозрастным маменькиным сынком, страшным трусом, и товарищи издевались над ним по-гимназически — что-нибудь вроде запихивания гнилых яблок в сумку, вот такое... Николая Степановича они боялись и никогда не осмелились бы сделать с ним что-нибудь подобное, как-нибудь задеть его. Наоборот, к нему относились с великим уважением и только за глаза иронизировали над любопытной, непонятной им и вызывавшей их и удивление, и страх, и недоброжелательство «заморской штучкой» — Колей Гумилевым».

В то время Гумилев начал жадно читать новейшую литературу, увлекся русскими модернистами — Бальмонтом, Брюсовым, Белым. Скрупулезно изучает периодические издания и, главным образом, новый, входивший в моду журнал «Весы».

Такое благоприятное совпадение: юноша возвращается в 1903 году из Тифлиса в Царское Село, в Петербург, в гимназию, и в это же время с начала 1904 года рождается журнал, в котором В. Брюсов начал осуществлять свою давнюю заветную мечту — создание в России «Школы нового искусства», как у французских модернистов, и, кроме того, начинает наконец выпускать журнал по западноевропейским образцам: тонкий, красивый, совершенно оформленный, с заставками, виньетками, иллюстрациями. Направление журнала нравилось Гумилеву: не общественно-политический, не партийный орган печати. Только литература, только искусство.

В «Весах» собрана европейская художественная элита, и Гумилев открывает для себя фантастически заманчивый мир — мир нового искусства.

Позже он будет предельно активен в создании контактов с французской литературой и станет ее пропагандистом в России.

А пока жадно читает обзорные, программные выступления символистов, критические статьи о произведениях русской и западной поэзии, прозы, живописи. Он представляет, чувствует людей, с которыми он должен, хочет и будет говорить и дружить. Это — мэтры, это — великие мастера, именно те, к которым надо тянуться и на сравнении с которыми он будет оттачивать свое мастерство.

Зреет план поездки во Францию. План глубоко спрятан, о нем еще никто не знает. Но когда это может осуществиться? Времени терять нельзя: гимназисту скоро девятнадцать. И хотя он учится второй год в седьмом классе — это его нимало не огорчает.

Можно сказать, что в 1904, 1905 и до середины 1906 года, то есть до самого отъезда в Париж, Гумилев ждал каждого номера «Весов» с нетерпением и читал все от корки до корки. Особенно прислушивался к В. Я. Брюсову, поставившему целью журнала не только объединить русских символистов, но пропагандировать свою основную эстетическую концепцию свободы искусства, впрочем, лишь на страницах «Весов», где он намеренно ограничивал личную заинтересованность вопросами общественно-политическими и революционными.

Брюсов предстал перед Гумилевым идеологом свободного искусства, пропагандистом нового, западного.

В «Весах» Гумилев знакомится с поэтами средневековья, с поэтами-парнасцами, символистами конца XIX века, постсимволистами — «молодыми», а чуть позже читает их оригинальные произведения, поскольку начиная с 1905 года расширяется сфера деятельности журнала.

В «Весах» № 1 за 1904 год Гумилев читает о «внутреннем брожении», которое, по мнению автора «Писем о французской поэзии» — постоянного корреспондента «Весов», французского символиста, проповедника «научной поэзии» Рене Гиля, должно привести к новому возрождению литературного творчества во Франции.

И об оккультизме он узнал из «Весов». В № 2 за 1905 год там была опубликована статья о книге Папюса «Первоначальные сведения по оккультизму» с разъяснением терминов для начинающих и портретами выдающихся деятелей современного оккультизма.

Большое впечатление на Гумилева произвели отрывки из тюремных записок О. Уайльда.

«До сих пор я верю, что от начала Бог создал для каждого человека отдельный мир и что в этом мире, который внутри нас, каждый и должен жить».

«Мне не нужно напоминать вам, что только выражение своей жизни — для художника высший и единственный способ жить. Мы живем — поскольку воплощаем жизнь в слове».

«В „Дориане Грее“ я сказал, что величайшие грехи мира совершаются в мозгу. Но и все совершается в мозгу. Мы не знаем того, что мы не видим глазами и не слышим ушами. Глаз и ухо — это в действительности лишь каналы для передачи адекватных или неадекватных чувственных впечатлений. Это в мозгу — маки красны, яблоко душисто и поет жаворонок».

«Человек, стремящийся стать тем, чего нет в нем, членом парламента, преуспевающим оптовщиком, выдающимся чиновником, судьей или кем-нибудь еще, столь же скучным, всегда достигает в том, к чему он стремится. В том его кара. Кому нужна маска, должен и носить ее.

Но иначе обстоит дело с силами, движущими жизнь, и с теми людьми, которые воплощают в себе эти силы. Люди, которые заботятся только о воплощении собственного «я», никогда не узнают, куда это приведет их. Они не могут знать.

В известном смысле слова, конечно, необходимо познать себя самого, как того требовал греческий оракул; это первый шаг ко всякому знанию. Но сознание того, что человеческая душа непостижима, есть последний вывод мудрости. Последняя тайна — мы сами. Если взвешено солнце, измерен путь луны, занесены на карту семь небес, звезда за звездой, все-таки остается еще одно: мы сами. Кто может вычислить орбиту собственной души?»

Мысли, подобные мыслям Уайльда, рождались и у Гумилева, но были неоформленными и будоражили его, еще совсем мальчика, в Тифлисе, когда он бесповоротно поставил своей целью постижение премудрости выражения себя в Слове.

Позже Гумилев процитирует слова Уайльда в своей статье «Жизнь стиха»: «Сейчас я буду говорить только о стихах, помня слова Оскара Уайльда, приводящие в ужас слабых и вселяющие бодрость в сильных: „Материал, употребляемый музыкантом или живописцем, бе-

ден по сравнению со словом. У слова есть не только музыка, нежная, как музыка альта или лютни, не только краски, живые и роскошные, как те, что пленяют нас на полотнах венециан и испанцев, не только пластические формы, не менее ясные и четкие, чем те, что открываются нам в мраморе или бронзе, — у них есть и мысль, и страсть, и одухотворенность.

Все это есть у одних слов“».

Пройдет время, и Гумилев благоговейно скажет о Слове:

СЛОВО

В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.

А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передает.

Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.

Не забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что слово это Бог.

Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества,
И как пчелы в улье опустелом
Дурно пахнут мертвые слова.

В Павловске, на концерте, Гумилев познакомился с братом Анны Горенко — Андреем. С этого момента началась их дружба. Андрея он считал единственно культурным, превосходно классически образованным человеком на фоне всей царскосельской молодежи. Андрей Андреевич знал латынь, был прекрасным знатоком античной поэзии и при этом отлично воспринимал стихи модернистов. Он был одним из немногих слушателей Гумилева, слышал из уст автора стихотворения «Смерти», «Огонь», стихи «Пути конквистадоров», относящиеся к Анне Горенко, «Русалку» и поэмы. Андрей

обсуждал с Гумилевым не только его произведения, но и современную поэзию, публиковавшуюся в журнале «Весы» и издательстве «Скорпион». И Аню Горенко Николай Степанович стал теперь видеть чаще — приходил к другу домой.

А когда на пасхальной неделе затеял дуэль с гимназистом Куртом Вульфиусом, Андрей Горенко стал его секундантом. Правда, дуэль не состоялась — гимназическое начальство не допустило.

Из дневника Лукницкого

АА: «В 1904—1905 годы собирались по четвергам у Инны Андреевны и Сергея Владимировича[1], называлось это «журфиксы». На самом деле это были очень скромные студенческие вечеринки. Читали стихи, пили чай с пряниками, болтали. А в январе 1905 года Кривич женился на Наташе Штейн[2] и они жили в гимназии на Малой, там же, где жил Иннокентий Федорович (Анненский. — *В. Л.*), только у них была отдельная квартира. У них собирались по понедельникам. Приблизительно то же самое было, только параднее, потому что там лакей в белых перчатках подавал.

Папа меня не пускал ни туда, ни сюда, так что мама меня по секрету отпускала до 12 часов к Инне и к Анненским, когда папы не было дома. А на каток вечером папа запрещал ходить, так что я бывала там очень редко: каток бывал раз в неделю, вечером, по пятницам кажется. Тогда, например, нельзя было думать о том, чтобы принимать у себя гостей. Приходил Николай Степанович к брату Андрею, приходил Коковцев к нему же (очень редко); Гучковский — приятель Николая Степановича — был. А я была в таком возрасте, что не могла иметь собственных знакомых — считалось так.

Коля был приятелем Андрея, потому бывал. Пока сестра не была замужем, бывали Дешевов (брат композитора), Селиверстов (директор радиостанции) и Кемниц (который потом под поезд бросился). Это были приятели моей старшей сестры.

Валя Срезневская тут бывала всюду, неотступно. Валя — живой свидетель этого.

---

[1] Сестра Ахматовой, умершая в 1906 году, и ее муж С. В. Штейн (1882—1955) — филолог.

[2] Сестра С. В. Штейна.

У Штейнов бывали Максимов (В. Е. Евгеньев-Максимов. — *В. Л.*), теперь председатель Некрасовского общества, бывали какие-то петербургские товарищи. Раз был Слонимский Александр.

Летом 1905 года я ни с кем из них вообще не виделась, кроме Штейна, который бывал у нас. В августе я уехала в Евпаторию. Тогда, собственно, произошла катастрофа. Папа вышел в отставку, стал получать только пенсию и поэтому решил отправить семью в провинцию».

В октябре 1905 года вышел первый сборник стихов Гумилева «Путь конквистадоров». В ноябре В. Брюсов опубликовал в «Весах» рецензию на этот сборник. Рецензия строгая. Тем не менее в ней было и поощрение поэта: «...в книге есть и несколько прекрасных стихов, действительно удачных образов. Предположим, что она только «путь» нового конквистадора, и что его победы и завоевания — впереди».

Гумилев ни разу не переиздал свою первую книгу. Он начал свой поэтический «счет для всех» книгой «Романтические цветы», изданной в Париже в 1908 году.

После выхода книги Гумилев стал общаться с И. Ф. Анненским. Наверное, из-за разницы лет и положений — гимназист и директор гимназии — вначале все же довольно отдаленно. Скорее так: начал бывать у Иннокентия Федоровича. Сделал надпись Анненскому на экземпляре книги.

Экземпляр книжки отправил и в Евпаторию другу — Андрею Горенко. И хотя многие стихи посвящены Анне Горенко, ей он книги не послал — их отношения были в разладе.

Кто объяснит нам, почему
У той жены всегда печальной
Глаза являют полутьму,
Хотя и кроют отблеск дальний?
    Зачем высокое чело
    Дрожит морщинами сомненья,
    И меж бровями залегло
    Веков тяжелое томленье?
И улыбаются уста
Зачем загадочно и зыбко?
И страстно требует мечта,
Чтоб этой не было улыбки?
    Зачем в ней столько тихих чар?
    Зачем в очах огонь пожара?
    Она для нас больной кошмар
    Иль правда горестней кошмара,

Зачем, в отчаяньи мечты,
Она склонилась на ступени?
Что надо ей от высоты
И от воздушно-белой тени?

В 1905 году в Николаевской гимназии под редакцией Клушина выходил журнал «Горизонт». По рассказам матери, Гумилев сотрудничал в нем.

Написаны стихотворения: «Смерти» и «Огонь».

В октябре вышел первый сборник стихов — «Путь конквистадоров».

О Гумилеве.

Рецензия В. Брюсова на «Путь конквистадоров» (Весы, № 11).

1906

Но дальше песня меня уносит...

Начался новый год жизни Гумилева, свободный, совершенно самостоятельный, таящий множество соблазнов и возможностей.

К выпускным экзаменам почти не готовился, но тем не менее сдал их и 30 мая 1906 года получил аттестат зрелости.

До этого Гумилев получил письмо от Брюсова с приглашением сотрудничать в «Весах».

Из письма Брюсову. 15.05.1906. Царское Село. «3-го апреля мне исполнилось двадцать лет, и через две недели я получаю аттестат зрелости. Отец мой — отставной моряк и в материальном отношении вполне обеспечен. Пишу я с двенадцати лет, но имею очень мало литературных знакомств, так что многие вещи остаются нечитанными за недостатком слушателей.

Летом я собираюсь ехать за границу и пробыть там пять лет. Но так как мне очень хочется повидаться с Вами, то я думаю недели через три поехать в Москву, где, может быть, Вы не откажете уделить мне несколько часов».

Началась интенсивная переписка. В течение восьми лет, до самой войны, Гумилев написал Брюсову семь десятков писем: из Царского, из Парижа, из Петербурга, из Слепнева, из африканских путешествий. И во многих — посылал Брюсову свои стихи.

В июле Гумилев уехал в Париж.

Поселился сначала на бульваре St. Germain, 68, а потом на rue de la Gaite, 25. Поступил в Сорбонну. Регулярно получал от матери 100 рублей в месяц и, хотя укладываться в скромный бюджет было трудно, иногда сам посылал ей немного денег, часто писал. В. С. Срезневская вспоминает: «Гумилев был нежным и любящим сыном, любимцем своей умной и властной матери».

Он бродил по Парижу и никак не мог надышаться им. Он так ждал этих дней и ночей, потому что твердо верил: у артиста, у художника в Европе есть общее отечество — Париж.

Приходил к себе, в маленькую комнату с высокими окнами и свежими цветами. Он любил порядок, аккуратность, четкость, расписание в жизни. Воспитывал себя всегда быть выше случайностей, неожиданностей. Перечитывал Пушкина, Карамзина, Ницше, осваивал французскую литературу.

В архиве Лукницкого хранятся книги из библиотеки Гумилева, которые изучал поэт, и острый след карандаша останавливает внимание — оказывается, вот о чем он думал, вот что тревожило его, что помогало его душе. Какие противоположные чувства соединялись в его сердце, какие разные мысли привлекали его...

«Человек — это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, — канат над пропастью.

...Из всего написанного люблю я только то, что пишется своей кровью. Пиши кровью: и ты узнаешь, что кровь есть дух.

...Свободный от чего? Какое дело до этого Заратустре! Но твой ясный взор должен поведать мне: свободный для чего?

Двух вещей хочет настоящий мужчина: опасности и игры. Поэтому хочет он женщины, как самой опасной игрушки?»

Ницше — мятежный, страстный, смущающий душу, и рядом — Карамзин, спокойный, ясный, простой: «Ровность и терпение. Презрение опасностей. Надежность победить. Опытность научает человека благоразумию».

Он беседует с мудрецами, пытается понять себя, успокоить и примирить страсти, бунтующие в душе, ибо, он убежден, только тишина и спокойствие души помогают ей раскрыться, только стройность и ясность мыслей помогает мастерству.

Из письма Брюсову. 30.10.1906. Париж. «...я должен горячо поблагодарить Вас за Ваши советы относительно формы стиха. Против них долго восставала моя лень, шептала мне, что неточность рифмы дает новые утонченные намеки и сочетания мыслей. Но потом наступил перелом. Последующие мои стихи, написанные с безукоризненными рифмами, доставили мне больше наслаждения, чем вся моя предшествующая поэзия. Мало того, я начал упиваться новыми, но безукоризненными рифмами и понял, что источник их неистощим.

Вы были так добры, что сами предложили свести меня с Вашими парижскими знакомыми. Это будет для меня необыкновенным счастьем, так как я оказался несчастлив в моих здешних знакомствах».

Письма к мэтру важны Гумилеву: он нуждается в советах, ему еще хочется быть учеником, и все, что говорит его кумир, кажется справедливым, глубоким. Советы — как поводырь...

Надо сказать, Брюсов не скупился на советы, и его страсть поучать, наставлять реализуется здесь как нельзя лучше: более терпеливого и благодарного ученика ему не встретить больше никогда.

К конкретным советам Гумилев внимательно прислушивался — ему все важно, любая мелочь кажется откровением, — он не устает переделывать свои стихи, не боится начинать все сначала. Он пишет в письме 2 октября 1906 года к В. И. Анненскому-Кривичу: «Вы меня спрашиваете о моих стихах. Но ведь теперь осень, самое горячее время для поэта, а я имею дерзость причислять себя к хвосту таковых. Я пишу довольно много, но совершенно не могу судить, хорошо или плохо. Мое обыкновенье — принимать первое высказанное мне мненье, а здешние русские ничего не говорят, кроме: «Очень, очень звучно», — или даже просто: «Очень хорошо». Но я надеюсь получить от Вас более подробное мнение о моих последних стихах».

В Париже Гумилев увлекается оккультизмом. Ахматова в 1925 году говорила Лукницкому, что Гумилев поехал в Париж, чтобы заняться оккультизмом. Но это не мешало ему посещать музеи и выставки, бывать во

Втором русском клубе художников, читать выходящие книги русских и французских писателей, старинные французские хроники и рыцарские романы. Кроме того, он выписывает из России журнал «Весы» и книги.

Переписывается с родителями, с Брюсовым, а с октября 1906 года и с Анной Горенко.

Из дневника Лукницкого

12.01.1925

О письмах Николая Степановича к АА.

АА рассказывала мне их историю. Письма с 1906 по 1910 год Гумилев и АА после свадьбы сожгли. Письма следующих лет вместе с различными бумагами АА постепенно складывала в имевшийся у нее сундук. Сундук постепенно заполнялся ими доверху. Уезжая из Царского Села, АА оставила сундук на чердаке. Так он там и оставался. Недели за три до смерти Гумилева АА ездила в Царское Село. На чердаке сундука не оказалось, а на полу были разбросаны груды писем и бумаг. АА взяла из груды все письма к ней — те, что у нее хранятся. Больше писем она не нашла. А остальные — письма к отцу, к матери — АА по понятным соображениям не считала себя вправе брать: «Николай Степанович был жив, сама я — чужой человек там... Конечно, если бы я поехала туда недели на три позже, я бы их взяла».

Гумилев записывает, побывав на Дягилевской выставке: «...религия управляет душой русского человека, народа в значительной мере и теперь... Первым же великим национальным художником был в России Александр Иванов. Это — гениальный человек: не продал за барские червонцы своей души и не писал в угоду сильным мира сего в модном стиле... нет, он дал чистый образ своей художественной душе.

Иванов явился выразителем трех элементов духовного существа русского народа: религиозного, сказочного и реалистического — они окислились в удивительные образы, полные подъема и фантазии.

...Третий реалистический элемент воплотился в его превосходных этюдах к картине «Явление Мессии». Это не тот мелкий фотографический реализм, который заключается в копировании мушиными насестами скла-

дочек, а в понимании характера изображаемого, того внутреннего кузнеца, который выковывает на каждом лице свои морщины, складки и выпуклости, который выглядывает из блестящих или тусклых глаз человека.

Борисов-Мусатов... по духу родной брат Нестерова и вместе с ним — всех русских пейзажистов, все произведения которых проникнуты этой грустью, как бесконечная русская осень, тихая пора очарованья, одетая в багрец и золото, как белая зима под темным небом, как бледно-зеленая весна, шумящая ручьями между пригорков, как жалостливо-улыбающееся короткое лето. Эту природу нельзя скрыть, потому что она запечатлелась навсегда в душе каждого русского художника».

Из письма Брюсову. 11.11.1906. Париж. «Прежде всего спешу ответить на Ваш вопрос о влиянии Парижа на мой внутренний мир. Я только после Вашего письма задумался об этом и пришел вот к каким серьезным выводам: он дал мне осознание глубины и серьезности самых мелких вещей, самых коротких настроений. Когда я уезжал из России, я думал заняться оккультизмом. Теперь я вижу, что оригинально задуманный галстук или удачно написанное стихотворение может дать душе тот же рецепт, как и вызывание мертвецов, о котором так некрасноречиво трактует Элифас Леви».

С каждым новым письмом — тон становится более деловым, поклонение Брюсову уже сочетается с проблемами практическими, житейскими. Он ищет источники для заработка, денег не хватает. Страдает от отсутствия солидных литературных знакомств.

Послал письмо Бальмонту. Ответа не получил. Д. Мережковский и З. Гиппиус приняли его, но обошлись с ним откровенно издевательски.

На Дягилевской выставке познакомился с художниками М. Фармаковским, А. Божеряновым, И. Щукиным. Возникла идея русского журнала.

В 1906 году написано:

21 января в альбом Н. В. Анненской — стихотворение «В этом альбоме писать надо длинные, длинные строки как нити...».

В январе в альбом Н. В. Анненской — стихотворение «Искатели жемчуга».

Не позднее чем к началу 1906 года — стихотворения: «Но не будем таиться рыданья...», «Я зажег на горах красный факел вой-

ны...», «Мне надо мучиться и мучить...», «Мой старый друг, мой верный дьявол...», «Солнце бросило для нас...», «Там, где похоронен старый маг...», «Лето» («Лето было слишком знойно...»), «Крокодил» («Мореплаватель Павзаний...»)

Не позднее первой половины октября — стихотворения: «Императору» («Призрак какой-то неведомой силы...»), «Загадка» («Музы, рыдать перестаньте...»), «Каракалла» («Император с профилем орлиным...»).

Во второй половине октября — стихотворения: «Мне было грустно, думы обступили...» (впоследствии первая строка переделана так: «В мой мозг, в мой гордый мозг, забрались думы...»), «Он воздвигнул свой храм на горе...».

Пьеса «Шут короля Батиньоля».

Набросаны планы статей: «Культура любви», «Костюм будущего», «Защита чести».

В первой половине ноября — стихотворение «Сегодня у берега нашего бросил...».

Окончена статья «Культура любви». (Вероятно, и две другие?)

Во второй половине ноября — стихотворение «Неоромантическая сказка».

В первой половине декабря — стихотворение «На горах розовеют снега...».

Во второй половине декабря — стихотворения: «Франции» («О, Франция, ты призрак сна...») и первая часть повести «Гибели обреченные».

Напечатано:

Стихотворения: «Смерти» и «Огонь» (сб. «Северная речь», СПБ.); «Крест», «Лето» («Лето было слишком знойно...») (Литературный понедельник, Приложение к газ. «Слово», № 18, № 19.); «Там, где похоронен старый маг...», «Мой старый друг, мой верный дьявол...», «Я зажег на горах красный факел войны...» (Весы, № 6).

Несколько стихотворений — в газете «Русь».

О Гумилеве:

Рецензия С. Штейна на «Путь конквистадоров» (Слово, № 360, 21 января).

1907

Мои мечты лишь вечному покорны...

Новый год — новые хлопоты и новые планы.

Медленно, но настойчиво Гумилев осваивается в Париже, отходит одиночество — появляются знакомства, дружба, увлечения. Иногда встречи приносят разочарование...

Брюсову. 8.01.1907. Париж. «Многоуважаемый Валерий Яковлевич! Очень, очень благодарю Вас за Ваши письма, особенно за первое с рассуждениями о рифмах и размерах. Оно сказало мне то, что я и раньше чув-

ствовал, но не мог применить на деле, потому что эти мысли еще не проникли в мое сознание. Эзотерическая тайна привела меня в восторг, и я ее принимаю вполне. Мой демон нашептывает мне еще разные мелкие сомнения, но я отложу их до нашего свидания, тем более что, как я слышал, Вы собирались приехать в Париж».

Близость с Мережковским и Гиппиус не состоялась. Визит к ним был оскорбителен для поэта. Но ему было не свойственно помнить зло, он считал, что высшая гордость — зла не заметить и ответить на него добром. И впоследствии никогда не позволял себе ни одного грубого и резкого слова по поводу людей, унизивших его. Раздражение и злость отбирают энергию, порабощают — их нельзя допускать к своей душе. Впрочем, он «отомстил», пишет Гумилев Брюсову 6 апреля 1908 года: «Не могу Вам не признаться в недавней мальчишеской шутке. Я познакомился с одной барышней, m-lle Богдановой, которая бывает у Бальмонтов и Мережковских, и однажды в Cafe d'Harcourt она придумала отнести мое стихотворение «Андрогин» для отзыва З. Н. Гиппиус, не говоря ни моего имени, ни моих литературных заслуг. Стихотворение понравилось, было возвращено с надписью «очень хорошо», и даже Мережковский отнесся к нему благосклонно. M-lle Богданову расспрашивали об авторе и просили его привести, но, конечно, ей не удастся это сделать. Так что, если «Андрогин» не будет в «Весах», для З. Н. (Гиппиус. — *В. Л.*) останется загадкой «застенчивый» талант-метеор (эпитет Образования)».

И самая «страшная месть» — вторая.

Из дневника Лукницкого

10.10.1926

На собрании на Бассейной улице, где З. Гиппиус оказалась рядом с Николаем Степановичем, она очень кокетливо и игриво просила у него беспрестанно огня. Николай Степанович зажигал спичку, но не показал вида, что узнает Гиппиус...

В конце 1906 года Гумилев энергично занялся подготовкой издания русского журнала, привлек к сотрудничеству, кроме М. Фармаковского и А. Божеря-

нова, скульптора Николауса и художника Данишевского, и в первой половине января «Сириус» № 1 увидел свет. Почти все стихи и вся проза — это Гумилев под разными псевдонимами. Некоторые из них он держал в секрете даже от сотрудников журнала.

Написал также сам и обращение от редакции:

«Издавая первый русский художественный журнал в Париже, этой второй Александрии утонченности и просвещения, мы считаем долгом познакомить читателей с нашими планами и взглядами на искусство.

Мы дадим в нашем журнале новые ценности для изысканного миропонимания и старые ценности в новом аспекте.

Мы полюбим все, что даст эстетический трепет нашей душе, будет ли это развратная, но роскошная Помпея, или Новый Египет, где времена сплелись в безумьи и пляске, или золотое средневековье, или наше время, строгое и задумчивое.

Мы не будем поклоняться кумирам, искусство не будет рабыней для домашних услуг. Ибо искусство так разнообразно, что свести его к какой-либо цели, хотя бы и для спасения человечества, есть мерзость перед Господом».

В этом же, первом, номере «Сириуса» Гумилев напечатал стихи — его дань любимой стране:

ФРАНЦИИ

О, Франция, ты призрак сна,
Ты только образ, вечно милый,
Ты только слабая жена
Народов грубости и силы.

Твоя разряженная рать,
Твои мечи, твои знамена,
Они не в силах отражать
Тебе враждебные племена.

Когда примчалася война
С железной тучей иноземцев,
То ты была покорена
И ты была в плену у немцев.

И раньше... вспомни страдный год,
Когда слабел твой гордый идол,
Его испуганный народ
Врагу властительному выдал.

Заслыша тяжких ратей гром,
Ты трепетала, словно птица,—
И вот, на берегу глухом
Стоит великая гробница.

А твой веселый звонкий рог,
Победный рог завоеваний,
Теперь он беден и убог,
Он только яд твоих мечтаний.

И ты стоишь, обнажена,
На золотом роскошном троне,
Но красота твоя, жена,
Тебе спасительнее брони.

Где пел Гюго, где жил Вольтер,
Страдал Бодлер, богов товарищ,
Там не посмеет изувер
Плясать на зареве пожарищ,

И если близок час войны
И ты осуждена паденью,
То вечно будут наши сны
С твоей блуждающею тенью.

И нет, не нам, твоим жрецам,
Разбить в куски скрижаль закона
И бросить пламя в Notre Dame,
Разрушить стены Пантеона.

Твоя война — для нас война,
Покинь же сумрачные станы —
Чтоб песней звонкой, как струна,
Полить запекшиеся раны.

Что значит в битве алость губ?
Ты только сказка, отойди же,
Лишь через наш холодный труп
Пройдут враги, чтоб быть в Париже.

Через две недели примерно появился «Сириус» № 2. В феврале вышел «Сириус» № 3. И — всё.

На обложке журнала было объявлено, что «открыта подписка на три месяца на литературно-художественный журнал „Сириус“». Было обещано, что «подписчики получат 6 нумеров, размером от одного до двух печатных листов, с репродукциями на отдельных листах».

Три тоненькие серые книжки, утонувшие в сложных перипетиях судьбы и времени. Хрупкие, чуть пожелтевшие листки...

В этом журнале все было впервые: и первые критические опыты поэта, и его первая проза.

Из письма Брюсову. 14.01.1907. Париж. «Кстати, о нашем журнале «Сириус». Дня через три я посылаю

Вам первый номер...» И дальше: «...у меня отсутствует чисто техническое уменье писать прозаические вещи. Идей и сюжетов у меня много. С горячей любовью я обдумываю какой-нибудь из них, все идет стройно и красиво, но когда я подхожу к столу, чтобы записать все те чудные вещи, которые только что были в моей голове, на бумаге получаются только бессвязные отрывочные фразы, поражающие своей какофонией. И я опять спешу в библиотеки, стараясь выведать у мастеров стиля, как можно победить роковую инертность пера...

...Вообще, мне кажется, что я уже накануне просветления, что вот-вот рухнет стена и я пойму, именно пойму, а не научусь, как надо писать».

Гумилев не умел отступать перед неудачами — они распаляли его. Все горести, провалы, отчаянья он пытается обратить себе на благо, все обогащает душу, и поэтому неудач — нет, они — лишь барьер перед новой высотой. И кроме того, работа спасает — не позволяет отвлекаться на неприятности.

Из письма Брюсову. 24.03.1907. Париж. «Многоуважаемый Валерий Яковлевич! Только вчера я получил Ваше большое и милое письмо, где Вы разбираете мои стихотворения. Тысячу раз благодарю Вас за него: благодаря ему мои горизонты начинают проясняться и я начинаю понимать, что мне надо делать, чтобы стать поэтом. Вы, наверное, не можете представить, сколько пользы принесло оно мне. Я в последнее время сильно отвлекся от поэзии заботами о выработке прозаического стиля, занятиями по оккультизму и размышлениями о нем. Но Ваше письмо пробудило меня. Я поверил, что если я мыслю образами, то эти образы имеют некоторую ценность, и теперь все мои логические построения начинают облекаться в одежду форм, а доказательства превращаются в размеры и рифмы. Одно меня мучает, и сильно, — это мое несовершенство в технике стиха. Меня мало утешает, что мне только 21 год, и очень обескураживает, что я не могу прочитать себе ни одно из моих стихотворений с таким же удовольствием, как напр. Ваши «Ахилл у алтаря», «Маргерит» и др. или «Песню Офелии» Ал. Блока. Не радует меня также, что и у больших поэтов есть про-

махи, свойственные мне. Я не сравниваю моих вещей с чужими (может быть, во вред мне), я просто мечтаю и хочу уметь писать стихи, каждая строчка которых заставляет бледнеть щеки и гореть глаза...»

По письмам Гумилева Брюсову 1907—1908 годов видно, как настойчиво он учился, как целеустремленно преодолевал трудности на пути к поэтическому мастерству.

В конце апреля Гумилев выезжает из Парижа в Россию. Он должен отбывать воинскую повинность. Но первым делом он устремляется в Киев, чтобы увидеть Анну Горенко. Затем — в Царское. По дороге заезжает в Москву на свое первое свидание с Брюсовым.

Вспоминает Валерий Брюсов: «15 мая. Приезжал в Москву Н. Гумилев. Одет довольно изящно, но неприятное впечатление производят гнилые зубы. Часто упоминает «о свете». Сидел у меня в «Скорпионе», потом я был у него в какой-то скверной гостинице, близ вокзалов. Говорили о поэзии и оккультизме. Сведений у него мало. Видимо, он находится в своем декадентском периоде. Напомнил мне меня 1895 года».

Вспоминает Н. И. Петровская (жена издателя «Грифа» С. А. Соколова-Кречетова. — *В. Л.*):

«В приемной «Скорпиона» и «Весов» в деловые часы стиль был строг и неизменен. Здесь более, чем где-либо, одна половина существа Брюсова жила своей подлинной жизнью.

Молодые поэты поднимались по лестнице с затаенным сердцебиением. Здесь решалась их судьба — иногда навсегда; здесь производилась строжайшая беспристрастная оценка их дарований, знаний, возможностей, сил. Здесь они становились перед мэтром, облеченным властью решать, судить, приговаривать.

Не только для Москвы и Петербурга, но тогда и для всей России две комнатки на чердаке «Метрополя» приобрели значенье культурного центра, непоколебимость гранитной скалы, о которую в конце концов разбились в щепки завистничество и клевета ортодоксальной критики.

Аристократизм «Скорпиона», суровая его замкнутость, трудность доступа в святилище, охраняемое свирепым «цербером» (так говорили, конечно, шутя), — все это вместе относилось исключительно на счет Брюсова, и стена между ним и людьми росла.

...Для петербуржцев (да простится и это покойному Брюсову) литературная Москва казалась царством Брюсова, очень неприятной «монархией», царством «ежовой рукавицы». А в Москве уже маститый, на всех перекрестках признанный Брюсов, председатель художественного кружка, член многочисленных обществ, член суда чести, мэтр художественного вкуса, — считался каким-то дальнобойным колоссальным крепостным орудием официальной военной позиции и... консервированным, замаринованным в строфах, томах, трудах — сухарем. Жертв его никто не понимал и не принимал. И его никто не любил.

Жизненные встречи его были лишь профессионально-социальными отношениями, лучше сказать — «клише» отношений, семейная жизнь его — фикция, привычный отель с мягкой постелью. Всю боль раздвоенности, весь огонь чувств, всю трагедию свою он укрывал под «маской строгой»... Ну что общего у этого манекена в черном сюртуке со «страстью», «отчаяньем», «безумием», «алчбой», «трепетами» и «гибелью»?»

Они проговорили весь вечер. Брюсов поучал, Гумилев почтительно внимал.

Из письма Брюсову. 15.08.1907. «...я люблю Вас. Если бы мы писали до Р. Х., я бы сказал Вам: Учитель, поделись со мной мудростью, дарованной тебе богами, которую ты не имеешь права скрывать от учеников. В средние века я сказал бы: Maître, научи меня дивному искусству песнопенья, которым ты владеешь в таком совершенстве. Теперь я могу сказать только: Валерий Яковлевич, не прекращайте переписки со мной, мне тяжело думать, что Вы на меня сердитесь...»

В начале июля Гумилев снова уезжает в Париж. Но сначала на две недели — в Севастополь, где Анна Горенко проводит лето. Оттуда морем на пароходе «Олег» — до Марселя.

Написал цикл стихотворений, среди них — «Доктор Эфир», очевидно утраченное. Дело в том, что в Сева-

стополе Гумилев подарил Анне Горенко несколько стихотворений, в числе которых было и это.

Первое путешествие морем его поразило невероятно. Под сильным впечатлением писал с дороги письма и стихи. И может быть, это было не только первое ощущение моря, но и терзание по поводу нового разрыва с любимой женщиной: Анна Горенко отказалась стать его женой.

Из дневника Лукницкого

9.06.1925

АА рассказывала, что на даче у Шмидта у нее была свинка и лицо ее было до глаз закрыто — чтоб не видно было страшной опухоли... Николай Степанович просил ее открыть лицо, говоря: «Тогда я вас разлюблю!» Анна Андреевна открывала лицо, показывала. «Но он не переставал любить меня! Говорил только, что „вы похожи на Екатерину II“».

На даче Шмидта были разговоры, из которых Гумилеву стало ясно, что АА не невинна. Эта новость, боль от этого известия, довела Николая Степановича до попыток самоубийства.

В Севастополе уничтожил пьесу «Шут короля Батиньоля». АА: «Сжег потому, что я не захотела ее слушать на даче Шмидта».

В другой раз Ахматова сказала Лукницкому, что петербуржцы, и среди них А. Ремизов, слушали пьесу в исполнении Гумилева в 1909 или 1910 годах. К сожалению, она пока не обнаружена.

<...> О мимолетном романе «с какой-то гречанкой»... АА смеется: «С какой-то!.. Во всяком случае, Николай Степанович на том же пароходе уехал из Смирны, потому что на письмах был знак того же парохода».

Приехал в Париж и поселился в комнате на rue Bara, 1.

От отчаяния не спасали ни новые знакомства, ни легкие увлечения. Боль унижения не отступала, не отпускала. Гумилев метался, не находил себе места. Отправился в Нормандию, в Трувиль, к морю — топиться.

Но, на счастье, на пустынном берегу его задержали проницательные блюстители порядка. Очевидно, вид его внушал опасения. Ахматова выразилась: «en etat de vagabondage» (как бродяга). Словом, в конце концов, он вернулся в Париж.

Постепенно все пришло на круги своя: стихи, долгие одинокие прогулки и снова — стихи. Осенью 1907 года он пишет Брюсову: «С моей прозой дело как-то не выходит, но зато стихи так и сыпятся... огонь моей предприимчивости еще не погас, и я собираюсь писать все в новые и новые журналы». Но тем не менее: «Свой сборник («Романтические цветы». — *В. Л.*) я раздумал издавать, во-первых, потому что я недоволен моими стихами, а во-вторых, их слишком мало».

«...Я все хвораю, и настроение духа самое мрачное... <...> Но, честное слово, все это время я был, по выражению Гофмана... игралищем слепой судьбы».

«...В жизни бывают периоды, когда утрачивается сознанье последовательности и цели, когда невозможно представить своего «завтра» и когда все кажется странным, пожалуй даже утомительным сном. Все последнее время я находился как раз в этом периоде...»

В Париже Гумилев познакомился с поэтессой Е. И. Дмитриевой, которая спустя два года под придуманным именем Черубины де Габриак сыграет не слишком изящную роль в судьбе двух русских поэтов — Гумилева и Волошина.

Вспоминает Елизавета Дмитриева: «...В первый раз я увидела Николая Степановича в июле 1907 года в Париже, в мастерской художника Себастьяна Гуревича, который писал мой портрет. Он (Гумилев. — *В. Л.*) был совсем еще мальчик, бледное, мрачное лицо, шепелявый говор, в руках он держал небольшую змейку из голубого бисера. Она меня больше всего поразила. Мы говорили о Царском Селе, Николай Степанович читал стихи (из «Романтических цветов»). Стихи мне очень понравились. Через несколько дней мы опять все втроем были в ночном кафе, я первый раз в моей жизни. Маленькая цветочница продавала большие букеты пушистых гвоздик, Николай Степанович купил для меня такой букет, а уже поздно ночью мы все втроем ходили вокруг Люксембургского сада, и Николай Степанович говорил о Пресвятой Деве. Вот и все.

Больше я его не видела. Но запомнила, запомнил и он».

ПОМПЕЙ У ПИРАТОВ

От кормы, изукрашенной красным,
Дорогие плывут ароматы
В трюм, где скрылись в волненье опасном
С угрожающим видом пираты.

С затаенною злобой боязни
Говорят, то храбрясь, то бледнея,
И вполголоса требуют казни,
Головы молодого Помпея.

Сколько дней они служат рабами,
То покорно, то с гневом напрасным,
И не смеют бродить под шатрами,
На корме, изукрашенной красным.

Слышен зов. Это голос Помпея,
Окруженного стаей голубок.
Он кричит: «Эй, собаки, живее!
Где вино? Высыхает мой кубок».

И над морем седым и пустынным,
Приподнявшись лениво на локте,
Посыпает толченым рубином
Розоватые, длинные ногти.

И, оставив мечтанья о мести,
Умолкают смущенно пираты
И несут, раболепные, вместе
И вино, и цветы, и гранаты.

Из письма Брюсову. 9.10.1907 (нов. ст.) Париж. «Сегодня был у Гиля, и он мне понравился без всяких оговорок. Это энергичный, насмешливый, очень тактичный и действительно очень умный человек... Со мной он был крайне приветлив и с каким-то особенным оттенком дружеской фамильярности, что сразу сделало нашу беседу непринужденной. Вообще, я был совершенно не прав, когда боялся к нему идти, и теперь знаю, что французские знаменитости много общительнее русских (Вы знаете, о ком я говорю)».

Гумилев познакомился с французским поэтом-символистом, теоретиком «научной поэзии» Рене Гилем по рекомендации Брюсова. Долго не решался нанести визит Гилю из-за незаслуженно унизительного приема, который ему оказали в Париже его соотечественники Мережковский и Гиппиус в присутствии Белого.

И Фармаковский, и Курбагов, и другие приятели Гумилева старались развлечь его парижскими время-

препровождениями: играми в «тещу» и «бабку», Посещал Гумилев и салон Е. С. Кругликовой, сдружился с поэтом Николаем Деникером, племянником Анненского со стороны сестры, сыном известного французского этнографа и антрополога, работавшего в библиотеке музея «Jardin des Plantes», а в скором времени в Париж приехал брат Анны Горенко — Андрей и поселился в квартире друга.

Весь парижский период Гумилева проходил под знаком любви к Анне Горенко. Почти все стихотворения и рассказы этого периода относятся к Анне Андреевне и посвящены ей. И все время не прекращалась их переписка.

Из дневника Лукницкого

9.06.1925

АА: Николай Степанович рассказывал, что в Париже так скучал в 1906—1908 годах, что ездил на другой конец города специально, чтобы прочитать на углах улицы: «Bd. Sebastopol» (Севастопольский бульвар).

Боль от отказов Анны Горенко, согласий и снова отказов приводила в еще большее отчаяние Николая Степановича, и не сдерживала ли эта боль его возвращение домой? Он скучал по России. Не могло быть и речи ни о каких пяти годах пребывания за границей, о которых он писал в одном из первых писем Брюсову.

19.04.1925

АА много говорила о своих отношениях с Николаем Степановичем. Из этих рассказов записываю:

На творчестве Николая Степановича сильно сказались некоторые биографические особенности... У него всюду девушка — чистая девушка. Это его мания. АА была очень упорна. Николай Степанович добивался ее 4, даже 5 лет... Это было так: в 1905 году Николай Степанович сделал АА предложение и получил отказ. Вскоре после этого они расстались, не виделись в течение 1,5 лет (АА потом, в 1905 году, уехала на год в Крым, а Николай Степанович в 1906 году — в Париж). 1,5 года не переписывались — АА как-то высчитала этот срок. Осенью 1906 года АА почему-то решила написать

письмо Николаю Степановичу. Написала и отправила. Это письмо не заключало в себе решительно ничего особенного, а Николай Степанович (так, значит, помнил о ней все время) — ответил на это письмо предложением. С этого момента началась переписка. Николай Степанович писал, посылал книги и т. д.

А до этого, не переписываясь с АА, он все-таки знал о ее здоровье и о том, как она живет, потому что переписывался с братом АА — Андреем Андреевичем...

Николай Степанович, ответив на письмо АА осенью 1906 года предложением (на которое, кажется, АА дала в следующем письме согласие), написал Анне Ивановне (матери.— *В. Л.*) и Инне Эразмовне (матери Ахматовой. — *В. Л.*), что он хочет жениться на АА.

АА: «Мама отрицает это, но она забыла».

Гумилев много работает этой осенью. Сам он так пишет о себе: «За последнее время по еженедельному количеству производимых стихотворений я начал приближаться к Виктору Гюго. Кажется, попадают недурные».

И осень и судьба щедро дарят ему необыкновенную работоспособность: после долгого отчаяния снова творчество целиком захватывает его, он переполнен идеями, планами и желаниями. Ему хочется как можно быстрее, полнее реализовать свои возможности, найти свой журнал, свою аудиторию, своих читателей.

Гумилев огромное внимание уделяет форме стиха, мастерству. Сравнивает себя с другими, вдумывается, вслушивается в стихи поэтов, вызывающих его восторг и восхищение, будто примеривается: а как же я в этом ряду, где же я, приближаюсь ли я к ним, мэтрам, или — еще далек от них? Но, сравнивая, он старается стать независимым от влияний, авторитетов.

К этому времени Гумилев еще крепче сдружился с Деникером, который искренне полюбил поэта. И с Р. Гилем сблизился. Но — Андрей Горенко, его рассказы о юге, об Анне... Снова поворот, взлет надежды увидеть Анну. И жизнь меняется — бросаются дела, планы кажутся мелкими и ничтожными, главное — в России, там — судьба, там — счастье, быть может...

Вернулся в Париж в отчаянии — надежды нет: Анна снова отказала ему. Вернулся, не только не заезжая ни в Петербург, ни в Царское, но вообще скрыл эту поездку от родителей, взяв на нее деньги у ростовщи-

ка. И ни «пятницы» Гиля, ни встречи с Деникером — ничто не могло увести от себя самого... Ему было худо. Андрей же не только не смог поддержать друга в трудный момент, но и сам упал духом, увидев все сложности заграничной жизни. Так что не случайна и новая попытка самоубийства...

Вспоминает Ал. Толстой: «Гумилев рассказывал мне эту историю глуховатым, медлительным голосом. Он, как всегда, сидел прямо — длинный, деревянный, с большим носом, с надвинутым на глаза котелком. Длинные пальцы его рук лежали на набалдашнике трости. В нем было что-то павлинье: напыщенность, важность, неповоротливость. Только вот рот у него был совсем мальчишеский, с нежной и ласковой улыбкой...»

Вот «эта история» в изложении Толстого: «Они шли мимо меня, все в белом, с покрытыми головами. Они медленно двигались по лазоревому полю. Я глядел на них, — мне было покойно, я думал: «Так вот она, смерть». Потом я стал думать: «А может быть, это лишь последняя секунда моей жизни? Белые пройдут, лазоревое поле померкнет»... Я стал ждать этого угасания, но оно не наступало, — белые так же плыли мимо глаз. Мне стало тревожно. Я сделал усилие, чтобы пошевелиться, и услышал стон. Белые поднимались и плыли теперь страшно высоко. Я начал понимать, что лежу навзничь и гляжу на облака. Сознание медленно возвращалось ко мне, была слабость и тошнота. С трудом наконец я приподнялся и оглянулся. Я увидел, что сижу в траве на верху крепостного рва, в Булонском лесу. Рядом валялся воротник и галстук. Все вокруг — деревья, мансардные крыши, асфальтовые дороги, небо, облака — казались мне жестокими, пыльными, тошнотворными. Опираясь о землю, чтобы подняться совсем, я ощупал маленький, с широким горлышком пузырек, — он был раскрыт и пуст. В нем, вот уже год, я носил большой кусок цианистого калия, величиной в половину сахарного куска. Я начал вспоминать, как пришел сюда, как снял воротник и высыпал из пузырька на ладонь яд. Я знал, что, как только брошу его с ладони в рот, — мгновенно настанет неизвестное. Я бросил его в рот и прижал ладонь изо всей силы ко рту. Я помню шершавый вкус яда...

Вы спрашиваете — зачем я хотел умереть? Я жил один, в гостинице, — привязалась мысль о смерти,

Страх смерти мне был неприятен... Кроме того, здесь была одна девушка...»

Толстой рассуждает дальше: «Смерть всегда была вблизи него, думаю, что его возбуждала эта близость. Он был мужественен и упрям. В нем был постоянный налет печали и важности. Он был мечтателен и отважен — капитан призрачного корабля с облачными парусами».

ЭТО БЫЛО НЕ РАЗ

Это было не раз, это будет не раз
В нашей битве глухой и упорной:
Как всегда, от меня ты теперь отреклась,
Завтра, знаю, вернешься покорной.
Но зато не дивись, мой враждующий друг,
Враг мой, схваченный темной любовью,
Если стоны любви будут стонами мук,
Поцелуи — окрашены кровью [1].

МОЛИТВА

Солнце свирепое, солнце грозящее,
Бога, в пространствах идущего,
Лицо сумасшедшее.

Солнце, сожги настоящее
Во имя грядущего,
Но помилуй прошедшее! [2]

Из письма Брюсову. 30.11.1907. Париж. «...был в России (между прочим, проездом в Киеве сделался сотрудником «В мире искусств») и, по приезде в Париж, принялся упорно работать над прозой. Право, для меня она то же, что для Канта метафизика...»

«...Я продолжаю писать стихи, но боюсь, что мои последние вещи не показывают никакого прогресса...»

«...Сам я все это время сильно нервничаю, как Вы можете видеть по почерку. Пишу мало, читаю еще меньше».

Состояние духа — мрачнейшее. Он пишет Брюсову снова:

«За последнее время я много занимался теорией живописи, а отчасти и театра, читал, посещал выставки

---

[1] В сборнике «Жемчуга», хранящемся в семейном архиве, помета рукой Лукницкого: «АА. Париж».

[2] Помета: «АА, ноябрь 1907 приблиз.». Подчеркнута вторая строка.

и говорил с артистами. Результаты Вы можете видеть в моем письме о «Русск. Выст.» Если оно Вас удовлетворяет, может быть, вы сможете мне указать какой-нибудь орган, хотя бы «Ранн. Утро», где я мог бы писать постоянные корреспонденции о парижских выставках и театрах. Этим Вы оказали бы мне еще раз большую услугу...»

«...Сейчас получил Ваше письмо и спешу поблагодарить Вас за Ваше внимание ко мне. Меня крайне обрадовало, что моя заметка о выставках принята Вами для «Весов». Ведь это первая моя напечатанная проза, потому что «Сириуса» считать нельзя...

Все это время я читал «Пути и перепутья», разбирал каждое стихотворение, их специальную мелодию и внутреннее построение, и, мне кажется, что найденные мною по Вашим стихам законы мелодий очень помогут мне в моих собственных попытках. Во всяком случае, я понял, как плохи мои прежние стихи и до какой степени Вы были снисходительны к их недостаткам...»

«...Я помню, что в прошлом году Вы просили меня написать впечатленье от выставки Дягилева. Но, подобно строптивому сыну Евангелья, я долго, почти год, молчаливо отказывался, до такой степени я ненавидел мои многочисленные попытки писать прозой. И вот только недавно, не более месяца назад, я попробовал писать рассказ (3-ю новеллу о Кавальканти) и не покраснел и не почувствовал прежней жгучей ненависти к себе. С того дня я начал писать много и часто и думаю, что мог бы продолжать, если бы меня не мучила мысль, что мое «довольство» собой происходит только от притупленья моего художественного чутья».

В декабре Гумилев начал готовить сборник «Романтические цветы».

В это время Андрей Горенко уехал в Россию. Гумилев продолжал встречаться с Фармаковским и вместе с ним был на гастролях японской артистки Сада-Якко, а потом — у нее с визитом. Но и Фармаковский вскоре покинул Париж. Гумилев остался практически один, во всяком случае русских, интересующихся поэзией, в его окружении становилось все меньше. А для него это важно. Но он продолжал работать и одновременно задумал поездку в Африку.

Постоянно бывал в музеях природы: Jardin des Plantes, Jardin d'Acclimations, подолгу, иногда по но-

чам, наблюдает крокодилов, гиен, тибетских медведей, птиц и других животных. Бывал в зверинце Adrian Pezon, большом, провинциальном, разъезжавшем по Франции в специальных фургонах. Читал Брема и Реклю. В маленьких недорогих кафе Латинского квартала «Pantheon», «D'Harcourt», «La Source» писал стихи. А то просто рассеянно провожал светлыми раскосыми глазами парочки, торопившиеся занять бесплатные скамейки в Люксембургском саду.

Охотно заводил знакомства с представителями тех стран, к которым чувствовал влечение. В числе знакомых Николая Степановича много негров, малайцев, сиамцев.

Охотно посещал и достаточно дорогие кафе: «Closerie de Lillas» и «Cafe d'Opera».

Вспоминает М. В. Фармаковский: «В кафе происходили встречи со знакомыми, здесь же Николай Степанович любил писать. Гумилев отличался абсолютной трезвостью и никогда не пил в этих кафе ни вина, ни пива, предпочитая им черный кофе или гренадин».

Вспоминает Алексей Толстой: «В этом кафе под каштанами мы познакомились и часто сходились и разговаривали — о стихах, о будущей нашей славе, о путешествиях в тропические страны, об обезьянах, о розысках остатков Атлантиды на островах близ южного полюса, о том, как было бы хорошо достать парусный корабль и плавать на нем под черным флагом...»

В конце года в «Весах» вышла статья Гумилева «Выставка нового русского искусства в Париже». Характерный отрывок: «...Королем выставки является бесспорно Рерих (выставивший 89 вещей). Мне любопытно отметить здесь его духовное родство с крупным новатором современной французской живописи Полем Гогеном. Оба они полюбили мир первобытных людей с его несложными, но могучими красками, линиями, удивляющими почти грубой простотой, и сюжетами дикими и величественными, и, подобно тому как Гоген открыл тропики, Рерих открыл нам истинный север, такой родной и такой пугающий...»

В 1907 году написано:

Весна, до 1 мая, — «Влюбленная в Дьявола» («Кто был бледный и красивый рыцарь...»), «Зачарованный викинг, я шел по земле...», «Слушай веления мудрых...».

Лето, до августа,— «Заклинание» («Юный маг в пурпуровом хитоне...»), «Ягуар» («Странный сон увидел я сегодня...»), «Царь, упившийся кипрским вином...», «Диалог» («Брат мой, я вижу глаза твои тусклые...»), «За часом час бежит...», Корабль («Что ты видишь во взоре моем...»), «Воспоминание» («С корабля замечал я не раз...)».

До начала сентября — «Сада-Якко» («В полутемном строгом зале...»), «Перчатка» («На руке моей перчатка...»), «Мне снилось» («Мне снилось: мы умерли оба...»).

До середины сентября — «Гиена» («Над тростником медлительного Нила...»), «За стенами старого аббатства...», «Невеста льва» («Дня и ночи перемены...»), «Самоубийство» («Улыбнулась и вздохнула...»), «На камине свеча догорала...», «За гробом» («Под землей есть тайная пещера...»).

Вторая половина сентября — «На горах розовеют снега...», «Отказ» («Царица иль, может быть, только печальный ребенок...»).

Начало октября — «Орел Синдбада» («Следом за Синдбадом-мореходом...»), «Принцесса» («В темных покрывалах летней ночи...»), «Носорог» («Видишь, мчатся обезьяны...»), «Неслышный мелкий падал дождь...».

Середина октября — «Маэстро» («В красном фраке с галунами...»), «Помпей у пиратов» («От кормы, изукрашенной красным...»), Зараза («Приближается к Каиру судно...»).

Первая половина ноября — написаны три новеллы о Кавальканти, стихотворения: «Сады души» («Сады моей души всегда узорны...»), «Любовникам» («Любовь их душ родилась возле моря...»).

Вторая половина ноября — «Озеро Чад» («На таинственном озере Чад...»).

Заметка «Выставка нового русского искусства в Париже» (Письмо из Парижа).

До первой половины декабря — «Волшебная скрипка» («Милый мальчик, ты так весел...»), «Нас было пять...».

Декабрь — «Одиноко-незрячее солнце смотрело на страны...», «Renvoi» («Еще ослепительны зори...»), рассказ «Золотой рыцарь».

Напечатано:

Предисловие «От редакции» (без подписи) (Сириус. Париж, № 1); неоконченная повесть «Гибели обреченные» (там же, № 1, 2, 3); «Франции» («О Франция, ты призрак сна...»). Подпись: «К-о» (там же, № 1); рассказ «Карты». Подпись: «Анатолий Грант» (там же, № 2); Неоромантическая сказка. Подпись: «К-о» (там же, № 3); стихотворения: «Императору Каракалле» («Призрак какой-то неведомой силы...»), «Императору» («Император с профилем орлиным...»), «Маскарад» («В глухих коридорах и залах пустынных...») (Весы, № 7), «С корабля замечал я не раз...» (Прилож. к газ. «Русь», № 32), «За покинутым бедным жилищем...» (Прилож. к газ. «Русь», № 33), «Над тростником медлительного Нила...» (газ. «Раннее утро», № 10), статья «Выставка нового русского искусства в Париже» (Весы, № 11), «Я долго шел по коридорам...» (журн. «В мире искусств». Киев, № 20), «Следом за Синдбадом-мореходом...» (газ. «Раннее утро», № 25), «Улыбнулась и вздохнула...» (газ. «Раннее утро», № 30).

1908

Прихотливые вихри влекут...

В начале января вышел в свет второй сборник Гумилева — «Романтические цветы», посвященный Анне Горенко.

В очередном письме Гумилев пишет Брюсову о том, что в последнее время он был болен и не мог присмотреть за печатанием своей книги, и она вышла в виде брошюры, несмотря на то что она всего лишь на один лист меньше «Пути конквистадоров»; о том, что недоволен этой книгой, но доволен, что издал ее, потому что освободился от власти старых приемов и ему будет легче пойти вперед.

Из письма Брюсову. 7.02.1908. Париж. «...Вам понравились «Цветы». Вы будете писать о них в «Весах». При таком Вашем внимании ко мне я начинаю верить, что из меня может выйти поэт, которого Вы не постыдитесь назвать своим учеником. Тем более, что, насмотревшись картин Gustave'a Moreau и начитавшись парнасцев и оккультистов (увы, очень слабых), я составил себе забавную теорию поэзии, нечто вроде Mallarmé, только не идеалистическую, а романтическую, и надеюсь, что она не позволит мне остановиться в развитии. Вы и Ваше творчество играют большую роль в этой теории».

В моих садах — цветы, в твоих — печаль.
Приди ко мне, прекрасною печалью
Заворожи, как дымчатой вуалью,
Моих садов мучительную даль.

Ты — лепесток иранских белых роз.
Войди сюда, в сады моих томлений,
Чтоб не было порывистых движений,
Чтоб музыка была пластичных поз,

Чтоб пронеслось с уступа на уступ
Задумчивое имя Беатриче
И чтоб не хор менад, а хор девичий
Пел красоту твоих печальных губ.

Гумилев много работает — по-прежнему ритм его жизни напряжен и точен.

Проблемы мастерства, интеллектуального совершенства чрезвычайно важны для него в этот период. Главную тему его размышлений можно определить несколькими словами: как стать мастером?

Из писем Брюсову. 7.02.1908. Париж. «Теперь я опять начал писать и, кажется, увереннее и сильнее, чем в период, представленный «Цветами». Примеры: вчерашний «Камень» и два сегодняшних. И я очень и очень интересуюсь узнать Ваше мнение по этому поводу. Жаль только, что конквистадоры моей души, по-видимому, заблудились и вместо великолепных стран и богатых городов попали в какие-то каменноугольные шахты, где приходится думать уже не о победе, а о спасенье. Это делает мои последние вещи однообразными и почти антихудожественными. Жду девятого вала переживаний».

7.03.1908. Париж. «...На днях я получил № 1 «Весов» и пришел в восторг, узнав, что «всё в жизни лишь средство для ярко-певучих стихов». Это была одна из сокровеннейших мыслей моих, но я боялся оформить ее даже для себя и считал ее преувеличенным парадоксом. Теперь уже в цепи Ваших стихов она кажется вполне обоснованной истиной, и я удивляюсь ее глубине, как удивился бы угольщик своему собственному сыну, воспитанному в королевском дворце...»

«...Сейчас я пишу философско-поэтический диалог под названием «Дочери Каина», смесь Платона с Флобером, и он угрожает затянуться...»

25.03.1908. Париж. «Открылась выставка «Indépendants» («Независимых». — *В. Л.*), и я ничего не пишу о ней в «Весы». Это происходит не от лени и не из-за моих других работ (их у меня действительно много), но исключительно из-за самой выставки. Слишком много в ней пошлости и уродства, по крайней мере для меня, учившегося эстетике в музеях. Может быть, это тот хаос, из которого родится звезда, но для меня новые течения живописи в их настоящей форме совершенно непонятны и несимпатичны. А писать о том немногом, что меня заинтересовало, не имело бы смысла. Впрочем, скоро открывается Весенний Салон, и я надеюсь, что с ним я буду счастливее. Также я попросил бы Вас дать мне для разбора какую-нибудь книгу русских стихов. Моим мыслям о поэтическом творчестве пока было бы удобнее всего вылиться в рецензии».

И все же Гумилев написал статью об этой выставке. Точнее — о двух. Она была опубликована в «Весах», № 5 за 1908 год,—«Два салона»: «Indépendants» и «Société Nationale». Журнал дал примечание к статье: «Редакция помещает это письмо как любопытное свидетельство о взглядах, разделяемых некоторыми круж-

ками молодежи, но не присоединяется к суждениям автора статьи».

Гумилев пробует свои силы в разных направлениях. Ему интересно испытать себя — сколько у него сил и надолго ли их хватит. Рассказ, который он пишет, — тоже эксперимент, дерзкая смесь истории и фантастики, жанр, который Гумилева все время влечет к себе: где граница сна и яви, жизни и воображения, дневного света и света сна? Сюжет рассказа: один из рыцарей Ричарда Львиное Сердце встречается с семью дочерьми Каина, охраняющими вечный сон своего отца в мраморной гробнице. Рассказ-притча, рассказ-метафора.

Снова перечитывает Карамзина и Пушкина. Возвращается к любимым мастерам — гениальному поэту и великому историку, в их творчестве ищет ответы на свои вопросы.

Из письма Брюсову 6.04.1908. Париж. «...Я хочу попросить у Вас совета как у maitre'a (мэтра. — *В. Л.*), в руках которого находится развитие моего таланта. Обстоятельства хотят моего окончательного переезда в Россию (в Петербург), но не повредит ли мне это как поэту. Тогда их можно устранить. Сообщите мне Ваше мнение, и оно будет играть роль в моем решении. Конечно, я напомню Вам Джеромовского юношу, который вечно жил советами, но Ваше влияние на меня было до сих пор так благотворно, что я действую по опыту...»

По поводу выхода «Романтических цветов» Брюсов написал в «Весах»: «Стихи Н. Гумилева теперь красивы, изящны и большей частью интересны по форме; теперь он резко и определенно вычерчивает свои образы и с большей продуманностью и изысканностью выбирает эпитеты... Может быть, продолжая работать с той упорностью, как теперь, он сумеет пойти много дальше, чем мы то наметили, откроет в себе возможности, нами не подозреваемые».

Слова эти на первый взгляд как будто окрылили Гумилева, потому что любая оценка мэтра ему важна, но вскоре наметилась раздвоенность отношения к Брюсову — хоть он и оставался Учителем, но ученик, чрез-

вычайно строго относящийся к собственному творчеству, сам уже сознавал, да и Брюсову писал об этом, что книга его еще ученическая. Позже в Петербурге вышли еще рецензии на «Романтические цветы».

Тем временем в Париже на «четвергах», организованных Е. С. Кругликовой в «Русском артистическом кружке», Гумилев сблизился с Ал. Толстым и М. Волошиным, В. Белкиным и Кошериным (сотрудником «Русского богатства». — *В. Л.*), Данишевским и Николадзе. Познакомился с писателями, художниками, скульпторами: Мерсеро, Широковым, Кирзилиным, Тарховым, Матвеевым, Досекиным, Меньшиковым, Книппером.

Но ни кружки, ни дружеские отношения, ни встречи не могли уже повлиять на окончательное решение Гумилева вернуться в Россию.

20 апреля он покинул Париж. Приехал поездом в Севастополь к Анне Горенко, затем, очень скоро, — в Царское.

Из дневника Лукницкого

2.02.1925

В апреле Гумилев приехал в Севастополь, чтобы повидаться с А. Горенко. Снова сделал предложение и снова получил отказ. Вернули друг другу подарки, Николай Степанович вернул АА ее письма... АА возвратила все охотно, отказалась вернуть лишь подаренную Николаем Степановичем чадру. Николай Степанович говорил: «Не отдавайте мне браслеты, не отдавайте остального, только чадру верните...»

Чадру он хотел получить назад, потому что АА ее носила, потому что это было самой яркой памятью о ней. АА: «А я сказала, что она изношена, что я не отдам ее... Подумайте, как я была дерзка — не отдала. А чадра была действительно изношена».

По пути из Севастополя в Царское Село, в Москве, Гумилев посетил Брюсова и надписал ему «Романтические цветы». Летом съездил последний раз в «Березки», а оттуда первый раз — в имение «Слепнево». Мать Гумилева получила часть усадьбы «Слепнево» в наследство от покойного брата — крестного Николая Степановича.

Из дневника Лукницкого

29.03.1928

Рассказывает А. И. Гумилева: «...имение Слепнево последнее время было 125 десятин (когда оно нам перешло от брата Льва Ивановича). Жена брата — Любовь Владимировна (урожденная Сахацкая) получила его в пожизненное владение, и после ее кончины оно перешло к нам троим, на три доли пришлось: Варваре Ивановне, Агате Ивановне и Анне Ивановне, но Агаты Ивановны не было в живых и значит — ее сыну — Борису Владимировичу. Я вместе с Констанцией Фридольфовной пополам купили часть, принадлежавшую Борису Владимировичу Покровскому, а Варвара Ивановна передала свою часть Констанции Фридольфовне, так, что в последнее время все имение принадлежало нам — мне и Констанции Фридольфовне пополам».

Летом Гумилев подал прошение ректору Петербургского университета и был зачислен студентом юридического факультета. Через год перешел на историко-филологический. Уже в Петербурге встречался с Волошиным и Ал. Толстым, возобновил общение с Анненским и, несмотря на регулярную переписку с Брюсовым, начал заметно отдаляться от него во взглядах на поэзию. Задумал издание новой книги.

Сразу же после возвращения Гумилев сблизился с семьей Аренс — сестрами и их матерью, с которыми был знаком по Царскому Селу еще до поездки в Париж.

Из письма Гумилева — В. Е. Аренс. 1.07.1908. «Мне очень интересно, какое стихотворение Вы предположили написанным для Вас. Это — «Сады моей души». Вы были правы, думая, что я не соглашусь с Вашим взглядом на Уайльда. Что есть прекрасная жизнь, как не реализация вымыслов, созданных искусством? Разве не хорошо сотворить свою жизнь, как художник творит картину, как поэт создает поэму? Правда, материал очень неподатлив, но разве не из твердого мрамора высекаются самые дивные статуи?»

Сады моей души всегда узорны,
В них ветры так свежи и тиховейны,
В них золотой песок и мрамор черный,
Глубокие, прозрачные бассейны.

Растенья в них, как сны, необычайны,
Как воды утром, розовеют птицы,
И — кто поймет намек старинной тайны —
В них девушка в венке великой жрицы.

Глаза, как отблеск чистой серой стали,
Изящный лоб, белей восточных лилий,
Уста, что никого не целовали
И никогда ни с кем не говорили.

И щеки — розоватый жемчуг юга,
Сокровище немыслимых фантазий,
И руки, что ласкали лишь друг друга,
Переплетясь в молитвенном экстазе.

У ног ее — две черные пантеры
С отливом металлическим на шкуре.
Взлетев от роз таинственной пещеры,
Ее фламинго плавает в лазури.

Я не смотрю на мир бегущих линий,
Мои мечты лишь вечному покорны.
Пускай сирокко бесится в пустыне,
Сады моей души всегда узорны.

У Гумилева всегда была потребность именно в женском общении. Он считал женщин существами, более тонко, более эмоционально и, может быть, восторженно реагирующими на таинства и чудеса поэзии. Ему хотелось именно такой «отзывчивости», поэтической реакции на поэзию, поэтического восприятия жизни.

Но — кончилось лето и кончилось увлечение, а девиз: «Прекрасная жизнь — это реализация вымыслов, созданных искусством» — остался навсегда.

Из дневника Лукницкого

14.11.1925

АА рассказывает... Николай Степанович никогда не говорил ей о Лиде Аренс — никогда, ни одного упоминания не было. Она помнит его разговоры и о Зое, и о Вере, но только не о Лиде. Узнала она об этом только теперь, от Пунина.

Теперь я записываю содержание сегодняшних бесед с АА.

АА много говорила сегодня об отношениях Николая Степановича к ней и о романах Николая Степановича

с женщинами. Так, говорила о его романе с Лидой Аренс. В 1908 году, весной, вернувшись из Парижа и побывав по пути в Севастополе, у АА (где они отдали друг другу подарки и решили не переписываться и не встречаться), Николай Степанович в Царском Селе познакомился с Аренсами (то есть знакомство могло быть и раньше, но — сблизился). Зоя была неудачно влюблена в Николая Степановича, приходила даже со своей матерью в дом Гумилевых. Николай Степанович был к ней безразличен до того, что раз, во время ее посещения, вышел в соседнюю комнату, сел в кресло и заснул. Вера Аренс, тихая и прелестная, «как ангел», пользовалась большими симпатиями Николая Степановича. А Лида Аренс увлеклась Николаем Степановичем, и был роман; дело кончилось скандалом в семье Аренсов, так как Лида даже оставила дом и поселилась отдельно. Кажется, ее отец так и умер, не примирившись с ней, а мать примирилась чуть ли не в восемнадцатом году только.

АА не знает точно времени романа, но это — 1908 год, во всяком случае.

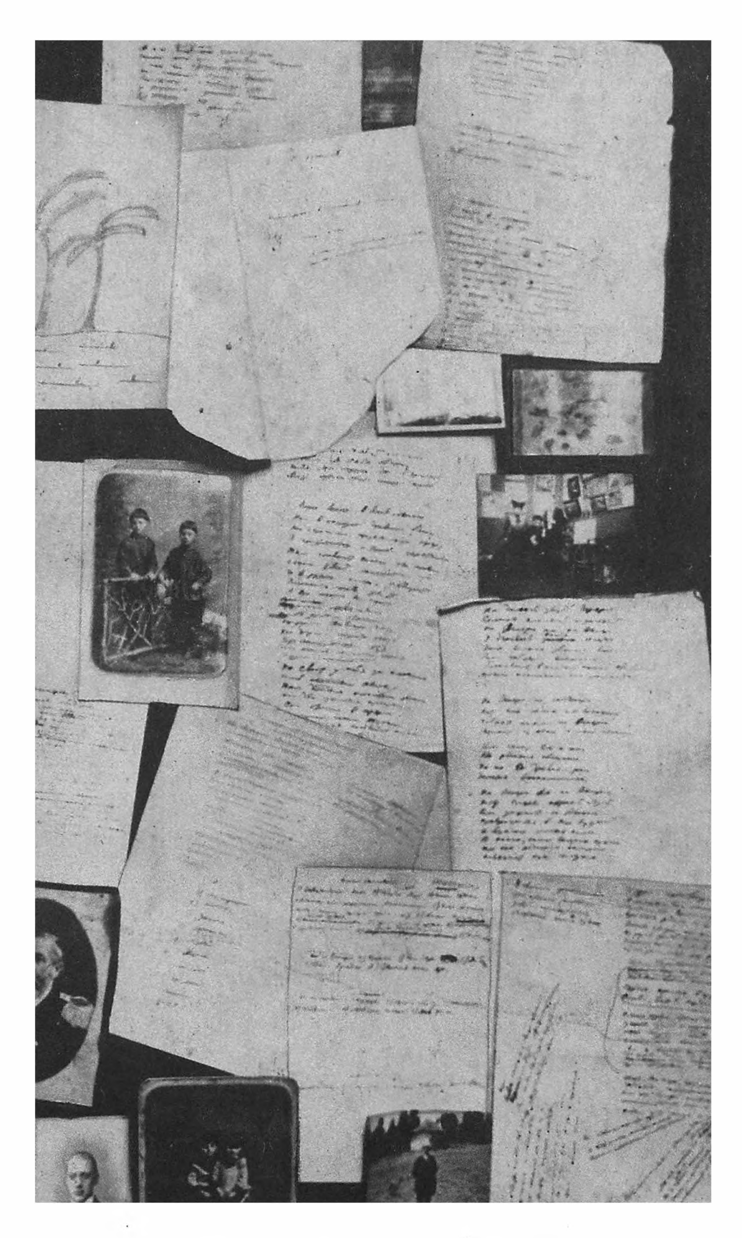
АА предполагает, что стихи «Сегодня ты придешь ко мне» и «Не медной музыкой фанфар» обращены к Лиде Аренс. Во всяком случае, они относятся не к АА. О стихах, относящихся к АА, Николай Степанович постоянно говорил, читал ей, цитировал, так что она всегда знала их. Вот стихи Николая Степановича того времени, обращенные к ней: «Я счастье разбил с торжеством святотатца» — это и подобные ему. А о тех Николай Степанович не говорил, не читал их ей — о тех молчок, и увидела их АА уже только напечатанными.

Между прочим, о стихотворении «Не медной музыкой фанфар» АА сказала, что это хорошее стихотворение, мол, несмотря на то что в нем — неопытность, что оно достаточно юношеское, в нем есть несомненный лиризм...

В августе 1908 года АА приезжала и помнит, что Николай Степанович был с ней чрезвычайно мил, любезен, говорил ей о своей влюбленности и т. д.

АА сказала мне, что, кажется, думала о том, что этот роман с Лидой был в самом разгаре его признаний ей.

АА наверняка знает, что в 1903—1905 годах у Николая Степановича никаких романов ни с кем не было, что влюбленность его отдаляла его от романов.



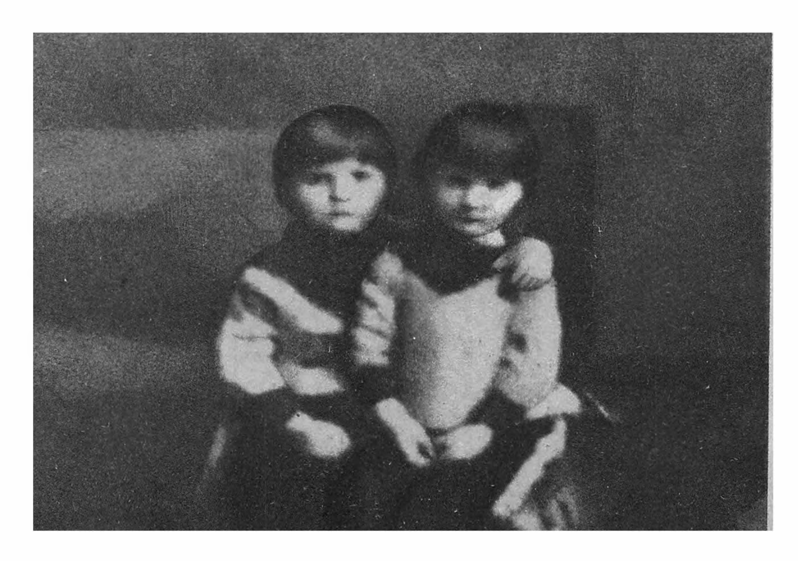
Документы архива П. Н. Лукницкого,
касающиеся семьи Гумилевых.

С. Я. Гумилев, отец поэта.

А. И. Гумилева, мать поэта.



Митя и Коля Гумилевы в раннем детстве.



Детские рисунки Н. Гумилева и подписи к ним.

Уже у гидры семиглавой
Одна спалилась голова
И [illegible] Геракл суровый,
Вел золотой под шкурой льва,

От ужаса вода иссякла
В расселинах вздрогнувших скал,
Когда под пальцем Геракла
Окровавленный лев упал.

Ни клюв железный, ни стальные
крылья
От стрел Геракла гарпий не
спасут,
Залиты кровью и [illegible]
Во тьме Геракл творит свой
страшный суд.



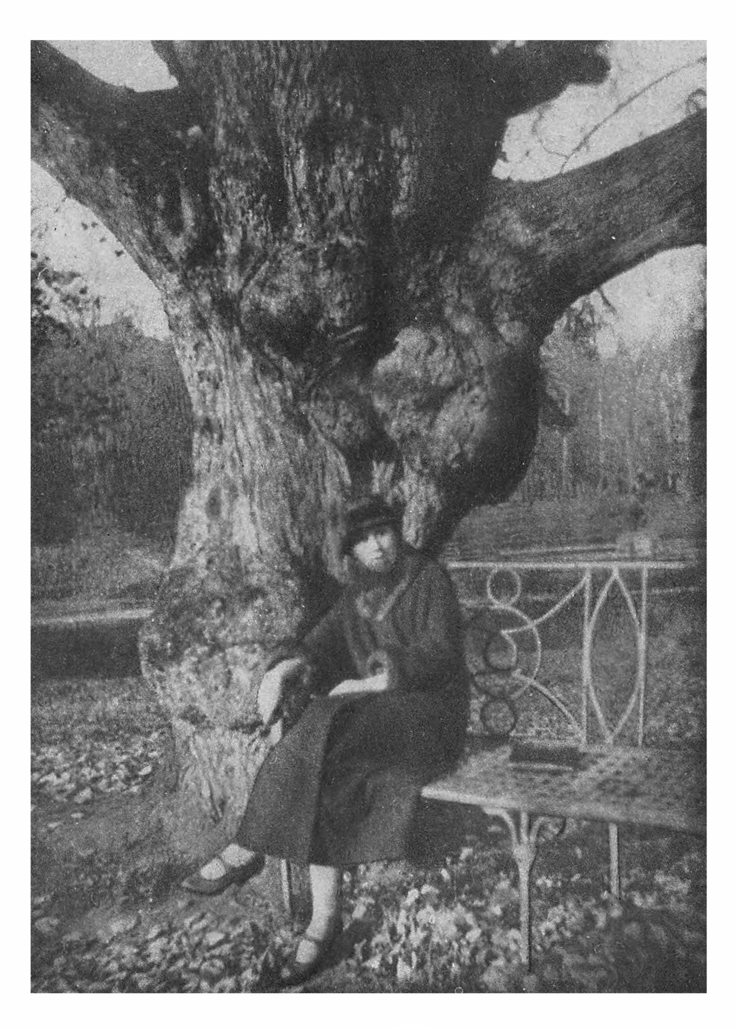
Митя и Коля Гумилевы в Поповке.

В июле 1925 г. я была в Бежецке у
Гумилевой. Она охотно говорила со
мной о Н.С. Там же я видела ~~несколько~~ две
интересные фотографии: 1) Остров на
пруде в Поповке (см. восп. Лемана) и
группу детей в лодке (Гум. и Красно...
у Н.С.Г. в мягкой войлочной шляпе с ружьем
(период Кавказский). К этому же периоду А.И.
относит 2 женских имени: Коробьева и Л. Марти...
А.И. определенно помнит, что стих. о чаше
Грааль было напечатано в какой-то газете.
(м.б. Словом или Русь)
Осенью 1903 Н.С. приехал в Ц.С. и поступил в 7-ой кл.
гимназии. Некоторые из его кавказских друзей
в то время уже кончившие гимназию
жили в СПб. Но прежние отношения ...

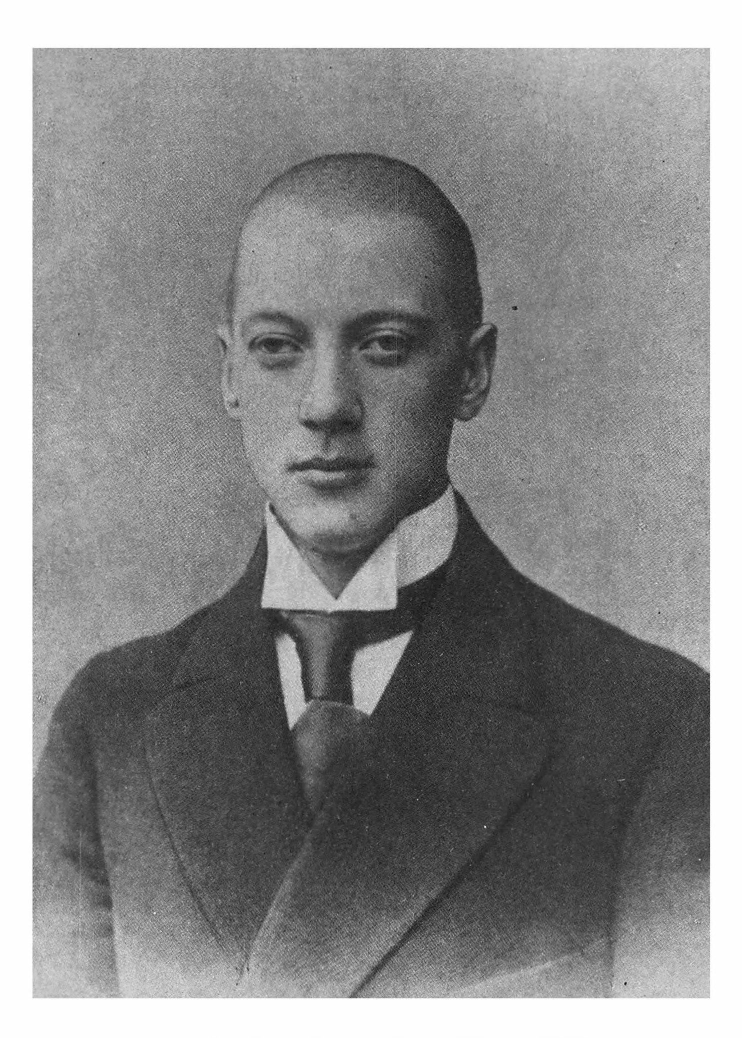
Запись А. А. Ахматовой о Н. С. Гумилеве,
сделанная для П. Н. Лукницкого в 1925 году.

Дом в Тбилиси на бывш. Сергиевской улице,
где жили Гумилевы с 1901 по 1903 год.
Современная фотография.

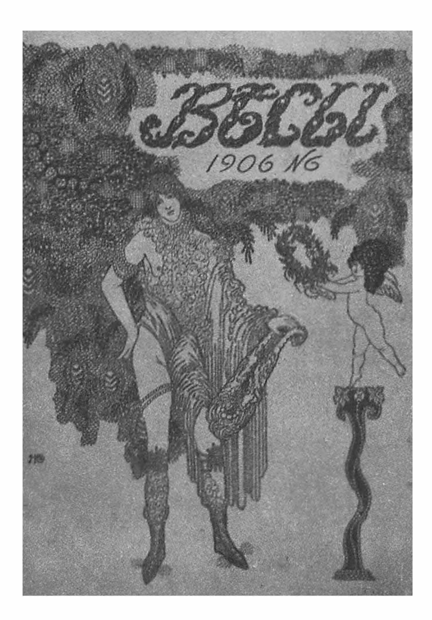




А. А. Ахматова.
Памятная скамейка, возле которой Н. С. Гумилев впервые признался ей в любви.
Фото П. Н. Лукницкого, 1925 год.



Н. С. Гумилев — гимназист старших классов.

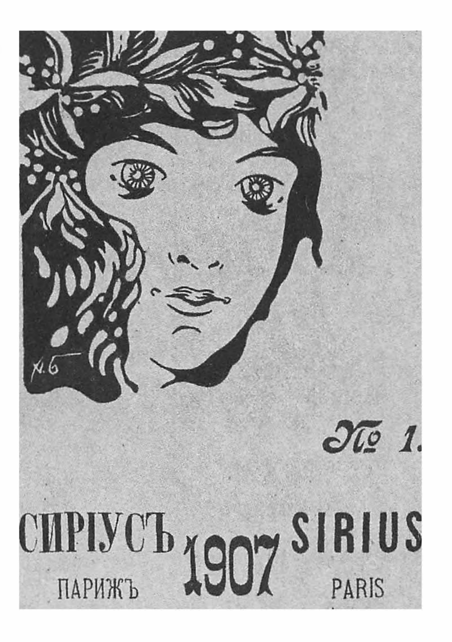


Обложка московского журнала «Весы», где публиковались стихи Н. Гумилева.



Обложка первой книги Н. Гумилева.

Обложка журнала «Сириус», основанного Н. Гумилевым в Париже.

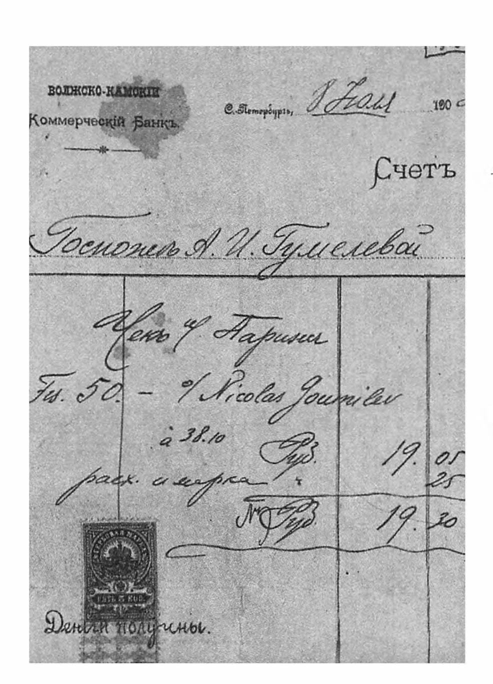


Задняя сторона обложки «Сириуса».


Открыта подписка
НА ТРИ МѢСЯЦА
НА ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ
„СИРІУСЪ"
Подписчики получатъ 6 нумеровъ размѣромъ отъ одного до двухъ печатныхъ листовъ съ репродукціями на отдѣльныхъ листахъ,
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на 3 мѣсяца: въ Парижѣ 5 фр. въ Россіи и заграницей 3 рубля.
Отдѣльные нумера въ Парижѣ 1 фр. въ Россіи 50 коп
Адресъ редакціи Paris. 25. Rue de la Gaité.
Пріемъ по дѣламъ редакціи по пятницамъ отъ 1 ч. до 3 ч.

CLICHÉS
par la maison
TATON
49 Boulevard Pasteur. 49. PARIS (XV).

Imprimerie Polyglotte N. L. DANZIG
26 Rue des Francs-Bourgeois. 26 PARIS



ВОЛЖСКО-КАМСКIЙ
Коммерческiй Банкъ.

С.-Петербургъ, 8 Іюл 190

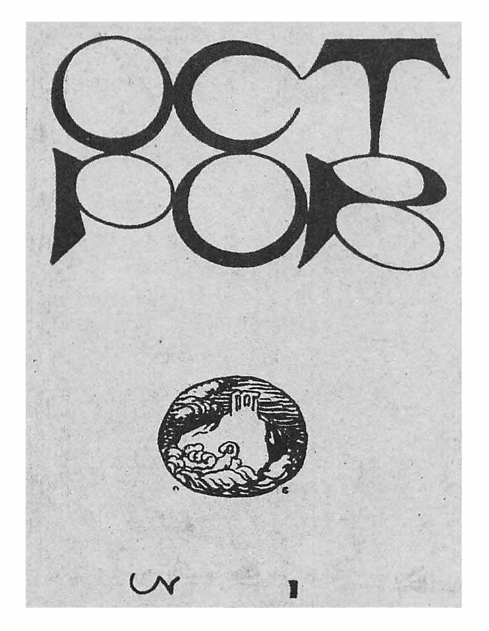
Счетъ

Госпожѣ А. И. Гумилевой

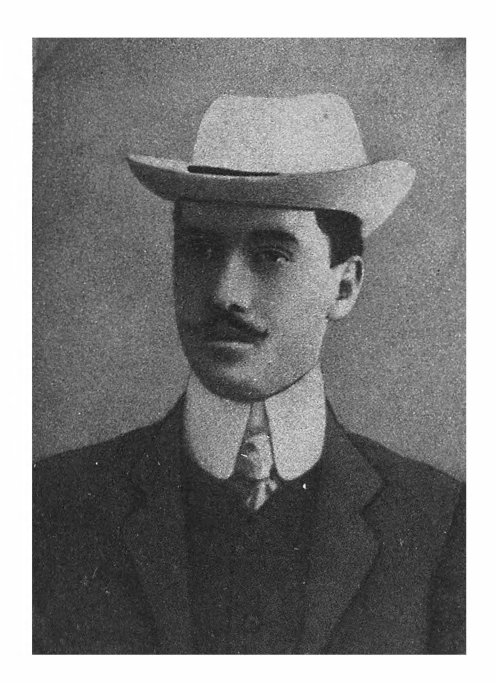
Чекъ ч. Парижъ		
Frs. 50.— % Nicolas Goumilev		
à 38.10 Руб.	19.	05
расх. и марка		25
№ Руб.	19.	30

Деньги получены.

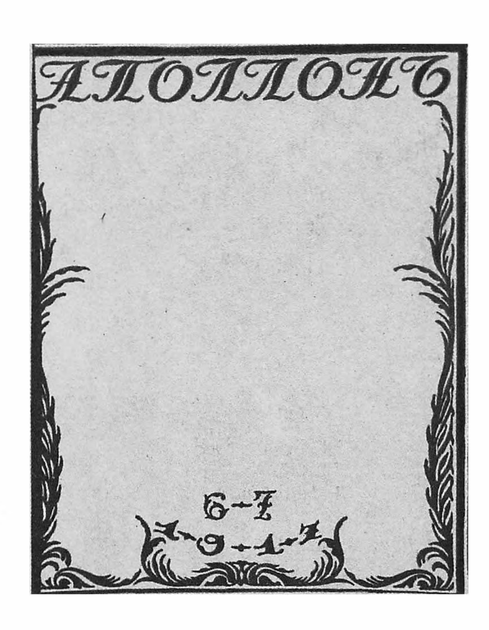
Чек на перевод денег матери из Парижа.



Обложка журнала «Остров», основанного Н. Гумилевым и Ал. Толстым в 1909 году.



Н. С. Гумилев.
Фотография 1909(?) года.



Обложка журнала «Аполлон».

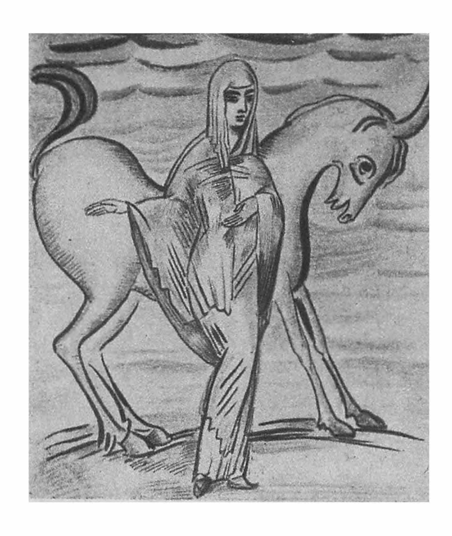
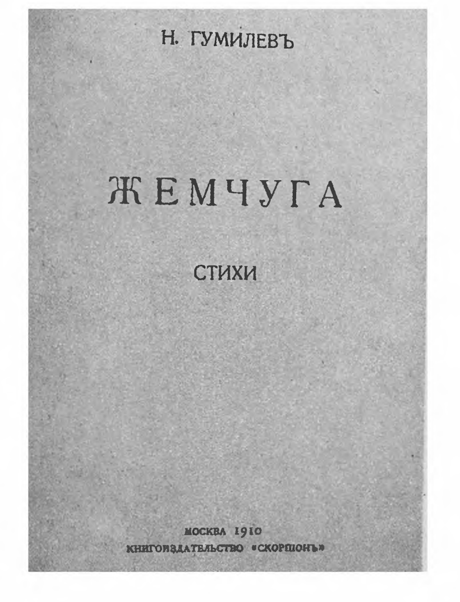


Рисунок П. Кузнецова
к арабской сказке
Н. Гумилева «Дитя Аллаха»,
напечатанный в «Аполлоне».



Обложка книги Н. Гумилева
«Жемчуга».

Обложка книги А. Блок «Ночные часы» с дарственной надписьк Н. Гумилеву.

Николаю Степановичу Гумилеву с рукопожатием автор.

АЛЕКСАНДРЪ БЛОКЪ

Ночные часы

Четвертый сборникъ стиховъ

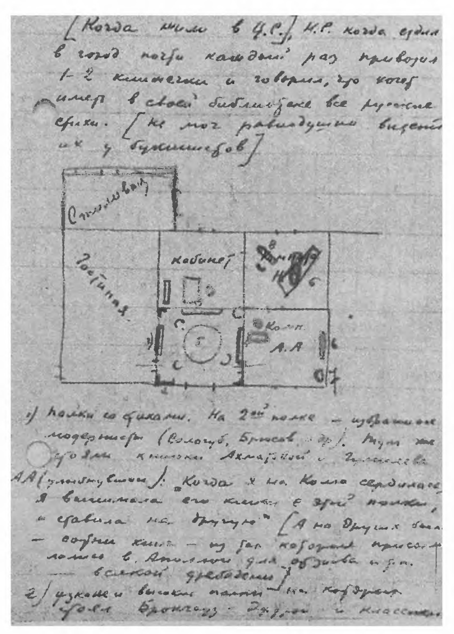
(1908—1910).

Книгоиздательство «Мусагетъ»
Москва — MCMXI

Ноябрь 1911.

Дружеская эпиграмма на Н. Гумилева. Записана А. А. Ахматовой.

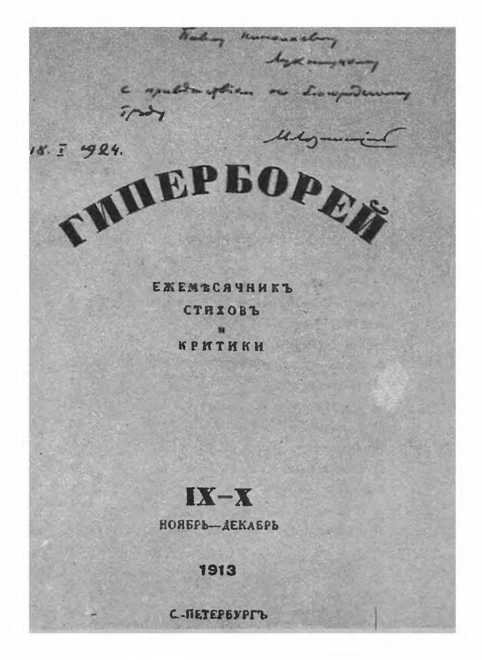
Автограф письма
Ольги Кузьминой-
Караваевой племяннику
Гумилева
Н. Л. Сверчкову.


[Когда жили в Ц.С.] Н.Г. когда ездил в город почти каждый раз привозил 1-2 книжечки и говорил, что хочет иметь в своей библиотеке все русские стихи. [не мог равнодушно видеть их у букинистов]

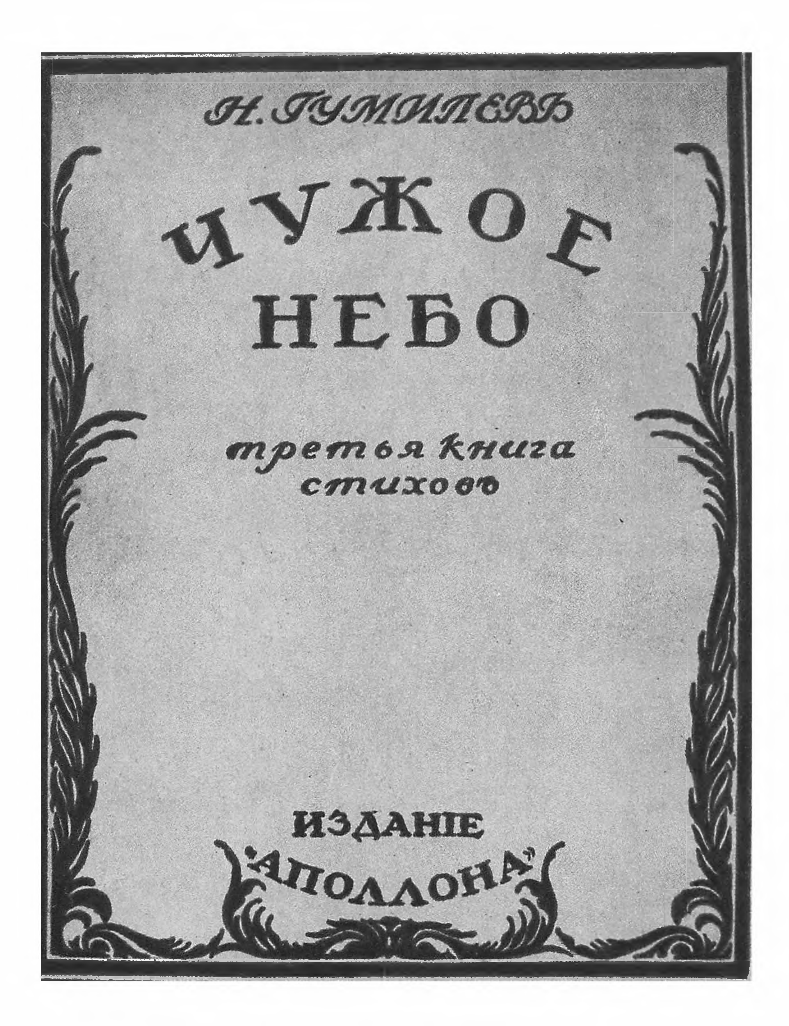
1) полки со стихами. На 2ой полке — избранные модернисты (Сологуб, Брюсов и др.). Тут же стояли книжки Ахматовой и Гумилева. АА (улыбнувшись): „Когда я на Колю сердилась, я вынимала его книжки с этой полки, и ставила на другую“ [А на других были — сотни книг — из тех, которые присылались в Аполлон для отзыва и т. п. — всякой дребедени]
2) узкие и высокие полки на которых стояли Брокгауз-Эфрон и классики

План дома Гумилевых
в Царском Селе
по Малой, 63.
Запись П. Н. Лукницкого,
правленная
А. А. Ахматовой.

Визитные карточки семьи Гумилевых.



Обложка основанного Н. Гумилевым журнала «Гиперборей» с дарственной надписью М. Л. Лозинского.



Обложка книги Н. Гумилева «Чужое небо».

5.04.26. Ш. Д. [1]

«Он великий бродяга был», — сказала АА по поводу разговоров З. Е. Аренс о барстве Гумилева.

Осенью 1908 года, когда АА была в Петербурге, АА была в Царском Селе у Валерии Сергеевны Срезневской и послала Николаю Степановичу записку, что едет в Петербург и чтобы он пришел на вокзал. На вокзале его не видит, звонок — его нет... Подходит поезд... Вдруг он появляется на вокзале в обществе Веры Евгеньевны и Зои Евгеньевны Аренс. Оказывается, он записки не получил, а приехал просто случайно».

И в Царском Селе Гумилев оставался одиноким. По-прежнему у него единственный советчик и покровитель — Брюсов и... предельная бескомпромиссная строгость к себе.

Из писем Брюсову. 12.05.1908. Царское Село. «Сейчас я перечитывал «Путь конкв.» (первый раз за два года), все Ваши письма (их я читаю часто) и «Р. Цветы». Нет сомненья, что сделал громадные успехи, но также нет сомнения, что это почти исключительно благодаря Вам. И я еще раз хочу Вас просить не смотреть на меня как на писателя, а только как на ученика, который до своего поэтического совершеннолетия отдал себя в Вашу полную власть. А я сам сознаю, как много мне надо еще учиться».

15.06.1908. Царское Село. «Вы были моим покровителем, а я ищу в Вас «учителя» и жду формул деятельности, которым я поверю не из каких-нибудь соображений (хотя бы и высшего порядка), а вполне инстинктивно... И мне кажется, чем решительнее, чем определеннее будут Ваши советы, тем больше пользы мне они принесут. Впрочем, делайте, что найдете нужным и удобным: уже давно я Вам сказал, что отдаю в Ваши руки развитие моего таланта, и Вы вовремя не отказались... Жду «Ром. Цветов» с Вашими пометками. На всякий случай посылаю еще экземпляр».

Гумилев просит советов у Брюсова, но сам уже констатирует довольно точную схему и манеру нового уче-

[1] Так Лукницкий обычно помечает Шереметевский дом (Фонтанка, 34), во флигеле которого жила Ахматова с 1925 по 1952 год.

ничества, постижения ремесла. В каждом письме — его помощь самому себе: он просит советов — он сам себе их дает.

Из писем Брюсову. 14.07.1908. Царское Село. «...Я помню Ваши предостереженья об опасности успехов и осенью думаю уехать на полгода в Абиссинию, чтобы в новой обстановке найти новые слова, которых мне так недостает. А успехи действительно есть: до сих пор ни один из моих рассказов не был отвергнут для напечатания. «Русская мысль» взяла два мои рассказа и по моей просьбе (о ней ниже) напечатает их в августе, «Речь» взяла три и просит еще. Но я чувствую, что теоретически я уже перерос мою прозу, и чтобы отделаться от этого цикла моих мыслей, я хочу до отъезда (приблизительно в сентябре) издать книгу рассказов и затем до возвращенья не печатать ничего».

28.08.1908. Царское Село. «...По-прежнему я люблю и ценю больше всего путь, указанный для искусства Вами. Но я увидел, как далеко стою я от этого пути. В самом деле, Ваше творчество отмечено всегдашней силой мысли. Вы безукоризненно точно переводите жизнь на язык символов и знаков. Я же до сих пор смотрел на мир «пьяными глазами месяца» (Ницше), я был похож на того, кто любил иероглифы не за смысл, вложенный в них, а за их начертания и перерисовывал их без всякой системы.

В моих образах нет идейного основания, они — случайные сцепления атомов, а не органические тела. Надо начинать все сначала или идти по торной дорожке Городецкого. Но на последнее я не согласен. В одном стихотвореньи Вы говорите: «есть для избранных годы молчанья...» Я думаю, что теперь они пришли и ко мне. Я еще пишу, но это не более как желание оставить после себя след, если мне суждено «одичать в зеленых тайнах». В силу того же соображенья я возвращаю Вам «Скрипку Страдивариуса» с просьбой напечатать ее в своих «Весах», когда это для них будет удобно. Книгу («Жемчуга».— *В. Л.*) я решил не издавать, а мои вещи после перелома будут слишком долго незрелы, чтобы их можно было печатать.

Как видите, я написал Вам кислое письмо, но я серьезно думаю все это. От Вас зависит властью до-

бровольно избранного maitre'a повлиять на мое решенье».

В сентябре Гумилев с очень небольшими деньгами выехал в Африку.

Из дневника Лукницкого

28.03.1925

АА: «Первая поездка Николая Степановича в Африку шесть недель продолжалась — в Египте был».

Утром 10 сентября приехал в Одессу и тем же днем на пароходе Русского общества пароходов и торговли «Россия» отправился в Синоп. Там пробыл 4 дня в карантине. Дальше Константинополь — Пирей. В Афинах осматривал Акрополь и читал Гомера. 1 октября — в Александрии, 3-го — в Каире, 6-го — опять в Александрии. Осматривал достопримечательности, посетил Эзбекие, купался в Ниле — словом, развлекался сначала как обычный турист. Пока не кончились деньги. Поголодав изрядно и оставив мысль о путешествии в Рим, Палестину и Малую Азию, куда намеревался попасть, он занял деньги у ростовщика и тем же маршрутом, вплоть до заезда в Киев, вернулся домой...

Первое, почти туристическое, путешествие Гумилева отразилось в его ранних стихах.

Кроме того, поездка в Египет, как рассказывала Ахматова, сняла опасность самоубийства: в будущем, несмотря ни на какое подавленное душевное состояние, если таковое было, Гумилев никогда больше не возвращался к этой мысли.

Несмотря на то что реализовать поездку так полно, как мечтал Гумилев, он не смог, тем не менее было потрясение от наконец-то увиденного, снившегося ему с детства и оказавшегося доступным, благодаря его целеустремленности. Мечта сбылась. На смену явилась жажда Африки... Вечная, никогда не утолимая жажда. И после каждой следующей поездки она все больше обострялась. Он мечтал об Африке и в период войны, когда был на фронте, и за границей, куда попал после февральской революции, и даже в 1921 году в Петро-

граде... Это не то, не совсем то, что обычно называют его любовью к экзотике.

У каждого творца свое измерение. У Гумилева оно трехмерно. Это — его стихи, проявление своего «я» в войне и его Африка — одно из трех составляющих мир души поэта. Так же, как он — поэт, воин, он — путешественник, не только исследовавший малоизвестные земли и народы, но и непревзойденно воспевший их.

Поздней осенью, вернувшись из путешествия, Гумилев поселился в Царском, в доме Георгиевского на Бульварной улице (ныне Октябрьский бульвар), куда в его отсутствие успела переехать семья, состоявшая к тому времени из родителей, сестры, А. С. Сверчковой, с дочерью и сыном, брата, который вскоре женился и формально жил в Ораниенбауме, а фактически почти все время — в Царском... К сожалению, дом не сохранился. На этом месте построено новое здание под № 37.

Отложил издание «Жемчугов» и занялся фантастической повестью о современной жизни.

Из дневника Лукницкого

26.11.1926

АА: «Впоследствии, вплоть до 1914 года, несколько раз возвращался к этому замыслу, но повести так и не написал».

Из писем Брюсову. 15.12.1908 и 19.12.1908. «...У меня намечено несколько статей, которые я хотел бы напечатать в «Весах» в течение этого года. Не взяли бы Вы также повесть листа в 4,5 печатных. Она из современной жизни, но с фантастическим элементом. Написана скорее всего в стиле «Дориана Грея», фантастический элемент в стиле Уэллса. Называется «Белый Единорог».

Кстати, нельзя ли поместить в каталоге «Скорпиона» заметку, что готовится к печати моя книга стихов под названием «Золотая магия». Это вместо „Жемчугов“...»

«Я много работаю и все больше над стихами. Стараюсь по Вашему совету отыскивать новые размеры, пользоваться аллитерацией и внутренними рифмами.

Хочу, чтобы «Золотая магия» уже не была «ученической книгой», как «Ром. цветы»...

Я безумно заинтересован „Основами поэзии“».

Вернувшись в Царское, Гумилев познакомился с писателем Сергеем Абрамовичем Ауслендером и вместе с ним поехал с визитом к Вячеславу Ивановичу Иванову на знаменитую «башню». Так называли квартиру Иванова на Таврической улице, 35, расположенную на верхнем, седьмом, этаже дома и выходившую на Таврический дворец и сад. Там, на знаменитых «средах», и произошла первая встреча Гумилева с Вяч. Ивановым — теоретиком символизма; встреча, о которой он мечтал давно.

На «башне» Гумилев читал стихи и имел успех.

Вспоминает С. А. Ауслендер: «С этих пор начался период нашей настоящей дружбы с Гумилевым, и я понял, что все его странности и самый вид денди — чисто внешние. Я стал бывать у него в Царском Селе. Там было очень хорошо. Старый уютный особняк. Тетушки. Обеды с пирогами. По вечерам мы с ним читали стихи, мечтали о поездках в Париж, в Африку.

Заходили царскоселы, и мы садились играть в винт. Гумилев превращался в завзятого винтера, немного важного. Кругом помещичий быт, никакой Африки, никакой романтики.

Весной 1909 года мы с ним часто встречались днем на выставках и не расставались весь день. Гуляли, заходили в кафе. Здесь он был очень хорош как товарищ. Его не любили многие за напыщенность, но если он принимал кого-нибудь, то делался очень дружественным и верным, что встречается, может быть, только у гимназистов. В нем появлялась огромная нежность и трогательность».

Из дневника Лукницкого

13.03.1926

АА была у Кардовских в Москве. У них было много народу. Смотрела портрет Гумилева, говорила обо мне и просила Кардовскую позволить мне его сфотографировать, когда я буду в Москве. Смотрела ее альбом. Выписала оттуда стихотворение Н. С., а другое — то,

которое принадлежит Н. С., но вписано в альбом АА,— не посмотрела даже — «стыдно было...». Записала первые строчки стихотворений Анненского и Комаровского, вписанных ими в альбом. Я спросил, не узнавала ли она о воспоминаниях Кардовской о Гумилеве. АА ответила, что Кардовская ничего — абсолютно ничего не помнит — дат и т. п. Но что обещала вспомнить и рассказать мне — или Горнунгу (АА направила Горнунга к Кардовской).

Лукницкий и Горнунг, собирая материалы о Гумилеве, всегда обменивались находками. Так было и в этот раз: Горнунг побывал у Делла-Вос-Кардовской и вскоре привез Павлу Николаевичу запись ее воспоминаний.

Вспоминает художница О. Л. Делла-Вос-Кардовская: «Николай Степанович вернулся из Парижа весной 1908 года и до своего путешествия в Египет поселился у родителей в Царском Селе. О нас он узнал от своей матери и выразил желание познакомиться. Знакомство произошло 9 мая, в день его именин. С тех пор мы начали с ним встречаться и беседовать. Обычно это бывало, когда он выходил на свой балкон. Так продолжалось до нашего отъезда за границу.

В ту осень в Петербурге была сильная холера, и мы задержались за границей до октября месяца. Вернувшись, мы узнали, что Гумилевы переехали на другую квартиру, на Бульварной улице. В это время умер отец Николая Степановича. Поскольку верхний этаж пустовал, я устроила в нем свою мастерскую и студию, где преподавали мы с мужем. В этой мастерской впоследствии и был мной написан портрет Николая Степановича...

С осени возобновилось наше знакомство с семьей Гумилевых. Николай Степанович сделал нам официальный визит, а затем мы довольно часто стали бывать друг у друга. Он любил визиты, придавал им большое значение и очень с ними считался...

...Приблизительно в этот период Николай Степанович написал в мой альбом посвященное мне стихотворение, а также акростих в альбом нашей дочери Кати.

...Мысль написать портрет Николая Степановича пришла мне в голову еще весной 1908 года. Но только в ноябре я предложила ему позировать. Он охотно согласился. Его внешность была незаурядная — какая-то

своеобразная острота в характере лица, оригинально построенный, немного вытянутый вверх череп, большие серые слегка косившие глаза, красиво очерченный рот. В тот период, когда я задумала написать его портрет, он носил небольшие, очень украшавшие его усы. Бритое лицо, по-моему, ему не шло...

Во время сеансов Николай Степанович много говорил со мной об искусстве и читал на память стихи Бальмонта, Брюсова, Волошина. Читал он и свои гимназические стихи, в которых воспевался какой-то демонический образ. Однажды я спросила его:

— А кто же героиня этих стихов?

Он ответил:

— Одна гимназистка, с которой я до сих пор дружен. Она тоже пишет стихи...

Стихи он читал медленно, членораздельно, но без всякого пафоса и слегка певуче.

Николай Степанович позировал мне стоя, терпеливо выдерживая позу и мало отдыхая. Портрет его я сделала поколенным. В одной руке он держит шляпу и пальто, другой поправляет цветок, воткнутый в петлицу. Кисти рук у него были длинные, сухие. Пальцы очень выхоленные, как у женщины» [1].

В 1908 году написано:

Январь — «Основатели» («Ромул и Рем взошли на гору»...), «Манлий» («Манлий сброшен...»), «Моя душа осаждена...», «Камень» («Взгляни, как злобно смотрит камень...»), «Больная Земля» («Меня терзает злой недуг...»), «Я уйду, убегу от тоски...».

Конец января — начало февраля — «Андрогин» («Тебе никогда не устанем молиться...»), «Поэту» («Пусть будет стих твой гибок...»), «Под рукой уверенной поэта...».

Середина февраля — рассказ «Дочери Каина», стихотворение «На пиру» («Влюбленный принц Диего задремал...»).

Начало марта — «Одержимый» («Луна плывет, как круглый щит...»).

Середина марта — «Анна Комнена» («Тревожный обломок старинных потемок...»).

Начало апреля — «Выбор» («Созидающий башню сорвется...»), «Колокол» («Тяжкий колокол на башне...»), «Завещание» («Очарован соблазнами жизни...»).

Весной написаны рассказы: «Скрипка Страдивариуса», «Принцесса Зара», «Черный Дик» и «Последний придворный поэт».

До середины апреля — заметка «Два салона».

До середины июля — «Варвары» («Когда зарыдала страна...»).

Декабрь — «Месть» («Она колдует тихой ночью...»), «Рощи пальм и дикого алоэ...».

---

[1] Этот портрет находится в Государственной Третьяковской галерее.

До декабря — «В пустыне» («Давно вода в мехах иссякла...»), «Правый путь» («В муках и пытках рождается слово...»).

Середина декабря — закончена повесть «Белый единорог» (рукопись утеряна), стихотворение «Охота» («Князь вынул бич...»).

Напечатано:

Стихотворения: «Старый конквистадор» («Углубясь в неведомые горы...» (Весна, № 5), «Камень» (Весна, № 7), «Волшебная скрипка», «Одержимый» и «Рыцарь с цепью» (Весы, № 6), «Завещание» (Речь, 8 июня, № 136), «Думы» («В мой мозг, мой гордый мозг...» (Весна, № 2), «Маэстро» (Образование, № 7), «Озера» («Я счастье разбил с торжеством святотатца...» (Русская мысль, ноябрь), «Еще один ненужный день...» (Речь, 10 ноября, № 273).

Рассказы: «Радости земной любви» — три новеллы (Весы, № 4), «Черный Дик» (Речь, 15 июня, № 142), «Последний придворный поэт» (Речь, 26 июля, № 178), «Принцесса Зара» и «Золотой рыцарь» (Русская мысль, август), «Лесной дьявол» (Весна, № 11), «Дочери Каина» (Весна, № 3).

Статьи: «М. В. Фармаковский (Письмо из Парижа)» (В мире искусств. Киев, № 22—23), «Два салона (Письмо из Парижа)» (Весы, № 5), «О Верхарне» — по поводу издания на рус. яз. его драмы «Монастырь» (Речь, 24 ноября, № 287).

Рецензии: «М. Кузмин. Сети. М., 1908» (Речь, 22 мая, № 121); «В. Брюсов. Пути и перепутья. Т. 2-й. Скорпион. М., 1908» (Речь, 29 мая, № 127); «С. Штейн. Славянские поэты. СПб., 1908» (Речь, 19 июня, № 145); «А. Ремизов. Часы. К-во «Edo». СПб., 1908» (Речь, 7 августа, № 187); «Юрий Верховский. Разные стихотворения. Изд. «Скорпион», 1908» (Речь, 29 декабря, № 320); «Ф. Сологуб. Пламенный круг. Изд. «Золотое Руно», 1908» (Речь, 18 сентября, № 223); «К. Бальмонт. Только любовь» (Весна, № 10).

Вышел сборник стихов «Романтические цветы» (Париж, 1908).

О Гумилеве:

Рецензия Л. Фортунатова на «Романтические цветы» (Образование. СПб., VII); рецензия В. Гофмана на «Романтические цветы» (Русская мысль, СПб., VII); рецензия В. Брюсова на «Романтические цветы» (Речь, 15 декабря); рецензия Кошерина на «Романтические цветы» (Русское богатство?); статья М. Волошина (газ. Русь?); П. П. (Новая Русь, 1 сентября, № 4), С. Городецкого (Утро. Понедельник, 29 сентября, № 18).

1909

Багряный ток из виноградин сердца...

«Так называемые «среды» Вяч. Иванова — характерное явление русского ренессанса начала века, — пишет Н. А. Бердяев в своей философской автобиографии «Самопознание», — на «башне» В. Иванова... каждую среду собирались все наиболее одаренные и примечательные люди той эпохи, поэты, философы, ученые, художники, актеры, иногда и политики... Вячеслав Иванов — один

из самых замечательных людей той богатой талантами эпохи. Было что-то неожиданное в том, что человек такой необыкновенной утонченности, такой универсальной культуры народился в России. Русский XIX век не знал таких людей. Вполне русский по крови, происходивший из самого коренного нашего духовного сословия, постоянно строивший русские идеологии, временами близкие к славянофильству и националистические, он был человек западной культуры... В. Иванов — лучший русский эллинист. Он — человек универсальный: поэт, ученый, филолог, специалист по греческой религии, мыслитель, теолог и теософ, публицист, вмешивающийся в политику... В. Иванов был незаменимым учителем поэзии. Он был необыкновенно внимателен к начинающим поэтам. Он вообще много возился с людьми, уделял им много внимания. Дар дружбы у него был связан с деспотизмом, с жаждой обладанья душами... Но в конце концов люди от него уходили. Его отношение к людям было деспотическое, иногда даже вампирическое, но внимательное, широко доброжелательное...»

Общительный, жаждущий знаний Гумилев сразу же погрузился в атмосферу «башни», сблизился со многими ее обитателями. «Башня» имела очень большое значение в его жизни. Уже позднее, после революции, Гумилев говорил, что культурная жизнь Петербурга накануне войны была настолько высока, что просвещенная Европа казалась ему провинцией.

В начале 1909 года Гумилев познакомился с шахматистом и литератором Е. А. Зноско-Боровским, поэтами П. П. Потемкиным, Г. И. Чулковым, В. А. Пястом. Все они и еще Ал. Н. Толстой, А. М. Ремизов, В. Э. Мейерхольд, И. Ф. Анненский, а позже и М. А. Кузмин стали бывать у него.

Несколько раз Гумилев писал Брюсову, что хочет с ним повидаться, но Брюсов уклонялся от встреч под разными предлогами. Он не мог принять сближения Гумилева с Вячеславом Ивановым. Предупреждал его об этой «опасности» задолго...

Из письма Брюсову. Царское Село. 26.02.1909. «Дорогой Валерий Яковлевич, я не писал Вам целую веч-

ность и две вечности не получаю от Вас писем. Что послужило причиной последнего, не знаю, и никакой вины за собой не чувствую.

Я три раза виделся с «царицей Савской» (так Вы назвали однажды Вячеслава Ивановича), но в дионисианскую ересь не совратился. Ни на каких редакционных или иных собраниях, относительно которых Вы меня предостерегали, не бывал...

...Еще раз прошу Вас: не признавайте меня совершеннолетним и не отказывайтесь помогать мне советами. Всякое Ваше письмо с указаниями относительно моего творчества для меня целое событие. Вячеслав Иванович вчера сказал мне много нового и интересного, но учитель мой Вы, и мне не надо другого...»

Гумилев вместе с Толстым и Потемкиным организовал издание ежемесячника «Остров». Редакция, находившаяся сначала на Глазовой улице (ныне ул. Константина Заслонова), 15, в квартире Толстого, переехала на квартиру Гумилева. Гумилев взялся за дело энергично и весело, и в скором времени вышел первый номер журнала со стихами М. А. Волошина, В. И. Иванова, М. А. Кузмина, П. П. Потемкина, Ал. Н. Толстого и Н. С. Гумилева.

В мае был напечатан, но не выкуплен из типографии «Остров» № 2. Подписчикам были возвращены деньги.

Из письма Брюсову. Царское Село. Февраль 1909. «...На этих днях я посылаю Вам первый номер «Острова». В нем есть два мои последние стихотворения, образчики того, что я усвоил в области хорея и ямба. Мне очень важно было бы узнать, как вы отнесетесь к ним. Вы, наверное, уже слышали о лекциях, которые Вячеслав Иванович читает нескольким молодым поэтам, в том числе и мне. И мне кажется, что только теперь я начинаю понимать, что такое стих. Но, с другой стороны, меня все-таки пугает чрезмерная моя работа над формой. Может быть, она идет в ущерб моей мысли и чувства. Тем более что они упорно игнорируются всеми, кроме Вас».

В начале 1909 года Гумилев познакомился с поэтом и искусствоведом Сергеем Константиновичем Маков-

ским, сыном художника-передвижника, и согласился помогать ему в создании нового журнала «Аполлон». И хотя первое время он не занимал официального положения в редакции, тем не менее с энтузиазмом обсуждал планы издания, организовывал собрания, во всем способствуя основателю журнала.

Редакция журнала разместилась на Мойке, 24, в старинном особняке, неподалеку от последней квартиры Пушкина.

Вспоминает С. Маковский: «Я познакомился с Гумилевым 1 января 1909 года на вернисаже петербургской выставки «Салон 1909 года». Гумилев вернулся перед тем из Парижа — он поступил в Петербургский университет на романо-германское отделение филологического факультета. Он был в форме: в длинном студенческом сюртуке «в талию», с высоким темносиним воротником. Подтянутый, тщательно причесанный, с пробором, совсем не отвечал он обычному еще тогда типу длинноволосого «студиозуса». Он был нарядно независимым в движениях, в манере подавать руку. С Гумилевым сразу разговорились мы о поэзии и о проекте нового литературного кружка. Гумилев стал ежедневно заходить ко мне и нравился мне все больше и больше. Нравилась мне его спокойная горделивость, нежелание откровенничать с первым встречным, чувство достоинства. Мне нравилась его независимость и самоуверенное мужество. Чувствовалась сквозь гумилевскую гордыню необыкновенная его интуиция, быстрота, с какой он схватывал чужую мысль, новое для него разумение, все равно — будь то стилистическая тонкость или научное открытие, о котором он прежде ничего не знал, — тотчас усвоит и обратит в видение упрощенно-яркое и подыщет к нему слова, бьющие в цель без обиняков».

В дневниках Лукницкого мы находим упоминания об авторах этого выдающегося журнала.

Из дневника Лукницкого

29.01.1926

О Зноско (секретаре редакции. — *В. Л.*) АА говорит, что он — в своем роде замечательный человек, рас-

сказывает о том, как он был на японской войне и вернулся с Георгиевским крестом, о том, какой он шахматист, о его произведениях — он был писателем...

«Маленький, розовенький, курносенький... Николай Степанович любил его...» — задумчиво вспоминая, сказала АА.

О Потемкине говорила, что он был громадного роста, силач, борец, пьяница, и когда напивался — дебоширил вроде покойного Есенина. Поэтому за ним всегда присматривали приятели и не давали ему пьянствовать.

В. Щеголева (жена пушкиниста П. Е. Щеголева, подруга Ахматовой. — *В. Л.*) рассказывала, что Потемкин был влюблен в АА. АА говорит, что никогда этого не знала, потому что Потемкин не высказывал этого (да и Щеголева вспоминает, что Потемкин, говоря ей о своей влюбленности в АА, добавлял, что она никогда об этом не узнает). АА помнит, что действительно Потемкин, бывало, подсаживался к ней в «Бродячей собаке» и говорил какие-то «многозначительные и непонятные» вещи...

Ауслендер был очень молод, красив, тип такого «скрипача» с длинными ресницами — бледный и немного томный... Ауслендер не изменился и посейчас.

«Зноско, Потемкин, Маковский — сейчас в Париже. Если б их спросить о Николае Степановиче, они бы рассказали охотно и просто — они не то что позднейшие — Г. Иванов, Оцуп (не Адамович — он все-таки другой человек!) — эти с ложью».

Вспоминает В. Пяст: «Приехав, он (Гумилев. — *В. Л.*) сделал визиты тем из петербургских поэтов, которых считал более близкими себе по творческим устремлениям. В числе их был П. Потемкин, тогда уже собиравшийся издавать сборник своих стихов и дебютировавший в отдельном издании перевода «Танца мертвых» Франка Ведекинда. Потемкин прожил в детстве некоторое время в Риге и считал себя связанным с немецким языком и культурой. Не бросая шахмат, он бросил к этому времени естественные науки и в университете стал числиться на том же романо-германском отделении, которое выбрал себе в конце концов и я, на котором был и впервые в ту весну появившийся на горизонте О. Мандельштам и Н. Гумилев. Все, кроме Потемкина-германиста, были романистами...»

С весны Гумилев стал чаще встречаться и с А. Божеряновым, и с К. Сомовым, и с Ю. Верховским, и с А. Ремизовым, и с М. Волошиным. А когда 3 апреля в доме у Гумилева собрались его литературные приятели — он пригласил И. Ф. Анненского письмом:

«Многоуважаемый Иннокентий Федорович!

Не согласитесь ли Вы посетить сегодня импровизированный литературный вечер, который устраивается у меня. Будет много писателей, и все они очень хотят познакомиться с Вами. И Вы сами можете догадаться об удовольствии, которое Вы доставите мне Вашим посещением. Все соберутся очень рано, потому что в 12 час. надо ехать на вокзал всем петербуржцам. Искренне преданный Вам *Н. Гумилев.* Бульварная, дом Георгиевского».

В 1931 году в парижском журнале «Числа» (книга 4) была напечатана миниатюра за подписью Г. А. — поэт и критик Георгий Адамович представляет нам атмосферу одного из подобных вечеров, происходивших в доме у Анненского:

«В Царское Село мы приехали с одним из поздних поездов. Падал и таял снег, все было черное и белое. Как всегда, в первую минуту удивила тишина и показался особенно чистым сырой, сладковатый воздух. Извозчик не торопился. Город уже наполовину спал, и таинственнее, чем днем, была близость дворца: недоброе, неблагополучное что-то происходило в нем — или еще только готовилось, и город не обманывался, оберегая пока было можно свои предчувствия от остальной беспечной России. Царскоселы все были чуть-чуть посвященные и как будто связаны круговой порукой.

Кабинет Анненского находился рядом с передней. Ни один голос не долетал до нас, пока мы снимали пальто, приглаживали волосы, медлили войти. Казалось, Анненский у себя один. Гости, которых он ждал в этот вечер, и Гумилев, который должен был поэту нас представить, по-видимому, еще не пришли.

Дверь открылась. Все уже были в сборе, но молчание продолжалось. Гумилев оглянулся и встал нам навстречу. Анненский с какой-то привычной механической и опустошенной любезностью, приветливо и небрежно, явно отсутствуя и высокомерно позволяя себе роскошь не считаться с появлением новых людей, —

или понимая, что именно этим он сразу выдаст им «диплом равенства», — протянул нам руку.

Он был уже не молод. Что запоминается в человеке? Чаще всего глаза или голос. Мне запомнились гладкие, тускло сиявшие в свете низкой лампы волосы. Анненский стоял в глубине комнаты, за столом, наклонив голову. Было жарко натоплено, пахло лилиями и пылью.

Как я потом узнал, молчание было вызвано тем, что Анненский прочел только что свои новые стихи: «День был ранний и молочно-парный, — Скоро в путь...»

Гости считали, что надо что-то сказать, и не находили нужных слов. Кроме того, каждый сознавал, что лучше хотя бы для виду задуматься на несколько минут и замечания свои сделать не сразу: им больше будет весу. С дивана в полутьме уже кто-то поднимался, уже повисал в воздухе какой-то витиеватый комплимент, уже благосклонно щурился поэт, давая понять, что ценит, и удивлен, и обезоружен глубиной анализа, — как вдруг Гумилев нетерпеливо перебил:

— Иннокентий Федорович, к кому обращены ваши стихи?

Анненский, все еще отсутствуя, улыбнулся.

— Вы задаете вопрос, на который сами же хотите ответить... Мы вас слушаем.

Гумилев сказал:

— Вы правы. У меня есть своя теория на этот счет. Я спросил вас, кому вы пишете стихи, не зная, думали ли вы об этом... Но мне кажется, вы их пишете самому себе. А еще можно писать стихи другим людям или Богу. Как письмо.

Анненский внимательно посмотрел на него. Он был уже с нами.

— Я никогда об этом не думал.

— Это очень важное различие... Начинается со стиля, а дальше уходит в какие угодно глубины и высоты. Если себе, то в сущности ставишь только условные знаки, иероглифы: сам все разберу и пойму, знаете, будто в записной книжке. Пожалуй, и к Богу то же самое. Не совсем, впрочем. Но если вы обращаетесь к людям, вам хочется, чтобы вас поняли, и тогда многим приходится жертвовать, многим из того, что лично дорого.

— А вы, Николай Степанович, к кому обращаетесь вы в своих стихах?

— К людям, конечно, — быстро ответил Гумилев.

Анненский помолчал.

— Но можно писать стихи и к Богу... по вашей терминологии... с почтительной просьбой вернуть их обратно, они всегда возвращаются, и они волшебнее тогда, чем другие... Как полагаете вы, Анна Андреевна, — вдруг с живостью обернулся он к женщине, сидевшей вдалеке в глубоком кресле и медленно перелистывающей какой-то старинный альбом.

Та вздрогнула, будто испугавшись чего-то. Насмешливая и грустная улыбка была на лице ее. Женщина стала еще бледней, чем прежде, беспомощно подняла брови, поправила широкий шелковый платок, упавший с плеч.

— Не знаю.

Анненский покачал головой.

— Да, да... «есть мудрость в молчании», как говорят. Но лучше ей быть в словах. И она будет.

Разговор оборвался.

— Что же, попросим еще кого-нибудь прочесть нам стихи, — с прежней равнодушной любезностью проговорил поэт».

На «Романтические цветы» Анненский написал романтическую рецензию. Из рецензии:

«В последнее время не принято допытываться о соответствии стихотворного сборника с его названием...

В самом деле, почему одну сестру назвали Ольгой, а другую Ариадной? Романтические цветы — это имя мне нравится, хотя я и не знаю, что, собственно, оно значит. Но несколько тусклое, как символ, оно красиво, как звучность, — и с меня довольно.

Темно-зеленая, чуть тронутая позолотой книжка, скорей даже тетрадка, Н. Гумилева прочитывается быстро. Вы выпиваете ее, как глоток зеленого шартреза.

Зеленая книжка оставила во мне сразу же впечатление чего-то пряного, сладкого, пожалуй даже экзотического, но вместе с тем и такого, что жаль было бы долго и пристально смаковать и разглядывать на свет: дал скользнуть по желобку языка — и как-то невольно тянешься повторить этот сладкий зеленый глоток.

...Зеленая книжка отразила не только искание красоты, но и красоту исканий. Это много. И я рад, что романтические цветы — деланные, потому что поэзия живых... умерла давно. И возродится ли?

Сам Н. Гумилев чутко следит за ритмами своих впечатлений и лиризм умеет подчинять замыслу, а кро-

ме того, и что особенно важно, он любит культуру и не боится буржуазного привкуса красоты».

Гумилев на рецензию ответил письмом: «Многоуважаемый Иннокентий Федорович! Я не буду говорить о той снисходительности и внимательности, с какой Вы отнеслись к моим стихам, я хочу особенно поблагодарить Вас за лестный отзыв об «Озере Чад», моем любимом стихотворении. Из всех людей, которых я знаю, только Вы увидели в нем самую суть, ту иронию, которая составляет сущность романтизма и в значительной степени обусловила название всей книги...»

Стихи, манера жить, смотреть на мир, — все дорого Гумилеву в Анненском. Общение с ним, возможность подолгу разговаривать дают импульс творчеству.

«Творить для Анненского, — говорил Гумилев, — это уходить к обидам других, плакать чужими слезами и кричать чужими устами, чтобы научить свои уста молчанью и свою душу благородству. Но он жаден и лукав, у него пьяные глаза месяца, по выражению Ницше, и он всегда возвращается к своей ране, бередит ее, потому что только благодаря ей он может творить. Так каждый странник должен иметь свою хижину с полустертыми пятнами чьей-то крови в углу, куда он может приходить учиться ужасу и тоске.

...Стих Анненского гибок, в нем все интонации разговорной речи, но нет пения. Синтаксис его так же нервен и богат, как его душа».

Вспоминает Анна Ахматова: «Меж тем как Бальмонт и Брюсов сами завершили ими же начатое (хотя еще долго смущали провинциальных графоманов), дело Анненского ожило со страшной силой в следующем поколении. И если бы он так рано не умер, мог бы видеть свои ливни, хлещущие на страницах книг Б. Пастернака, свое полузаумное: «Деду Лиду ладили...» у Хлебникова, своего раёшника (шарики) у Маяковского и т. д. Я не хочу сказать этим, что все подражали ему. Но он шел одновременно по стольким дорогам! Он нес в себе столько нового, что все новаторы оказывались ему сродни... С Пастернаком я говорила осенью 1935 года... Б. Л. со свойственным ему красноречием ухватился за эту тему и категорически

утверждал, что Анненский сыграл большую роль в его творчестве... С Осипом я говорила об Анненском несколько раз. И он говорил об Анненском с неизменным пиететом. Знала ли Анненского М. Цветаева, не знаю».

Осип Мандельштам: «Вера Анненского в могущество слова безгранична. Особенно замечательно его умение передавать словами все оттенки цветного спектра».

Из дневника Лукницкого

10.12.1925

АА говорила о том, что в 1909 году взаимоотношения Гумилева и Анненского, несомненно, вызывали влияние как одного на другого, так и другого на первого. Так теперь уже установлено, что в литературные круги, в «Аполлон», вообще в литераторскую деятельность втянул Анненского Гумилев, что знакомству Анненского с новой поэзией сильно способствовал Гумилев. Известно было и раньше, что Анненского «открыл» для Потемкина, Кузмина, Ауслендера, Маковского, Волошина и т. д. — Гумилев. Об этом пишут в своих воспоминаниях и Ауслендер, и Волошин (даже враждебный Гумилеву Волошин!) и другие...

20.01.1926

АА показывала мне сегодня всю работу о взаимоотношениях Анненского и Гумилева и о влиянии Анненского на Гумилева. Работа — в виде подробнейшего плана — сделана превосходно, ни одна мелочь, ни одна деталь не ушла от внимания АА.

АА: «О влиянии «Фамиры» на «Гондлу», я могу образно это так выразить: для постройки «Гондлы» взято несколько серых камней. А вся «Гондла» — из белых камней. И вот, среди белых виднеется несколько серых. Не больше. Потому что, — и АА объяснила, — что все остальное различно».

Он очень поздно начал, Анненский, и АА не жалеет, что неизвестны его ранние стихи, — есть данные предполагать, что они были очень плохими. Об отношении АА к Анненскому, о том, как она его любит, чтит, ценит, — говорить не приходится. И однако АА

его не переоценивает. Она знает, что у него часто бывали провалы, рядом с прекрасными вещами.

Еще в начале года у Гумилева возникла мысль об учреждении школы для изучения формальных сторон стиха. Он заинтересовал идеей Толстого и Потемкина, потом они все вместе обратились к Вяч. Иванову, М. Волошину и Анненскому, профессору Федору Федоровичу Зелинскому с просьбой прочесть курс лекций по теории стихосложения. Все согласились, и родилось «Общество ревнителей художественного слова», иначе — «Академия стиха».

Первоначально было решено, что лекции будут читаться всеми основоположниками «Академии». Но собрания проходили регулярно раз в две недели на «башне», и в результате лектором оказался один Вяч. Иванов. После лекции обычно читались и разбирались стихи.

Брюсову Гумилев пишет о лекциях Вяч. Иванова: «...мне кажется, только теперь я начал понимать, что такое стихи...»

Свою мысль Гумилев заканчивает в рецензии:

«Как же должно относиться к Вячеславу Иванову? Конечно, крупная самобытная индивидуальность дороже всего. Но идти за ним другим, не обладающим его данными, значит пускаться в рискованную, пожалуй, даже гибельную авантюру. Он нам дорог, как показатель одной из крайностей, находящихся в славянской душе. Но, защищая целостность русской идеи, мы должны, любя эту крайность, упорно говорить ей «нет» и помнить, что не случайно сердце России — простая Москва, а не великолепный Самарканд».

Собрания «Академии стиха» весною 1909 года посещали: М. Кузмин, В. Пяст, Ю. Верховский, Ал. Толстой, М. Замятнина, Е. Дмитриева...

Сначала Гумилев тоже был постоянным участником собраний на «башне», но к весне состав участников заметно изменился, и он стал посещать «Академию» реже. На лето заседания были вообще прерваны.

В мае 1909 года Гумилев пишет Брюсову, что в конце мая он будет проездом в Москве и хотел бы увидеться и подробно поговорить. В письмо вложил свой новый сонет.

СУДНЫЙ ДЕНЬ

В. И. Иванову

Раскроется серебряная книга,
Пылающая магия полудней,
И станет храмом брошенная рига,
Где, нищий, я дремал во мраке будней.

Священных схим озлобленный расстрига,
Я принял мир и горестный и трудный,
Но тяжкая на грудь легла верига,
Я вижу свет... То день подходит Судный.

Не смирну, не бдолах, не кость слоновью,
Я приношу зловещему пророку
Багряный ток из виноградин сердца.

И он во мне поймет единоверца,
Залитого, как он, во славу Року
Блаженно расточаемою кровью.

Сонет в «Весах» не появился. Может быть, по той причине, что журналу нужно было успеть напечатать уже принятые произведения, а может быть, мэтр не принял посвящения Вячеславу Иванову. Брюсов ведь предупреждал Гумилева об опасности его влияния. Он ревновал к Иванову.

На те же рифмы, но чуть их уточнив, 17 августа 1909 года Вячеслав Иванов написал ответный сонет:

Не верь, поэт, что гимнам учит книга:
Их боги ткут из золота полудней.
Мы — нива; время — жнец; потомство — рига.
Потомкам — цеп трудолюбивых будней.

Коль светлых Муз ты жрец и не расстрига
(Пусть жизнь мрачней, година многотрудней),—
Твой умный долг — веселье, не верига.
Молва возропщет: Слава — правосудней.

Оставим, друг, задумчивость слоновью
Мыслителям и львиный гнев — пророку:
Песнь согласит с биеньем сладким сердца!

В поэте мы найдем единоверца,
Какому б век повинен не был року,—
И Розу напитаем нашей кровью.

Началось веселое сонетное буримэ. В мае того же 1909 года Гумилев, тогда еще друживший с Волошиным, ответил на письмо Максимилиана Александровича: «Вы меня очень обрадовали и письмом, и сонетом, и вызовом. На последний я Вам отвечаю в этом письме через два часа после его получения. Я написал еще со-

нет-посвящение Вячеславу Ивановичу, и он пишет мне ответ. Если хотите поспорить с более достойным Вас противником, я прилагаю Вам мои рифмы: книга — полудней — риге — будней — расстрига — трудный — верига — судный — слоновью — пророку — сердце — единоверца — року — кровью. Как видите, рифмы не вполне точны. Это ваш развращающий пример».

Вызов на заданные рифмы Волошин, очевидно, не принял, но на свой сонет получил ответ Гумилева.

СОНЕТ ВОЛОШИНА

Гряды холмов отусклил марный иней.
Громады туч по сводам синих дней
Ввысь громоздят (все выше, все тесней)
Клубы свинца, седые крылья пиний,

Столбы снегов и гроздьями глициний
Свисают вниз... Зной глуше и тусклей.
А по степям несется бег коней,
Как темный лёт разгневанных эриний.

И сбросил гнев тяжелый гром с плеча,
И, ярость вод на долы расточа,
Отходит прочь. Равнины медно-буры.

В морях зари чернеет кровь богов.
И длинные встают меж облаков
Сыны огня и сумрака — ассуры.

СОНЕТ ГУМИЛЕВА

Нежданно пал на наши рощи иней,
Он не сходил так много-много дней,
И полз туман, и делались тесней
От сорных трав просветы пальм и пиний.

Гортани жег пахучий яд глициний,
И стыла кровь, и взор глядел тусклей,
Когда у стен раздался храп коней,
Блеснула сталь, пронесся крик эриний.

Звериный плащ полуспустив с плеча,
Запасы стрел еще не расточа,
Как груды скал, задумчивы и буры,

Они пришли, губители богов,
Соперники летучих облаков,
Неистовые воины Ассуры.

Этой же весной Гумилев познакомился с О. Э. Мандельштамом.

Из дневника Лукницкого

12.04.1925

Осип Мандельштам сказал мне, что познакомился с Николаем Степановичем весной 1909 года на квартире у Волошина, куда Гумилев приезжал в тот раз.

Осип Эмильевич: «Встречались не особенно часто. В 10 году я уезжал за границу, меня не было почти. Частые встречи пошли с 12 года. 12 год был вообще подъем, оживление было».

АА о Мандельштаме: «Это был человек с душой бродяги в самом высоком смысле этого слова, что и доказала его биография. Его вечно тянул к себе юг, море, новые места».

Позднее Гумилев писал о творчестве Мандельштама: «Прежде всего важно отметить полную самостоятельность стихов Мандельштама, редко встречаешь такую полную свободу от каких-нибудь посторонних влияний. Если даже он наталкивается на тему, уже бывшую у другого поэта (что случается редко), он перерабатывает ее до полной неузнаваемости. Его вдохновителями были только русский язык, сложнейшим оборотам которого ему приходилось учиться, и не всегда успешно, да его собственная видящая, слышащая, вечно бессонная Мысль.

Эта мысль напоминает мне пальцы ремингтонистки, так быстро летает она по самым разнообразным образам, самым причудливым ощущениям, выводя увлекательную повесть развивающегося духа».

Из дневника Лукницкого

4.02.1925

Весна 1909 года. Встреча с Е. Дмитриевой, которую Гумилев после Парижа не видел. Дмитриева стала бывать на «башне». Роман Гумилева с Дмитриевой. Он дарит ей «Романтические цветы» с надписью и альбом стихов.

Николай Степанович интересуется старыми французскими песнями, но так как недостаточно знает старофранцузский язык, он обращается за содействием к Дмитриевой, которая учится в университете на романо-германском отделении, и она помогает ему.

Вспоминает Дмитриева: «Весной уже 1909 года в Петербурге я была в большой компании на какой-то художественной лекции в Академии художеств; был Максимилиан Александрович Волошин, который казался тогда для меня недосягаемым идеалом во всем. Ко мне он был очень мил. На этой лекции меня познакомили с Николаем Степановичем, но мы вспомнили друг друга...

Это был значительный вечер в моей жизни. Мы все поехали ужинать в «Вену», мы много говорили с Николаем Степановичем об Африке, почти в полусловах понимая друг друга, обо львах и крокодилах. Я помню, я тогда сказала очень серьезно, потому что я ведь никогда не улыбалась: «Не надо убивать крокодилов». Николай Степанович отвел в сторону Максимилиана Александровича и спросил: «Она всегда так говорит?» — «Да, всегда», — ответил он.

Гумилев поехал меня провожать, и тут же сразу мы оба с беспощадной ясностью поняли, что это — «встреча» и не нам ей противиться. Это была молодая, звонкая страсть. «Не смущаясь и не кроясь, я смотрю в глаза людей, я нашел себе подругу из породы лебедей», — писал Николай Степанович на альбоме, подаренном мне».

От этой поры остались три сонета. 1 мая 1909 года Дмитриева писала Волошину: «Гумилев прислал мне сонет, и я ответила: посылаю на Ваш суд. Пришлите и Вы мне сонет».

СОНЕТ ГУМИЛЕВА

Тебе бродить по солнечным лугам,
Зеленых трав, смеясь, раздвинуть стены!
Так любят льнуть серебряные пены
К твоим нагим и маленьким ногам.

Весной в лесах звучит веселый гам,
Все чувствуют дыханье перемены,
Больны луной, проносятся гиены,
И пляски змей странны по вечерам.

Как белая восторженная птица,
В груди огонь желанья распаля,
Приходишь ты, и мысль твоя томится:

Ты ждешь любви, как влаги ждут поля,
Ты ждешь греха, как воли кобылица,
Ты страсти ждешь, как осени земля!

СОНЕТ ДМИТРИЕВОЙ

Закрыли путь к нескошенным лугам
Темничные, незыблемые стены;
Не видеть мне морских опалов пены,
Не мять полей моим больным ногам.

За окнами не слышать птичий гам,
Как мелкий дождь, все дни без перемены.
Моя душа израненной гиены
Тоскует по нездешним вечерам.

По вечерам, когда поет Жар-птица,
Сиянием весь воздух распаля,
Когда душа от счастия томится,

Когда во мгле сквозь темные поля,
Как дикая степная кобылица,
От радости вздыхает вся земля...

СОНЕТ ВОЛОШИНА
СЕХМЕТ

Влачился день по выжженным лугам.
Струился зной. Хребтов синели стены,
Шли облака, взметая клочья пены
На горный кряж. (Доступный чьим ногам?)

Чей голос с гор звенел сквозь знойный гам
Цикад и ос? Кто мыслил перемены?
Кто с узкой грудью, с профилем гиены,
Лик обращал навстречу вечерам?

Теперь на дол ночная пала птица,
Край запада луною распаля.
И перст путей блуждает и томится...

Чу! В темной мгле (померкнули поля...)
Далеко ржет и долго кобылица,
И трепетом ответствует земля.

Из дневника Лукницкого

4.02.1925

Середина мая 1909. Предполагалось в конце мая уехать в Крым, проездом быть в Москве у Брюсова.

Решено ехать в Коктебель к Волошину. Способствовала этому главным образом Дмитриева...

22 мая 1909 года Дмитриева писала: «Дорогой Макс, уже взяты билеты, и вот как все будет: 25 мая, в понедельник, мы с Гумилевым едем...»

«Все путешествие туда, — вспоминает она потом, — я помню, как дымно-розовый закат, и мы вместе у окна вагона. Я звала его «Гумми», не любила имени «Николай», а он меня, как зовут дома, «Лиля» — «имя похоже на серебристый колокольчик», как говорил он...»

Из дневника Лукницкого

5.04.1926. Ш. Д.

АА: «Он (Гумилев. — *В. Л.*) не замечал, что Дмитриева хромает... До тех пор, пока кто-то ему не сказал об этом...»

26 мая. Вместе с Дмитриевой Гумилев остановился на один день в Москве (гостиница «Славянский базар», № 100, — на Никольской улице).

Виделись с Брюсовым. Николай Степанович вместе с Дмитриевой и Брюсовым были в кафе. Был разговор о сонетах. Брюсов хвалил сонеты Бутурлина. Николай Степанович после этого купил книжечку стихотворений Бутурлина[1] и подарил Дмитриевой с надписью: «Лиле, по приказанию Брюсова»...

Примерно 30—31 мая Гумилев и Дмитриева приехали в Коктебель. Весь июнь — в Коктебеле у М. А. Волошина. У него гостят также Ал. Толстой с женой — С. И. Дымшиц-Толстой, М. К. Грюнвальд (поэтесса. — *В. Л.*), ненадолго приезжал Богаевский.

Николай Степанович большую часть времени проводит или один, или с Дмитриевой. Месяц отдыха — купания, прогулки в горы, в болгарскую деревню, где пили турецкий кофе, катание на лодках, литературные беседы.

Гумилев с Дмитриевой много говорили о Виньи, которого Гумилев читал в это время (влияние Виньи сказалось на «Капитанах»). Вместе с Дмитриевой читал Бодлера. Говорил с ней о Вячеславе Иванове, о Брюсове...

Вечерами все собирались в мастерской Волошина. Тут бывали литературные беседы, чтения стихов, стихотворные шутки, конкурсы...

Гумилев много работает: написано стихотворение «Капитаны», «И Апостол Петр в дырявом рубище». Гумилев начал писать поэму, но бросил...

В Коктебеле ясно обозначилась антипатия Гумилева к Волошину — и как к поэту, и как к человеку...

[1] Очевидно, речь идет о книжке «Стихотворения графа Петра Дмитриевича Бутурлина». Киев, 1897.

В первых числах июля Гумилев уехал в Одессу, чтобы повидаться с Анной Горенко. Она в это время жила под Одессой, в Люстдорфе. Провел там несколько дней, уговаривал ее поехать с ним осенью в Африку. Через несколько дней возвращается в Царское Село.

В конце лета на Мойке, 24, кв. 6, была наконец оборудована редакция журнала «Аполлон».

А в августе произошли таинственные и удивительные события.

Вспоминает С. Маковский: «Лето и осень 1909 года я оставался в Петербурге — совсем одолели хлопоты по выпуску первой книжки «Аполлона».

В одно августовское утро пришло письмо, подписанное буквой «Ч», от неизвестной поэтессы, предлагавшей «Аполлону» стихи — приложено их было несколько на выбор. Стихи меня заинтересовали не столько рифмой, мало отличавшей их от того романтико-символического рифмотворчества, которое было в моде тогда, сколько автобиографическими полупризнаниями:

И я умру в степях чужбины,
Не разомкну проклятый круг,
К чему так нежны кисти рук,
Так тонко имя Черубины?

Поэтесса как бы невольно проговаривалась о себе, о своей пленительной внешности и о своей участи, загадочной и печальной. Впечатление заострялось и почерком, на редкость изящным, и запахом пряных духов, и засушенными травами «богородицыных слезок», которыми были переложены траурные листки. Адреса для ответа не было, но вскоре сама поэтесса позвонила по телефону. Голос у нее оказался удивительным: никогда, кажется, не слышал я более обвораживающего голоса. Не менее привлекательна была и вся немного картавая, затушеванная речь: так разговаривают женщины очень кокетливые, привыкшие нравиться, уверенные в своей неотразимости.

Я обещал прочесть стихи и дать ответ после того, как посоветуюсь с членами редакции — к ним принадлежали в первую очередь И. Анненский, В. Иванов, М. Волошин, Н. Гумилев, М. Кузмин.

Промелькнуло несколько дней — опять письмо: та же траурная почтовая бумага и новые стихи, переложенные

на этот раз другой травкой, не то диким овсом, не то метелкой. Вторая пачка стихов показалась мне еще любопытнее, и на них я обратил внимание моих друзей по журналу. Хвалили все хором, сразу решено было: печатать. Еще после нескольких писем и телефонных бесед с таинственной Черубиной выяснилось: у нее рыжеватые, бронзовые кудри, цвет лица совсем бледный, ни кровинки, но ярко очерченные губы со слегка опущенными углами и походка чуть прихрамывающая, как полагается колдуньям. После долгих усилий мне удалось все-таки кое-что выпытать: она испанка родом, к тому же ревностная католичка, ей всего осьмнадцать лет, воспитывалась в монастыре...

Червленый щит в моем гербе,
И знака нет на светлом поле,
Но вверен он моей судьбе,
Последней в роде дерзких волей.

Наши беседы стали ежедневными. Влюбились в нее все «аполлоновцы» поголовно, никто не сомневался в том, что она несказанно прекрасна, и положительно требовали от меня, чтобы я непременно «разыскал» обольстительную незнакомку. Не надо забывать, что от запавших в сердце стихов Блока, обращенных к «Прекрасной даме», отделяло Черубину всего каких-нибудь три-четыре года: время было насквозь провеяно романтикой. Убежденный в своей непобедимости Гумилев уже предчувствовал день, когда он покорит бронзовокудрую колдунью; Вячеслав Иванов восторгался ее искушенностью в «мистическом эросе». Но всех нетерпеливее «переживал» обычно такой сдержанный К. Сомов. Ему нравилась «до бессонницы» воображаемая внешность удивительной девушки. «Скажите ей, — настаивал Сомов, — что я готов с повязкой на глазах ездить к ней на Острова в карете, чтобы писать ее портрет, дав ей честное слово не злоупотреблять доверием, не узнавать, кто она и где живет».

Черубина отклонила и это предложение, а спустя недолгое время вдруг известила письмом о своем отъезде за границу месяца на два по требованию врачей. Затем позвонила другая незнакомка, назвавшая себя двоюродной сестрой Черубины, обещала изредка давать о ней вести. Кстати, кузина патетически рассказывала о внезапной болезни Черубины. Бедняжка молилась всю ночь исступленно, утром нашли ее перед распятием без чувств, на полу спальни.

Она уехала, а я убедился окончательно, что давно уже увлекаюсь Черубиной вовсе не как поэтессой — я убедился, что все чаще и чаще и взволнованнее мечтаю о ее дружбе, о близости с ней, о звучащей в ее речах и письмах печальной ласке.

Тем временем в передовых литературных кружках стали ходить о загадочной Черубине всякие слухи. Среди сотрудников «Аполлона» начались даже раздоры. Одни были за нее, другие — против нее. Особенно издевалась над ней и ее мистическими стихами поэтесса Елизавета Дмитриева, у которой часто собирались к вечернему чаю писатели из «Аполлона». Она сочиняла очень меткие пародии на Черубину и этими проказами пера выводила из себя поклонников Черубины.

Черубина вернулась раньше, чем все мы ждали, — вскоре после выхода в свет первой книжки «Аполлона» и разразившейся тогда же «семейной драмы» в редакции журнала. Я разумею дуэль М. Волошина и Н. Гумилева.

Вот чему лично я был свидетелем. Ближайшие сотрудники «Аполлона» часто навещали в те дни А. Головина в его декоративной мастерской на самой вышке Мариинского театра. Головин собирался писать большой портрет «аполлоновцев»: человек десять — двенадцать писателей и художников. Между ними, конечно, должны были фигурировать Гумилев и Волошин.

Хозяин мастерской куда-то вышел, а гости разбрелись по комнате, где ковром лежали на полу очередные декорации, помнится — к «Орфею» Глюка. Я прогуливался с Волошиным, Гумилев шел впереди нас, с кем-то из писателей. Волошин казался взволнованным. Вдруг, поравнявшись с Гумилевым, не произнося ни слова, он размахнулся и изо всей силы ударил его по лицу могучей своей ладонью. Сразу побагровела щека Гумилева и глаз припух. Он бросился было на обидчика с кулаками. Но его оттащили — не допускать же рукопашной между хилым Николаем Степановичем и таким силачом, как Волошин. Вызов на поединок произошел сразу же...»

Имя Черубины де Габриак было выдумано Волошиным. Он изобрел эту мистификацию для благоговевшей перед ним Е. И. Дмитриевой. Он убедил ее вообразить себя другой — красивой, желанной, неотразимо пленительной...

Из дневника Лукницкого

4.11.1925

В $5^1/_2$ дня звонил АА, но ее не было в ШД, а в 7 — АА мне сама позвонила. В 9 часов пошел к АА, принес ей воспоминания Черубины де Габриак и черновик стихотворения «И совсем не в мире мы, а где-то...», который я достал сегодня у Арбениной [1]...

...Пошли по Симеоновскому мосту, по Фонтанке свернули налево и дошли до Шереметевского дома. Всю дорогу АА говорила о Дмитриевой, о Волошине, о Львовой, о Тумповской [2] — обо всей этой теософской компании...

АА очень неблагожелательно отзывалась о теософии и всех ее адептах (кроме Тумповской, к которой АА с симпатией относится. Но АА не оправдывала нисколько теософских увлечений Тумповской). Разговор велся с целью показать, как эта компания «через теософию» хочет всячески оправдать Волошина и Дмитриеву (они сами оправдываются, конечно, в первую очередь) в истории с дуэлью.

В 1925 году в беседе с Лукницким Е. Дмитриева прочла на память всего четыре строки из поэмы, посвященной якобы ей, которую Гумилев начал в маленькой комнатке у моря.

...И, взор наклоняя к равнинам,
Он лгать не хотел предо мной.
— Сеньоры, с одним дворянином
Имели мы спор небольшой.

Летом 1926 года Павел Николаевич Лукницкий отправился на Черноморское побережье не только путешествовать. В письме к Ахматовой от 12.08.1926 пишет, что 9 августа он приехал в Новороссийск. Остановился у Архипповых.

Можно предположить, что он специально ехал к Е. Архиппову, потому что в 1925 году, встречаясь с Е. И. Дмитриевой, не смог полностью раскрыть тайну Черубины. А Архиппов, библиофил и собиратель рукописей, — Лукницкий это хорошо знал — владел мате-

[1] О. Н. Арбенина — подруга А. Н. Энгельгардт, второй жены Н. С. Гумилева, актриса.

[2] Поэты орбиты «Аполлона».

риалами. И Архиппов показал ему рукописную книгу, на титульном листе которой Лукницкий прочел:

ЧЕРУБИНА де ГАБРИАК
ИСПОВЕДЬ
Издание Регины де Круа Тазенруфт. 1926 г.

В этом названии подлинны только дата и, с некоторыми оговорками, слово «исповедь». Все остальное — мистификация.

Дмитриева: «Почему я так мучила Николая Степановича? Почему не отпускала его от себя? Это не жадность была, это была тоже любовь. Во мне есть две души, и одна из них, верно, любила одного, другая другого... О, зачем они пришли и ушли в одно время!..

До самой смерти Николая Степановича я не могла читать его стихов, а если брала книгу — плакала весь день. После смерти его стала читать, но до сих пор больно.

Две вещи в мире для меня всегда были самыми святыми: стихи и любовь. И это была плата за боль, причиненную Николаю Степановичу: у меня навсегда были отняты и любовь, и стихи. Остались лишь призраки их».

Прав был Ал. Толстой, называя ее «одной из самых фантастических и печальных фигур в русской литературе».

Начиная с Коктебеля, отношения Гумилева с Дмитриевой и Волошиным окончательно обострились и привели к дуэли, которая состоялась 22 ноября 1909 года.

Дуэль кончилась ничем, в том смысле, что ни один из них не пострадал физически, но ссора осталась, и только в 1921 году они, встретившись на несколько минут в Феодосии, пожали друг другу руки.

Но попробуем восстановить — как же это случилось?

Из дневника Лукницкого

(Короткие записи по рассказам очевидцев)

Октябрь 1909. На одном из заседаний «Академии стиха» в присутствии И. Ф. Анненского, В. И. Иванова, В. А. Пяста, П. П. Потемкина, С. А. Ауслендера,

М. А. Кузмина и др. М. А. Волошин вызывал скандал грубыми выпадами против Гумилева.

Ноябрь 1909. Обострение отношений с Е. И. Дмитриевой и М. А. Волошиным, приведшее к дуэли. Провокация Иоганнеса Гюнтера[1]... Разоблачение Черубины де Габриак.

16—17 ноября. Разрыв отношений с Е. И. Дмитриевой.

18 ноября. Гумилев по телефонному вызову Дмитриевой отправляется к Брюлловой[2]. Объяснения с Дмитриевой. Оттуда вернулся на «башню» и оставался там весь день.

19 ноября. Происшествие в Мариинском театре в мастерской художника Головина. Николай Степанович просит М. А. Кузмина и Е. А. Зноско-Боровского быть его секундантами.

20 ноября. В редакции «Аполлона» обдумывали дуэль.

21 ноября. М. Кузмин и Е. Зноско-Боровский ездили к М. Волошину с официальным уведомлением о дуэли.

Со стороны Волошина секундантами А. Толстой и граф Шервашидзе.

Гумилев весь день был на «башне». Пришли Ауслендер и Гюнтер, но их скоро «спровадили».

Ночью решили не ложиться.

Гумилев спал немного. Встал спокойно.

22 ноября. В таксомоторе Кузмин, Зноско, доктор и Гумилев ехали к месту дуэли.

Дуэль Н. Гумилева и М. Волошина на пистолетах... У М. Волошина две осечки. Н. Гумилев первый раз промахнулся, а второй — отказался стрелять, не желая пользоваться возможностью стрелять в беззащитного противника. Дуэль кончилась ничем. Н. Гумилев крайне раздосадован и огорчен результатами дуэли. С дуэли Н. Гумилев, М. Кузмин, Е. Зноско-Боровский вернулись на «башню». Там не спали.

Весь день Гумилев провел на «башне». Явился Гюнтер, и Вячеслав Иванов разговаривал с ним в таком тоне, что Гюнтеру не придется больше бывать на «башне». (Считалось, что Гюнтер передал Волошину оскорбительные для Дмитриевой слова Гумилева. — *В. Л.*)

---

[1] Иоганнес фон Гюнтер — немецкий писатель, сотрудник «Аполлона», оставивший книгу воспоминаний «Под восточным ветром».

[2] Л. П. Брюллова — художница, поэтесса, внучка К. Брюллова, приятельница Е. И. Дмитриевой.

Гумилев остался у В. И. Иванова ночевать.

Поведение М. Волошина до и после дуэли вызвало возмущение всех окружающих, в числе которых были В. Иванов и И. Анненский. История дуэли сильно повлияла на общее отношение к М. Волошину.

23 ноября в газетах были напечатаны сообщения о дуэли — абсолютно лживые. Каждый из участников дуэли был наказан штрафом по десять рублей.

Из дневника Лукницкого

21.01.1925

В. П. Белкин (художник «Аполлона».— *В. Л.*): «Мои встречи с ним (Гумилевым. — *В. Л.*) были в Петербурге на «башне», даже раньше, в редакции «Аполлона». Про этот период трудно сказать. Он был захвачен разными интересами: личными, журнальными и опять-таки личными — как поэта. Это его всецело поглощало, времени для болтовни, для разговоров у него и не было. Помню визит к В. Иванову, который над ним подшучивал добродушно по поводу его задумчивости, важности. Это потом отразилось в стихотворении В. Иванова «Оставим, друг, задумчивость слоновью».

О событии с Волошиным ничего не помню. Помню только, как А. Толстой, который был секундантом Волошина, сразу после дуэли мне рассказывал, как он ехал в автомобиле с Волошиным к месту дуэли и Волошин всю дорогу приводил примеры — исторические и литературные о дуэлях — в этом сказывалось его волнение.

Сама дуэль происходила так: Волошин поднял пистолет, нажал курок, предполагая выстрелить. Произошла осечка. Кажется, он стрелял вторично, и тоже была осечка. Николай Степанович выстрелил в воздух, а потом один из секундантов взял пистолет Волошина и выстрелил в воздух — выстрел произошел. Значит, осечка была случайной.

После дуэли я встретился с Николаем Степановичем в редакции «Аполлона». Там были Зноско-Боровский, Чудовский[1], кажется, Кузмин, Ауслендер, Маковский. У всех был какой-то удивительно умытый, чистенький вид».

[1] Валериан Адольфович Чудовский — критик и стиховед.

А вот еще один рассказ, услышанный в детстве Николаем Корнеевичем Чуковским:

«Местом дуэли выбрана была, конечно, Черная речка, потому что там дрался Пушкин с Дантесом. Гумилев прибыл к Черной речке с секундантами и врачом в точно назначенное время, прямой и торжественный, как всегда. Но ждать ему пришлось долго. С Максом Волошиным случилась беда — оставив своего извозчика в Новой Деревне и пробираясь к Черной речке пешком, он потерял в глубоком снегу калошу. Без калоши он ни за что не соглашался двигаться дальше и упорно, но безуспешно искал ее вместе со своими секундантами. Гумилев, озябший, уставший ждать, пошел ему навстречу и тоже принял участие в поисках калоши.

Гумилев рассказывал о дуэли насмешливо, снисходительно, с сознанием своего превосходства. Макс — добродушнейше смеясь над собой.

После этого происшествия Саша Черный в одном из своих стихотворений назвал Макса „Ваксом Калошиным“».

Из дневника Лукницкого

12.05.1926

Пришел к АА. Она рассказала о вчерашней встрече у Щеголева с Толстым. Я поехал к А. Н. Толстому... Пил с ним кофе. А. Н. рассказывал медленно, но охотно о Николае Степановиче и о его дуэли с Волошиным. И о подноготной этой дуэли, позорной для Волошина.

Я спросил Толстого, есть ли у него автографы. Он предложил мне перерыть сундук с его архивами — письмами. Пересмотрел подробно все — нашел одно письмо. «Вам вернуть его после снятия копии?» — спросил я. Толстой махнул рукой: «Куда мне оно! Берите». ...Звал меня обедать, обещая за обедом рассказать о Гумилеве — сказал, что записать все придется в несколько приемов...

Весь вечер провел у АА... Очень долго говорили о Гумилеве, об истории его дуэли с Волошиным, и у АА вдруг возник вопрос: откуда печатавшие ругательные статьи о Гумилеве газеты получили сведения? О фразе Гумилева, сказанной по поводу Дмитриевой, знали только Кузмин, Маковский, Толстой и еще очень немногие сторонники Гумилева. С другой стороны, знали о

ней Иоганнес Гюнтер, Волошин и Дмитриева. Кто мог информировать газетных корреспондентов? И во всяком случае, не протокол, потому что протокол в мастерской Головина не был составлен (потому и возможно было газетам местом происшествия назвать ресторан «Вену»). Логика подсказывает ответ на вопрос. АА сказала, что совершенно не понимает, что думал Волошин, когда, опорочив себя всем своим отношением к Гумилеву, в свой приезд сюда в 1924 году два раза приходил к ней с визитом — сразу после приезда и перед самым отъездом... и, казалось бы, скомпрометировав себя до того, что ему пришлось навсегда уехать из Петербурга — его здесь не хотели принимать ни Вячеслав Иванов, ни Анненский, ни другие.

Хорошо, что А. Толстой — свидетель всей этой истории дуэли — жив, и что его можно спросить обо всем. Сегодня Толстой мне подробно рассказал все, и мне очень важно его сообщение.

Из дневника Лукницкого

30.09.1972

Я попросил ее (Марию Степановну, вдову Волошина — *В. Л.*) рассказать мне, что помнит она о той встрече 1921 года...

В ту пору она работала фельдшерицей в деревне, вблизи Феодосии. Максимилиан Волошин — муж ее — жил в эти дни в доме Айвазовского, в Феодосии.

Из деревни пришла в Феодосию, к мужу. Тут им сообщили, что в порт пришел «военный пароход», на котором «приехал» какой-то петербургский поэт, который спрашивал о Волошине.

Волошины поспешили в порт, подоспели к самому отходу парохода.

«Это был не миноносец, это был просто пароход, но военный, скорее всего — транспорт, вероятно превращенный в канонерскую лодку или во вспомогательное судно?» — спросил я.

«Не знаю я их, пароходов, может быть, и канонерка!»

Рассказала, что Волошин сразу узнал Гумилева, который был уже на борту, потому что трап в этот момент убирали. Был он в полувоенном — что-то вроде френча. Волошин, подумав, что «много воды утекло и что Гумилев не откажется теперь пожать ему руку, по-

тому что уж много событий пролегло с того времени», протянул Гумилеву руку и сказал какую-то фразу, вроде: «Прошлое надо теперь забыть, Николай Степанович!» И Гумилев в ответ протянул свою, — и ничего больше не было сказано ими, потому что в ту минуту пароход стал отходить от пристани...

Вот и все о тогдашней — единственной и последней — встрече, что вдова Волошина рассказала мне, — сама она не успела даже поздороваться с Гумилевым, потому что остановилась несколько в отдаленности.

«Вы не знаете, куда ушел тогда пароход? В сторону Батуми или обратно в Севастополь?»

«Этого я не знаю... — Макс был очень доволен, что они обменялись рукопожатиями».

В конце сентября возобновились заседания «Академии стиха», в которых принял участие и И. Ф. Анненский. Теперь заседания проходили в редакции «Аполлона». Первое было посвящено выборам действительных членов и утверждению президиума. В президиум вошли: Вяч. Иванов, Ф. Зелинский, И. Анненский, С. Маковский.

После выборов Анненский прочел доклад о современной поэзии «Они и оне». После доклада читались стихи.

25 октября 1909 года вышел первый номер «Аполлона». К выходу журнала редакция приурочила выставку работ Г. Лукомского. Таким образом, в редакции собрался весь литературный и театральный мир Петербурга. Эти два события были отмечены в ресторане «Pirato». Андрея Белого и В. Я. Брюсова Гумилев пригласил телеграммами.

13 декабря в Царском умер Иннокентий Анненский...

Вспоминает Лидия Чуковская: «Веселая минутка прошла. Анна Андреевна снова сделалась утомленной и грустной.

Рассказала мне историю смерти Анненского: Брюсов отверг его стихи в «Весах», а Маковский решил напечатать в № 1 «Аполлона»; он очень хвалил эти стихи и вообще выдвигал Анненского в противовес сим-

волистам. Анненский всей игры не понимал, но был счастлив... А тут Макс и Дмитриева сочинили Черубину де Габриак, она начала писать Маковскому надушенные письма, представляясь испанкой и пр. Маковский взял да и напечатал в № 1 вместо Анненского — Черубину...

— ...Анненский был ошеломлен и несчастен, — рассказывала Анна Андреевна. — Я видела потом его письмо к Маковскому; там есть такая строка: «Лучше об этом не думать». И одно его страшное стихотворение о тоске помечено тем же месяцем... И через несколько дней он упал и умер на Царскосельском вокзале...».

В сноске Лидия Чуковская поясняет:

«О мистификации, разыгранной Максимилианом Волошиным и Елизаветой Дмитриевой (они сочинили стихи от имени несуществующей поэтессы Черубины де Габриак); о переписке по этому поводу между редактором журнала «Аполлон» Сергеем Маковским и Иннокентием Анненским (чьи стихи Маковский отложил, чтобы срочно напечатать стихи Черубины); о стихотворении Анненского «Моя тоска» — см. публикацию А. В. Лаврова и Р. Д. Тименчика в «Ежегоднике рукописного отдела Пушкинского Дома на 1976 год» (Л., 1978, стр. 240).

Я же приведу из этой публикации лишь начало того письма Анненского, о котором говорит мне Ахматова:

«12 ноября 1909 г.

Дорогой Сергей Константинович!

Я был, конечно, очень огорчен тем, что мои стихи не пойдут в Аполлоне. Из Вашего письма я понял, что на это были серьезные причины. Жаль только, что Вы хотите видеть в моем желании, чтобы стихи были напечатаны именно во 2-м №, — каприз. Не отказываюсь и от этого мотива моих действий и желаний вообще. Но в данном случае были разные другие причины, и мне очень досадно, что печатание расстроилось. Ну да не будем об этом говорить и постараемся не думать...»

В тот же день Анненским было написано и «страшное стихотворение о тоске» — «Моя тоска». Это стихотворение оказалось последним (см. сб. «Кипарисовый ларец», вышедший в 1910 г. в изд-ве «Гриф» уже после смерти И. Анненского).

В публикации А. Лаврова и Р. Тименчика говорится, что в тридцатые годы Ахматова написала целую статью об эпизоде, рассказанном выше; статья называлась — „Последняя трагедия Анненского“».

Осенью 1909 года С. К. Маковский познакомил Гумилева с Надеждой Савельевной Войтинской — молодой художницей. Маковский просил Войтинскую написать для «Аполлона» портрет Гумилева.

Из дневника Лукницкого

27.10.1927

Н. Войтинская: «Я встречалась с ним осенью 1909 г. и весной 1910 г. Я уехала за границу и в Сибирь и вернулась только к весне 1911 г., а осенью 1911 г. он был у нас с Анной Андреевной, потом я была у них в Царском Селе, потом я уж не встречала его никогда.

Я бывала с ним на разных вечерах. На Галерной улице Зноско-Боровский устраивал что-то, шла какая-то его пьеса. Кажется, «Коломбина» или «Смерть Коломбины». Были там Кузмин, Ауслендер...

(АА говорит, что на Галерной улице в 1909—1911 гг. был «Театр интермедии». Шла пьеса «Шарф Коломбины»... Возможно, что Николай Степанович с Войтинской был именно на этой пьесе.)

...Салонный жанр в редакции был от трех до пяти часов. Люди приходили, встречались, развлекались, иногда заходили в кабинет к Маковскому, с ним разговаривали.

Установка (в «Аполлоне». — *В. Л.*) была на французское искусство, и это поручено было Николаю Степановичу — насаждать и теоретически и практически французских лириков, группу «Abbaye» (молодые французские поэты начала века — Ж. Ромен, Вильдрак, Мерсеро и др.).

Днем он позировал один. А по вечерам у нас бывали гости. Приходил он и его приятели: Кузмин, Зноско, Ауслендер.... Маковский у нас не бывал.

На Анненского больших надежд не возлагалось из pietéte'а. Его считали патриархом. Анненскому он поклонялся очень.

Он (Гумилев. — *В. Л.*) не любил болтать, беседовать, все преподносил в виде готовых сентенций, поэтических образов. Дара легкой болтовни у него не было. У него была манера живописать. Он «исчезал» за своими впечатлениями, а не рассказывал. Он прекрасно читал стихи.

Он говорил, что его всегда должна вдохновлять ка-

кая-либо вещь, известным образом обставленная комната и т. п. В этом смысле он был фетишистом. В Царском Селе, под фирулой строгого отца и брата офицера, он вдохновляться не мог. Ему не хватало экзотики. Он создал эту экзотику в Петербурге, сделав себе маленькое ателье на Гороховой улице. Он утверждал, что позировать нужно и для того, чтобы писать стихотворение, и просил меня позировать ему. Я удивлялась: «Как?» Он: «Вы увидите „entourage“». Я пришла в ателье, там была черепаха, разные экзотические шкуры зверей... Он мне придумал какое-то странное одеянье, и я ему позировала, а он писал стихотворение «Сегодня ты придешь ко мне...» (АА: «Стихотворение относится не к Войтинской. Гумилев, конечно, мог читать его Войтинской и говорить, что ей посвятил его. Это, однако, не меняет дела». АА предполагает, что стихи «Сегодня ты придешь ко мне» и «Не медной музыкой фанфар» обращены к Лиде Аренс.)

...Зимой 1909 года он у нас бывал раза два в неделю. В сущности, мы не были дружны, всегда пререкались, но приходил он по инерции. Папа и мама к нему хорошо относились. Когда он бывал на собраниях где-нибудь и было поздно возвращаться в Царское Село, он приходил ночевать, спал у папы в кабинете. Часто я даже не знала, что он пришел, и только утром встречала его. Он был увлечен парнасцами, знал наизусть Леконта де Лиля, Эредиа, Теофиля Готье.

Он благоговейно относился к ремеслу стихосложения... Он поражал всех тем, что придавал больше значения форме и словесным тонкостям. Он был формалистом до формалистов. Он готовился быть мэтром. Он благоговел перед поэзией Вячеслава Иванова гораздо больше, чем перед поэзией Брюсова. В смысле поэзии считал меня варваром. Живописью совершенно не интересовался, французской — немного. Он был изувер, ничем не относящимся к поэзии не интересовался, все — только для поэзии.

Он любил экзотику. Я экзотики не любила, и он находил это непростительным и диким. Он подарил мне живую большую зеленую ящерицу и уверял меня, что она приносит счастье. Чтобы реваншироваться, я подарила ему маленькую безделушку — металлическую ящерицу. Перед дуэлью он говорил мне, что эта безделушка предохранит его от несчастья...

Он проповедовал кодекс средневековой рыцарственности. Было его стихотворение о Даме, и он меня все-

гда называл «Дамой». Ни капли увлечения ни с его, ни с моей стороны, но он инсценировал поклонение и увлечение. Это была чистейшая игра.

Он мужественно переносил насмешки. Он приехал зимой в Териоки. Я смеялась, что он считал недостатком носить калоши. У него было странного покроя, в талию, «а-ля Пушкин», пальто. Цилиндр. У меня подруга гостила. Мы пошли на берег моря. Я бросила что-то на лед... «Вот, рыцарь, достаньте эту штуку». Лед подломился, и он попал в ледяную воду в хороших ботинках.

Он никогда, и я не видела, чтобы он когда-нибудь рассердился. Я его дразнила, изводила. Он умел сохранить торжественный вид, когда над ним смеялись. Никогда не обижался. Он был недоступен насмешке. Приходилось переставать смеяться, так как он серьезно отвечал и спокойно.

Очень сильная мимика рта, глаза полузакрыты, сильно пальцами двигал, у него были длинные выразительные руки.

В его репертуаре громадную роль играло самоубийство: «Вы можете потребовать, чтоб я покончил самоубийством» — была мелочь...

Он должен был не забыть сделать что-нибудь. Я сказала: «А если забудете?» — «Вы можете потребовать, чтобы я покончил с собой».

Было два письма из Африки и «Жемчуга» с надписью. Я ведь ни малейшего значения не придавала знакомству с Николаем Степановичем...».

(АА: «А вы знаете, что он совсем не такой был. Это был период эстетства. Он был совсем простой человек потом...»)

В 1909 году написано:

В апреле — начале мая — стихотворение «Судный день», посвященное Вяч. Иванову.

Не позже апреля — начала мая — стихотворение «Попугай».

В мае — стихотворение «Семирамида».

Июнь — «Капитаны».

Между июлем и ноябрем — стихотворение «Сон Адама».

Напечатано:

Стихотворения: «В пути», «Андрогин», «Варвары» («Когда зарыдала страна...») (альм. «Семнадцать»?); «Царица», «Лесной пожар», «Воин Агамемнона» (Остров, № 1); «Попугай» (Остров, № 2); «Колокол», «На льдах тоскующего полюса...» (Жур. театр. лит. худ. общ., № 5); «Поединок» (Жур. театр. лит. худ. общ., № 6); «Орел», «Возвращение Одиссея» (I—III), «Одиночество», «Колдунья», «Мечты» (Весы, № 6); «Капитаны» (I—IV) (Аполлон, № 1); «Беа-

триче» (четыре стихотворения) (альм. «Италия» изд-ва «Шиповник»); «Выбор» (Жур. театр. лит. худ. общ., № 2); «Воспоминание» (Жур. театр. лит. худ. общ., № 4); «Свиданье» (Жур. театр. лит. худ. общ., № 9); «Товарищ», «Сады Семирамиды», «В библиотеке», «Потомки Каина» (Аполлон, № 3). Статья «По поводу «салона» Маковского» (Жур. театр. лит. худ. общ., № 6).

Новелла «Скрипка Страдивариуса» (Весы, № 7).

Рецензии: «В. Пяст. Ограда. СПб., изд-во Вольф, 1909» (Речь, № 182, 6 июля); «В. Бородаевский. Стихотворения. СПБ, изд-во «Оры». 1909» (Речь, № 259, 21 сентября); «Андрей Белый. Урна. М., «Гриф», 1909» (Речь, № 120); «И. Ф. Анненский. Вторая книга отражений. СПб., 1909» (Речь, № 127). Письма о русской поэзии: первое — «С. Городецкий. Русь. Песни и Думы. М., 1909»; «В. Бородаевский. Стихотворения. СПб., изд-во «Оры». 1909»; «Б. Садовский. Позднее утро. Стихотворения. М., 1909»; «И. Рукавишников. Стихотворения. СПБ., 1909» (Аполлон, № 1). Второе «Альм. «Смерть». СПБ., 1909», «Павел Сухотин. Астры. М., 1909»; «Вл. Пяст. Ограда. СПБ., 1909»; «Сергей Кречетов. Летучий Голландец. М., 1910» (Аполлон, № 2). Третье — «Жур. «Весы», № 9, 1909», «Жур. «Остров», № 2, 1909» (Аполлон, № 3).

В альманахе «Семнадцать» помещена фотография Н. Гумилева; в журнале «Аполлон» (№ 2) — репродукция портрета Гумилева работы Н. Войтинской.

О Гумилеве:

Инн. Анненский. О современном лиризме. (Остров, № 1); М. Кузмин. Рецензия на журнал «Остров», № 2 (Аполлон, № 3); В. Кривич. Заметки о русской беллетристике (Рецензия на новеллу «Скрипка Страдивариуса») (Аполлон, № 1); Д. В. О-е (Д. И. и И. И. Коковцевы). «Остов». Пародийная пьеса в стихах на журнал «Остров» (газ. «Царскосельское дело», октябрь, 1909).

1910

И свет мне блеснул наконец...

Африка не давала покоя — она звала к себе, и он тосковал о ней, как о близком, живом существе. Уговаривал Вяч. Иванова ехать с ним в Абиссинию. Тот согласился, но не поехал.

26 ноября 1909 года Гумилев по приглашению поэта В. Эльснера вместе с Кузминым, Потемкиным и Толстым приехал в Киев, чтобы выступить на литературном вечере «Остров искусств». В зале, где он читал стихи, присутствовала Анна Горенко. После окончания Гумилев пригласил ее в гостиницу «Европейскую» пить кофе. Там он вновь сделал ей предложение и на этот раз удивительно легко получил согласие Анны Андреевны стать его женой.

Окрыленный победой, все три дня, которые Гумилев пробыл в Киеве, он провел с Анной Андреевной. Жили

они с Кузминым у художницы А. А. Экстер, у которой они познакомились с писательницей Ольгой Дмитриевной Форш. У Эльснера Гумилев познакомился с поэтом Бенедиктом Константиновичем Лившицем. Вместе с А. Горенко был с визитом у ее родственницы — художницы Марии Александровны Змунчилло.

30 ноября Толстой, Кузмин и Потемкин проводили Гумилева в Одессу, откуда он пароходом отправлялся в Африку.

Во время путешествия писал письма и открытки из Порт-Саида, Джедды, Каира, Джибути родителям, А. А. Горенко, приятелям по «Аполлону» — Зноско-Боровскому, Ауслендеру, Потемкину, Кузмину. Две открытки Брюсову.

В Одессу приехал 1 декабря. Из Одессы морем: Варна — 3 декабря, Константинополь — 5 декабря, Александрия — 8—9 декабря, Каир — 12 декабря. В пути написал «Письмо о русской поэзии» и отправил его в «Аполлон». Порт-Саид — 16 декабря, Джедда — 19—20 декабря, Джибути — 22—23 декабря. Из Джибути 24 декабря выехал на мулах в Харрар. В дороге охотился на зверей.

Из дневника Лукницкого

(без даты)

АА: «Из Африки в 1910 году привез два бокала из рога носорога, подаренных ему.

Из Аддис-Абебы делал большие экскурсии... Раз заблудился в лесу (ашкеры остановились в палатке, а он отошел от них и потерял дорогу). Остановился на берегу Нигера (?). На противоположном берегу увидел стадо бегемотов — купались. Услыхал выстрелы ашкеров».

Из письма Вяч. Иванову. «Многоуважаемый и дорогой Вячеслав Иванович, до последней минуты я надеялся получить Вашу телеграмму или хоть письмо, но, увы, нет ни того, ни другого. Я прекрасно доехал до Джибути и завтра еду дальше. Постараюсь попасть в Аддис-Абебу, устраивая по дороге эскапады. Здесь уже настоящая Африка. Жара, голые негры, ручные обезьяны. Я совсем утешен и чувствую себя прекрасно. Приветствую отсюда Академию Стиха. Сейчас пойду купаться, благо акулы здесь редки».

Обратный путь из Африки в Россию был таким: из Джибути Гумилев выехал 7 января. В начале февраля заехал на два дня в Киев к Анне Горенко и затем — сразу же в Петербург. 6 февраля 1910 года внезапно умер отец Гумилева. Похоронили его на Кузминском кладбище в Царском.

На масляную неделю в Петербург приехала Анна Горенко. Стали бывать в музеях, на концертах, но в основном Анна Андреевна проводила время у Гумилевых. При этом Николай Степанович успевал посещать заседания «Академии», сочинять стихи, писать статьи, вошедшие в цикл «Писем о русской поэзии», встречаться с литературными друзьями.

Из дневника Лукницкого

2.04.1926

26.02.1910 поехала (А. А. Горенко. — *В. Л.*) в Царское Село к Гумилеву. Случайно оказалась в одном вагоне с Мейерхольдом, Кузминым, Зноско и др. (ехали к Гумилеву), с которыми еще не была знакома. Гумилев встретил их на вокзале, предложил всем ехать прямо к нему, а сам направился на кладбище, на могилу И. Анненского. По возвращении домой познакомил АА со всеми присутствующими (не сказав, однако, что АА — его невеста. Он не был уверен, что свадьба не расстроится). В этот период Гумилев показал ей корректуру «Кипарисового ларца».

АА: «„Все каменные циркули и лиры“ — мне всю жизнь кажется, что Пушкин это про Царское сказал, и еще потрясающее: «в великолепный мрак чужого сада» — самая дерзкая строчка из когда-нибудь прочитанных или услышанных мною».

16 апреля 1910 года в московском издательстве «Скорпион» вышла книга стихов Гумилева «Жемчуга» с посвящением В. Я. Брюсову. А через несколько дней, 25 апреля, в Николаевской церкви села Никольская Слободка, Остерского уезда, Черниговской губернии, произошел обряд венчания Н. С. Гумилева и А. А. Горенко.

Из письма Брюсову. 21.04.1910. «...Пишу Вам, как Вы можете видеть по штемпелю, из Киева, куда я при-

ехал, чтобы жениться. Женюсь я на А. А. Горенко, которой посвящены «Романтические цветы». Свадьба будет, наверное, в воскресенье, и мы тотчас же уезжаем в Париж. К июлю вернемся и будем жить в Царском по моему старому адресу.

«Жемчуга» вышли. Вячеслав Иванов в своей рецензии о них в «Аполлоне», называя меня Вашим оруженосцем, говорит, что этой книгой я заслужил от Вас ритуальный удар меча по плечу, посвящающий меня в рыцари. И дальше пишет, что моя новая деятельность ознаменуется разделением во мне воды и суши, причем эпическая сторона моего творчества станет чистым эпосом, а лиризм — чистой лирикой.

Не знаю, сочтете ли Вы меня достойным посвящения в рыцари, но мне было бы очень важно услышать от Вас несколько напутственных слов, так как «Жемчугами» заканчивается большой цикл моих переживаний и теперь я весь устремлен к иному, новому. Какое будет это новое, мне пока не ясно, но мне кажется, что это не тот путь, по которому меня посылает Вячеслав Иванович. Мне верится, что можно еще многое сделать, не бросая лиро-эпического метода, но только перейдя от тем личных к темам общечеловеческим, пусть стихийным, но под условием всегда чувствовать под своими ногами твердую почву. Но я повторяю, что мне это пока не ясно и жду от Вас какого-нибудь указания, намека, которого я, может быть, сразу не пойму, но который встанет в моем сознании когда нужно. Так бывало не раз, и я знаю, что всем, чего я достиг, я обязан Вам.

Как надпись на Вашем экземпляре «Жемчугов», я взял две строки из Вашего «Дедала и Икара». Продолжая сравнение, я скажу, что исполняю завет Дедала, когда он говорит:

Мой сын, лети за мною следом
И верь в мой зрелый, зоркий ум...

Но я не хочу погибнуть, как Икар, потому что белые Кумы поэзии мне дороже всего.

Простите, что я так самовольно и без всякого на это права навязался к Вам в Икары...»

Вспоминает В. Срезневская: «Аня никогда не писала о любви к Гумилеву, но часто упоминала о его настойчивой привязанности — о неоднократных предложениях брака и своих легкомысленных отказах и равнодушии к этим проектам. В Киеве у нее были род-

ственные связи, кузина, вышедшая позже замуж за Аниного старшего брата Андрея. Она, кажется, не скучала. Николай Степанович приезжал в Киев. И вдруг, в одно прекрасное утро, я получила извещение об их свадьбе. Меня это удивило. Вскоре приехала Аня и сразу пришла ко мне. Как-то мельком сказала о своем браке, и мне показалось, что ничто в ней не изменилось; у нее не было совсем желания, как это часто встречается у новобрачных, поговорить о своей судьбе. Как будто это событие не может иметь значения ни для нее, ни для меня.

Мы много и долго говорили на разные темы. Она читала стихи, гораздо более женские и глубокие, чем раньше. В них я не нашла образа Коли. Как и в последующей лирике, где скупо и мимолетно можно найти намеки о ее муже, в отличие от его лирики, где властно и неотступно, до самых последних дней его жизни, сквозь все его увлечения и разнообразные темы, маячит образ жены. То русалка, то колдунья, то просто женщина, таящая „злое торжество...“».

До конца месяца молодые жили в Киеве, а к 1 мая отправились в свадебное путешествие в Париж. В Париже поселились на rue Buonaparte, 10. Ходили по музеям, посетили средневековое аббатство Клюни, Зоологический сад, сиживали в любимых Гумилевым кафе Латинского квартала, были в ночных кабаре. Встречались с С. Маковским, А. Экстер, Ж. Шюзевилем, А. Мерсеро, Р. Аркосом, Н. Деникером. Нанесли визит французскому критику Танкреду де Визану.

Но самым любимым занятием Гумилева была покупка книг. Ахматова рассказывала, что, когда Николай Степанович жил в Царском, он ей всегда из Петербурга привозил книги. И в Париже он не изменил себе: пропадал у букинистов на берегу Сены, в крошечных магазинчиках Латинского квартала и громадных книжных магазинах на Больших бульварах, на Монпарнасе.

Анна Ахматова: «Прокладка новых бульваров по живому телу Парижа (которую описал Золя) была еще не совсем закончена. Вернер, друг Эдиссона, показал мне в «Taverne de Pantheon» два стола и сказал: «А это ваши социал-демократы, тут — большевики, а там — меньшевики».

Женщины с переменным успехом пытались носить то штаны, то почти пеленали ноги. Стихи были в пол-

ном запустении, и их покупали только из-за виньеток более или менее известных художников. Я уже тогда понимала, что парижская живопись съела французскую поэзию».

Из дневника Лукницкого

7.11.1925

АА: «В Париже, в 1910 году, в кафе просил французских поэтов читать стихи. Они отказались. Николай Степанович очень удивился».

Я просил АА рассказать о пребывании ее с Николаем Степановичем в Париже в 1910 году. АА стала рассказывать подробно — о выставках, о музеях, о знакомых, которых они видели, о книгах, которые Николай Степанович покупал там (целый ящик книг он отправил в Россию — там были все новые французские поэты, был и Маринетти, тогда появившийся на сцене, и другие). Бывал у них Шюзевиль. Николай Степанович бывал у него. АА у Шюзевиля не была ни разу — он служил в какой-то иезуитской коллегии учителем, жил там, и женщинам входить туда считалось неудобным...

Разговор перекинулся на тему о чопорности и торжественности Николая Степановича. АА утверждает, что он совершенно не был таким на самом деле. Говорит, что до замужества она, пожалуй, тоже так думала. Но она была приятно удивлена, когда после замужества увидела действительный облик Николая Степановича — его необычайную простоту, его «детскость» (мое выражение. — *П. Л.*), его любовь к самым непринужденным играм; АА, улыбнувшись, вспомнила такой случай.

Однажды, в 1910 году, в Париже, она увидела бегущую за кем-то толпу и в ней — Николая Степановича. Когда она спросила его, зачем он бежал, он ответил ей: что ему было по пути и так — скорее, поэтому он и побежал вместе с толпой. И АА добавила: «Вы понимаете, что такой образ Николая Степановича, бегущего за толпой ради развлечения, немножко не согласуется с представлением о монокле, о цилиндре и о чопорности, — с тем образом, какой остался в памяти мало знавших его людей...»

О десятом годе АА рассказывала долго и плавно. Сказала, что о двенадцатом годе — о путешествии в Италию — она не могла бы рассказать так плавно. За-

думалась, помолчала, добавила: «Не знаю почему... Должно быть, мы уже не так близки были друг другу... Я, вероятно, дальше от Николая Степановича была...»

Анне Андреевне захотелось вспомнить все, она старалась как бы задержать ожившее чувство... Больная, слабая, встала с постели, открыла ящичек судейкинского бюро и достала томик Шюзевиля — антологию русских поэтов, изданную в Париже на французском языке: книгу, привезенную Николаем Степановичем... Сначала показала, потом и подарила.

Вспоминает С. Маковский: «Осенью 1910 года[1], на обратном моем пути из Парижа в Петербург, случайно оказались мы в том же международном вагоне. Молодые (Гумилевы. — *В. Л.*) тоже возвращались из Парижа, делились впечатлениями об оперных и балетных спектаклях Дягилева. Под укачивающий стук вагонных колес легче всего разговориться по душам. Анна Андреевна, хорошо помню, меня сразу заинтересовала, и не только как законная жена Гумилева, повесы из повес, у кого на моих глазах столько завязывалось и развязывалось романов «без последствий», но весь облик тогдашней Ахматовой, высокой, худенькой, тихой, очень бледной, с печальной складкой рта и атласной челкой на лбу (по парижской моде) был привлекателен и вызывал не то растроганное любопытство, не то жалость. По тому, как разговаривал с ней Гумилев, чувствовалось, что он полюбил ее серьезно и горд ею. Не раз до того он рассказывал мне о своем жениховстве. Говорил и впоследствии об этой своей настоящей любви... с отроческих лет».

Из дневника Лукницкого

22.01.1926

...В 1910 году, на обратном пути из Парижа, в Берлине, АА должна была почему-то пересесть в другое купе. Вошла. В купе сидело три немца в жилетах. Жара была страшная. Увидев АА, они встали и надели пиджаки... Потом стали болтать между собой о том, что

[1] Ошибка памяти. Гумилевы возвращались из Парижа в июне 1910 года.

надели они пиджаки, потому что это русская дама. А если бы это была немка — конечно, не надели бы.

И АА весело проговорила: «...Русская дама — а русской даме 19 лет было!»[1]

Потом два немца легли на верхние полки, а третий — на нижнюю, против АА. ...Говорил ей, что хочется ехать за ней, куда бы она ни поехала, болтал долго, и АА стоило труда объяснить, что она едет в деревню, к родным, и что за ней нельзя ехать... И этот немец не спал и восемь часов смотрел на нее...

Утром АА рассказала о нем Николаю Степановичу, и тот вразумительно сказал ей: «На Венеру Милосскую нельзя восемь часов подряд смотреть, а ведь ты же не Венера Милосская!..»

После той поездки Гумилев как-то охладел к Парижу. До 1917 года, когда судьба его привела туда в последний раз, он больше в Париж не ездил.

Снова остро затосковал по Африке и, обдумав очередное путешествие, принялся штудировать атлас Видаль де ла Блаша.

Все лето работал с завидной энергией. Занимался переводами, писал стихи, прозу, продолжал, хотя теперь не так уже часто, писать письма Брюсову.

Из письма Брюсову. 9.07.1910. Царское Село. «...Начиная с «Пути конквистадоров» и кончая последними стихами, еще не напечатанными, я стараюсь расширять мир моих образов и в то же время конкретизировать его, делая его таким образом все более и более похожим на действительность. Но я совершаю этот путь медленно, боясь расплескать тот запас гармоний и эстетической уверенности, который так доступен, когда имеешь дело с мирами воображаемыми и которому так мало (по-видимому) места в действительности. Я верю, больше того, чувствую, что аэроплан прекрасен, русско-японская война трагична, город величественно страшен, но для меня это слишком связано с газетами, а мои руки еще слишком слабы, чтобы оторвать все это от обыденности для искусства. Тут я был бы только подражателем, неудачным вдобавок; а хочется верить, что здесь я могу сделать что-нибудь свое.

«Жемчуга» — упражненья — и я вполне счастлив, что

---

[1] На самом деле Ахматовой в то время был 21 год.

Вы, мой первый и лучший учитель, одобрили их. Считаться со мной как поэтом придется только через много лет».

По поводу выхода «Жемчугов» Брюсов дал рецензию в «Русской мысли». В ней были слова:

«...Н. Гумилев медленно, но уверенно идет к полному мастерству в области формы. Почти все его стихотворения написаны прекрасно, обдуманным и утонченно звучащим стихом. Н. Гумилев не создал никакой новой манеры письма, но, заимствовав приемы стихотворной техники у своих предшественников, он сумел их усовершенствовать, развить, углубить, что, быть может, надо признать даже большей заслугой, чем искание новых форм, слишком часто ведущее к плачевным результатам».

Вячеслав Иванов написал о «Жемчугах» в «Аполлоне»: «...когда действительный, страданьем и любовью купленный опыт души разорвет завесы, еще обволакивающие перед взором поэта сущую реальность мира, тогда разделятся в нем «суша и вода», тогда его лирический эпос станет объективным эпосом, и чистою лирикой — его скрытый лиризм, — тогда впервые будет он принадлежать жизни».

Летом Гумилев — в Царском Селе, но бывает на «башне», в редакции «Аполлона», посещает концерты в Павловске. Встречается с Кузминым, В. Комаровским, С. Ауслендером, было несколько встреч с А. Блоком, В. Кривичем, Каратыгиным, Лансере.

В середине августа Ахматова уехала в Киев к матери, а Гумилев на несколько дней — в Окуловку к С. Ауслендеру, который пригласил его быть шафером на его свадьбе.

1 сентября в гостях у А. Н. Толстого Гумилев назначил день отъезда в Африку и 13 сентября устроил аполлоновцам прощальный вечер.

Из письма Брюсову. 2.9.1910. Царское Село. «Дорогой Валерий Яковлевич, я Вас очень благодарю за Ваше письмо и приглашенье. Для меня большая честь печататься в изданьях, руководимых Вами. Но тем более я хочу быть требовательным к себе. В настоящую минуту то небольшое количество стихотворений, кото-

рое у меня было после «Жемчугов» (я летом вообще пишу мало), разобрано разными редакциями. Рассказов я вообще не писал уже довольно давно. Но, конечно, Ваше письмо заставит меня работать, и я уверен, что через очень короткий срок я пришлю Вам ряд стихов, а может быть, и рассказ.

Дней через десять я опять собираюсь ехать за границу, именно в Африку. Думаю через Абиссинию проехать на озеро Родольфо, оттуда на озеро Виктория и через Момбад в Европу. Всего пробуду там месяцев пять».

25 сентября Гумилев выехал из Петербурга в Одессу. Затем морем: Константинополь — 1 октября, Каир — 12 октября, Бейрут, Порт-Саид — 13 октября, Джедда, Джибути — 25 октября.

На пароходе написал песнь четвертую «Открытия Америки» и послал ее в «Аполлон».

В ноябре прошел пустыню Черчер. Достиг Аддис-Абебы. Поселился в «Hotel d'Imperatrisse», потом переехал в «Hotel Terrasse». Там его обокрали.

Был с визитом у русского миссионера в Абиссинии — Бориса Александровича Черемзина, потом, подружившись с ним, несколько раз бывал у него. Встречался с доктором А. И. Кохановским, русским офицером Бабичевым, с европейскими коммерсантами, инженерами, служащими банка.

Черемзин жил в нескольких верстах от Аддис-Абебы, на территории русской миссии, и Гумилев ездил к нему в гости на муле. Вместе с Черемзиным 25 декабря присутствовал на парадном обеде во дворце негуса в честь наследника абиссинского императора Лидж-Ясу. На обеде был представлен весь дипломатический корпус и около трех тысяч абиссинцев. У Черемзина встречал по-русски новый, 1911 год.

С дороги писал письма, а из Африки никому — ни родным, ни друзьям — не написал ни одного, только матери прислал телеграмму в конце путешествия.

Из Аддис-Абебы в Джибути опять шел через пустыню и с местным поэтом ато-Иосифом собирал абиссинские песни и предметы быта.

В конце февраля из Джибути на пароходе через Александрию, Константинополь, Одессу Гумилев отправился в Россию. В Царское Село вернулся в конце марта 1911 года больным сильнейшей африканской лихорадкой.

В 1910 году написано:

Не позднее февраля — стихотворение «У меня не живут цветы...».

В феврале — для «Аполлона» рецензия на «Первую книгу рассказов» М. Кузмина.

Не позже начала апреля — для «Аполлона» статья «Жизнь стиха» и «Письмо о русской поэзии» (Н. Теффи. Семь огней; Д. Ратгауз. Тоска бытия; К. Подоводский. Вершинные огни).

В мае — стихотворения: «Я тело в кресло уроню...», «Нет тебя прелестней и капризней...», «Все чисто для чистого взора...», «Абиссинские песни» (вошедшие в «Чужое небо»); задуман и начат цикл стихов о Наполеоне.

Конец сентября — октябрь — два стихотворения: «Набегала тень. Догорал камин...» и?

1910—1911 — в Абиссинии написано стихотворение «Видение» («Лежал истомленный на ложе болезни...»).

Напечатано:

Стихотворение «Сон Адама» (Аполлон, № 5).

Поэма в четырех песнях «Открытие Америки» (Аполлон, № 12).

Статьи: «Жизнь стиха» (Аполлон, № 7); «Поэзия в „Весах"» (Аполлон, № 9).

Книга стихов «Жемчуга» (Скорпион, М., апрель).

Рецензии: «М. Кузмин. Первая книга рассказов. «Скорпион». М., 1910» (Аполлон, № 5). „Письма о русской поэзии": первое — Теффи. Семь огней»; «Д. Ратгауз. Тоска бытия»; «К. Подоводский. Вершинные огни» (Аполлон, № 7). Второе — «И. Анненский. Кипарисовый ларец»; «Александр Рославлев. Карусели»; «Е. Курлов. Стихи»; «А. Ротштейн. Сонеты»; «Вас. Князев. Сатирические песни»; «Саша Черный. Сатиры» (Аполлон, № 8). Третье — «Ф. Сологуб. Собр. соч., т. 1»; «Н. Морозов. Звездные песни»; «Н. Брандт. Нет мира миру моему»; «С. Гедройц. Стихи и сказки» (Аполлон, № 9). Четвертое — «Ив. Бунин, т. 6-й»; «Ю. Сидоров. Стихотворения»; «Ю. Верховский. Идиллии и элегии»; «Негин. Грядущий Фауст» (Аполлон, № 10).

О Гумилеве:

Вяч. Иванов. Рецензия на «Жемчуга» (Аполлон, № 7); Б. Кремнев. Рецензия на «Жемчуга» (Новый журнал для всех, XX); Л. В. (Войтоловский). Парнасские трофеи. Рецензия на «Жемчуга» (газ. «Киевская мысль», № 189); Н. Абрамович. Критические наброски (Н. Гумилев, М. Волошин, С. Кречетов) (жур. «Студенческая жизнь», 1910, № 27); В. Брюсов. Рецензия на «Жемчуга» (Русская мысль, июль); М. Кузмин. Художественная проза «Весов». Статья. (Аполлон, № 9). Упоминается о Н. Гумилеве; С. Ауслендер. «Н. Гумилев. Жемчуга. М., 1910» (Речь, № 181).

1911

Все, что нам снилось всегда и везде...

Гумилев всегда был рад путешествиям — они давали новые силы для жизни, но на этот раз, видимо из-за болезни, то, что доставляло радость, что манило и притягивало в Африке — обыденность, незамысловатость

обычаев, простота и естественность жизни, на этот раз не удовлетворило. Наверное, думал Гумилев, все — в собственной душе, даже возможность иллюзий. Не места изменяют наше настроение, а мы своим настроением изменяем места, в которых бываем. В этот раз — ни иллюзии душевного спокойствия, ни стихов.

Возвратившись из путешествия, в перерыве между острыми приступами лихорадки Гумилев пришел в редакцию «Аполлона» на заседание «Академии». Рассказал о путешествии, показал предметы, привезенные из Африки, и высказал мысль о том, что необходимо в научных экспедициях обращать внимание не только на предметы материальной культуры, но обязательно — на этнографию духа: на народные песни, религиозные обряды, на танцы — словом, на все, что так или иначе связано с искусством, потому что только искусство позволяет понять характер народа.

На этом же заседании он прочел поэму «Блудный сын». Вяч. Иванов взорвался и высказался по поводу поэмы крайне отрицательно. Но это был предлог. Отношения портились, Вяч. Иванов не разделял взглядов Гумилева на поэзию.

На заседаниях «Общества ревнителей художественного слова» шли споры о символизме. В статье «Наследие символизма и акмеизм» Гумилев напишет: «Для внимательного читателя ясно, что символизм закончил свой круг развития и теперь падает».

Фактически еще 1909 год оказался переломным во взаимоотношениях Гумилева и Брюсова. Именно тогда, как мы знаем, Брюсов не напечатал в «Весах» посланный ему в письме Гумилевым сонет. Может быть, мэтру было неприятно посвящение этого сонета Вяч. Иванову, с которым у Брюсова начались разногласия? Или из-за разногласий, которые начались у Гумилева с самим Брюсовым?

Так или иначе, к 1911 году Гумилев начал отходить от влияния Брюсова. (Однако В. Ходасевич считал, что влияние Брюсова на Гумилева так никогда и не кончилось.) Не принял он и «башенных» взглядов на поэзию. У него созревали собственные идеи.

Из дневника Лукницкого

5.04.1926

АА: «Гражданское мужество у него было колоссальное: например, в отношениях с Вячеславом Ивановым.

Он прямо говорил, не считаясь с тем, что это повлечет за собою травлю, может быть. Всегда выражал свое мнение прямо в глаза, не считаясь ни с чем — вот это то, что я никогда не могла...»

Когда сегодня днем я диктовал АА даты и сведения, полученные от Кузмина, там попалась такая строчка (то есть то, что пишет Кузмин): «Вячеслав (Иванов) грыз Гумилева и пикировался с Анненским».

АА обрадовалась: «„...и пикировался с Анненским!“ Так, так, очень хорошо; это уж я не забуду записать! Это для меня очень важно! „И пикировался с Анненским!“».

3.07.1925

АА, рассказывая нижеследующее, сказала: «Не записывайте этого, душенька, потому что выйдет, что я хвастаюсь». И рассказала, что, когда она первый раз была на «башне» у В. Иванова, он пригласил ее к столу, предложил ей место по правую руку от себя, то, на котором прежде сидел И. Анненский. Был совершенно невероятно любезен и мил, потом объявил всем, представляя АА: «Вот новый поэт, открывший нам то, что осталось нераскрытым в тайниках души И. Анненского...» АА говорит с иронией, что сильно сомневается, что «Вечер» так уж понравился В. Иванову, и было даже чувство неловкости, когда так хвалили «девчонку с накрашенными губами...»

А делал все это В. Иванов со специальной целью — уничтожить как-нибудь Николая Степановича, уколоть его (конечно, не могло это в действительности Николая Степановича уколоть, но В. Иванов рассчитывал).

Когда АА читала стихи «Вечера» на «башне» или в других местах, люди спрашивали, что думает Николай Степанович об этих стихах. Николай Степанович «Вечер» не любил. Отсюда создалось впечатление, что он не понимает, не любит стихов АА.

Николай Степанович никогда, ни в «Академии стиха», ни в других местах не выступал с критикой стихов АА, никогда не говорил о них. АА ему запретила.

Ахматова говорит: «Ни прельстителем, ни соблазнителем Вячеслав Иванов для нас (тогдашней молодежи) не был... В эмиграции Вячеслав Иванов стал придумывать себя «башенного» — Вячеслава Великолепного. Никакого великолепия на Таврической не было».

Вяч. Иванов в одной из своих дневниковых записей вспоминает, что всегда был очень рад приходу Гумилева, что, мол, Гумилев так пленительно, ярко рассказывал о своих путешествиях, что немедленно хотелось тут же, прямо с «башни», отправиться в густые тропики...

Некоторые действительно приходили на «башню» специально для того, чтобы послушать рассказы Николая Степановича.

О событии, когда Ахматова читала стихи на «башне», многие мемуаристы вспоминали по-разному. Среди них был и Вяч. Иванов. Он рассказывал, как волновался Гумилев, как болезненно переживал каждую произнесенную строчку и как гордился, радовался успеху и признанию Ахматовой. Вяч. Иванов говорил, что невозможно передать ощущение того, что рождение поэта — всегда чудо, что Гумилев умел радоваться чужому дару и что он всегда приветствовал как божье чудо — талант и не уставал удивляться ему.

В. Пяст: «...весь 1911 год в истории русской мысли был окрашен полемикой «по поводу» статей символистов. Несомненно, с этого момента они, прежде «про́клятые» писатели, стали властителями дум, стали в самом центре интеллигентской общественности... С момента «канонизации» и признания — историческая миссия символистов кончилась. Подспудные течения именно тогда уже были единственно живущими...»

С конца марта до середины мая, превозмогая приступы болезни, Гумилев продолжал бывать и на «башне», и в университете на лекциях по классической филологии, и в Музее этнографии.

4 мая по состоянию здоровья Гумилев подал прошение об увольнении его из университета. 7 мая оно было удовлетворено.

Из дневника Лукницкого

5.11.1925

Я заговорил о здоровье АА. В ответ она рассказала мне, что однажды Николай Степанович вместе с ней был в аптеке и получал для себя лекарство. Рецепт

был написан на другое имя. На вопрос АА Николай Степанович ответил: «Болеть — это такое безобразие, что даже фамилия не должна в нем участвовать, что он не хочет порочить фамилии, подписывая ее на рецептах».

2.04.1925. Мр. дв.

АА диктует: «8 января — опять в Киеве... Кажется, я с января, честно, уже больше не ездила в Киев. Вот так, в конце января я вернулась из Киева и жила в Царском. Бывала у Чудовских, у Толстых, у Вячеслава Иванова на «башне»...

Весной 11-го уехала в Париж (я в Троицын день была в Париже по новому счету). По дороге была в Киеве. Недолго. Праздник революции (14 июля нов. стиля. — *В. Л.*) я еще видела в Париже, а 13 июля, по старому, я уже была в Слепневе. В Слепневе — до начала августа (с Николаем Степановичем поехала в Москву, в августе), через несколько дней я уехала одна из Москвы в Петербург. Оттуда — в Киев. 1 сентября я была в Киеве — это день убийства Столыпина, я помню. А 17 сентября уже у Неведомских на именинах. Потом — совпадает дальше с Колей — мы вместе в Царском Селе проводили конец года».

В середине мая, проводив жену в Париж, Гумилев уехал в Слепнево.

«Под влиянием рассказов Анны Ивановны о родовом имении Слепневе и о той большой старинной библиотеке, которая в целости там сохранилась, Коля захотел поехать туда, чтобы ознакомиться с книгами, — пишет в своих воспоминаниях жена брата Дмитрия А. Фрейганг-Гумилева. — В то время в Слепневе жила тетушка Варя — Варвара Ивановна Львова... старшая сестра Анны Ивановны. К ней... приезжала ее дочь Констанция Фридольфовна Кузьмина-Караваева со своими двумя дочерьми. Приехав в Слепнево поэт был приятно поражен, когда кроме старенькой тетушки Вари навстречу ему вышли две очаровательные молоденькие барышни Маша и Оля. Маша с первого взгляда произвела на поэта неизгладимое впечатление...»

Маша была умна, хороша собой и неизлечимо больна туберкулезом. Гумилев нежно заботился о ней, старался всячески ее развлечь.

Кузьминым-Караваевым принадлежало соседнее имение — Борисково. Собственно, Слепнево не было барским имением, это была скорее дача, выделенная из Борискова. Неподалеку находились еще два имения — Подобино и Дубровка. В них жили друзья Гумилевых и Кузьминых-Караваевых — Неведомские и Ермоловы. Соседи с удовольствием гостили друг у друга и часто проводили время вместе. То лето шло в прогулках, верховой езде, развлечениях и увлечениях. Ахматова потом вспоминала так: «Я не каталась верхом и не играла в теннис, я только собирала грибы в обоих садах, а за плечами пылал Париж в каком-то последнем закате».

Гумилев с детства умел собирать вокруг себя компанию и затевать невероятные фантастические игры. Здесь же он был, что называется, в ударе. Создал посредством домочадцев и силами друзей-соседей даже собственный цирк с настоящими цирковыми номерами. А потом и домашний театр.

В. Неведомская: «...помню, раз мы заехали кавалькадой человек в десять в соседний уезд, где нас не знали... Крестьяне обступили нас и стали расспрашивать — кто мы такие? Гумилев не задумываясь ответил, что мы бродячий цирк и едем на ярмарку в соседний город давать представление. Крестьяне попросили нас показать наше искусство, и мы проделали перед ними всю нашу «программу». Публика пришла в восторг, и кто-то начал собирать медяки в нашу пользу. Тут мы смутились и поспешно исчезли.

В дальнейшем постоянным нашим занятием была своеобразная игра, изобретенная Гумилевым: каждый из нас изображал какой-то определенный образ или тип — «Великая интриганка», «Дон-Кихот», «Любопытный» (он имел право подслушивать, перехватывать письма и т. п.), «Сплетник», «Человек, говорящий всем правду в глаза» и так далее. При этом назначенная роль вовсе не соответствовала подлинному характеру данного лица — «актера». Скорее наоборот, она прямо противоречила его природным свойствам... Старшее поколение смотрело на все это с сомнением... В характере Гумилева была черта, заставляющая его искать и создавать рискованные положения, хотя бы лишь психологически. Помимо этого у него было влечение к опасности чисто физической».

Вспоминая лето 1911 года, Неведомская рассказывает о пьесе, которую сочинил Гумилев для исполнения обитателями Подобина, когда упорные дожди загнали их в дом. Гумилев был не только автором, но и режиссером. «Его воодушевление и причудливая фантазия подчиняли нас полностью, и мы покорно воспроизводили те образы, которые он нам внушал. Все фигуры этой пьесы схематичны, как и образы стихов и поэм Гумилева. Ведь и живых людей, с которыми он сталкивался, Николай Степанович схематизировал и заострял, применяясь к типу собеседника, к его «коньку», ведя разговор так, что человек становился рельефным; при этом «стилизуемый объект» даже не замечал, что Николай Степанович его все время „стилизует“».

Летом Гумилев не только отдыхал. Он написал статью, вошедшую в книгу «Письма о русской поэзии», прочитал Сенковского, съездил в Москву, встретился там с Андреем Белым, посетил Третьяковскую галерею, был с визитом у Брюсова, познакомился у него с поэтом Николаем Клюевым. А главное — написал много стихов.

Из Москвы он снова поехал в Слепнево и только в начале сентября вернулся в Царское.

В это лето 1911 года Анна Ивановна купила в Царском Селе дом, на Малой улице, 63 (ныне ул. Революции, 57). В этом доме Гумилевы жили до 1916 года.

Однажды А. А. Ахматова с грустью сказала П. Н. Лукницкому: «Уйдя от Гумилевых, я потеряла дом».

Из дневника Лукницкого

5.04.1925

...В 3 часа — за час до положенного по расписанию обеда — АА предложила мне пойти со мной на Малую улицу, показать мне дом Гумилевых. В ответ на мое беспокойство — не слишком ли она утомлена для такой прогулки, не будет ли ей такая прогулка вредна, АА уверила меня, что ей даже следует немного гулять и что это будет только полезно.

Надели шубы, вышли. Солнце ясное, милое... Воздух чистый... Но снег еще не весь растаял, и грязи, и гряз-

ных луж местами не обойти. Идем — неторопливо. АА лучистым взором показывает мне на дома, с которыми связаны какие-нибудь ее воспоминания, и рассказывает мне. Идем по Московской... АА указывает на белый собор: «Вот в этом соборе Николай Степанович говел последний раз. А вот это — Гостиный двор, — и АА перевела глаза направо. — А там, дальше, гимназия, в которой я училась, только тогда она была совсем другая — теперь ее перестроили... Увеличили ее, пристроили сбоку и надстроили верх...»

С Московской мы свернули направо — пошли мимо гимназии...

АА: «Из этой двери мы выходили на улицу, а вот здесь, в Гостином дворе, поджидали нас гимназисты — они выбрали это место, чтобы их не очень видно было...»

АА с грустью смотрит на грязные, испорченные тротуары, на сломанные заборы, на пустыри, где когда-то, она помнит, стояли хорошенькие, чистые дома.

АА: «Подумайте, этот город был самым чистым во всей России, его так берегли, так заботились о нем! Никогда ни одного сломанного забора нельзя было увидеть... Это был какой-то полу-Версаль... Теперь нет Царского Села...»

Я понял, что в Детском настроение АА не может быть хорошим, я думаю, каждый камень, каждый столбик, такой знакомый и такой чужой теперь, попадая в поле ее зрения, причиняет ей физическую, острую боль.

Когда мы свернули на Малую улицу, шли по ней, АА обратила мое внимание на серый 3-этажный деревянный дом на левой стороне улицы. АА: «Это дом Сергеева... Я здесь жила, когда мне было 3 года...»

Наконец еще издали АА показала: «А вот мы и дошли... Видите — зеленый домик с той стороны? Это дом Гумилевых...» Я увидел 2-этажный, в 3 окна вверху и в 5 окон внизу, хорошенький, деревянный домик с небольшим палисадником, из которого поднималось высоко одно только большое, теперь еще голое дерево, несколько других, маленьких и чахлых деревьев не смели протянуть свои ветви даже к окнам 2-го этажа. Вошли во двор. Мимо окон кухни и ванной обошли дом с другой стороны. Крошечный садик. В него выходит большое окно столовой, а за ним — окно комнаты Николая Степановича... Минуту, может быть — две, стояли молча; потом АА повернулась, пошла. «Этот заборчик то-

же разрушен... Тогда все было чисто, убрано, выкрашено. Теперь все так привыкли видеть вот такое разрушение, что даже не замечают его (запустенье?)» Выходя на улицу, АА показала мне гимназию: «Здесь Николай Степанович учился... Иннокентий Федорович жил здесь одно время...»

АА рассказала: 1-е окно (со стороны, противоположной калитке) было окном ее комнаты. Следующее окно — библиотеки. 3-е — среднее — окно фальшивое, было раньше, осталось им и теперь. Два других окна — окна гостиной. Во 2-м этаже жил Лева.

Подошли к калитке. АА показала мне жестяную доску с этой стороны дома. На доске масляными красками: «Дом А. И. Гумилевой»... Эта доска с надписью так и осталась отдельной — легла с другой стороны мозга, не с той, с которой улеглись все впечатления от сегодняшней поездки... Не знаю почему, но, вспоминая эту поездку, я могу сопоставить, взять рядом, назвать вместе два любых предмета — книжку Мандельштама и Детскосельский вокзал, синий ободок тарелки, из которой я обедал, и арку Гостиного двора, но эта доска существует в моей памяти отдельно, она ни с чем не может ужиться, она — отшельница.

За углом электрической станции, по пересекающей Малую улице, находится дом Тирана, «где Николай Степанович одно время жил...».

Май, 1925

АА: «У Коли желтая комната. Столик. За этим столиком очень много стихов написано. Кушетка, тоже желтая, обитая. Часто спал в библиотеке на тахте, а я на кушетке у себя. Стол мой, 4 кожаных кресла были у меня в комнате. Все из Слепнева привезла, красного дерева. Кресло — карельской березы.

Кабинет — большая комната, совсем заброшенная и нелюбимая. Это называлось «Абиссинская комната». Вся завешана абиссинскими картинами была. Шкуры везде были развешаны».

Комната АА ярко-синяя, шелковая обивка, сукно на полу, какой-то зверь у кушетки лежал (выдра?).

Все это до осени 15 года. А с весны 16-го все было иначе. Комнаты АА и Николая Степановича сданы родственнице (Миштофт). АА переехала в кабинет, а Николай Степанович жил наверху в маленькой комнате.

«Все очень плохо было, только моя комната была сделана со вкусом. Белые обои были...

Когда жили в Царском Селе, Николай Степанович ездил в город, почти каждый раз привозил 1—2 книжечки и говорил, что хочет иметь в своей библиотеке все русские стихи. Не мог равнодушно видеть их у букинистов».

Ниже в дневнике изображен план квартиры и расположения мебели в комнатах, сделанный Лукницким, а дальше — рисунок Ахматовой с расположением комнат и мебели в той комнате, которая называлась библиотекой. (Опись сделана под диктовку Ахматовой. — *В. Л.*).

Полки со стихами. На полке — избранные модернисты (Сологуб, Брюсов и др.). Тут же стояли книжки Ахматовой и Гумилева.

АА, улыбнувшись: «Когда я на Колю сердилась, я вынимала его книги с этой полки и ставила на другую, а на других были сотни книг — из тех, которые присылались в «Аполлон» для отзыва, и т. п. — всякой дребедени».

Узкие и высокие полки, на которых стояли Брокгауз и Эфрон и классики.

Диваны, которые Николай Степанович называл «тахтами». Над высоким диваном висел портрет Жореса (?).

Стол круглый, коричневый. Обои — коричневые и занавески коричневые на окнах... Полки — светлые, полированные... «Кресло там было кожаное, огромное... два, кажется, кресла было, кажется, я там одно пририсовала от своих щедрот...»

Осенью Гумилев стал постоянно бывать в Петербурге — встречался с сотрудниками редакции «Аполлон», иногда обедал с ними в ресторане «у Лейнера», обдумывал планы создания новой литературной организации — «Цеха Поэтов», стал обсуждать свои планы с поэтом С. М. Городецким.

Еще задолго до этого — в 1909 году, как уже говорилось, наметился кризис внутри символизма, «когда пришедший к логическому концу символизм задыхался в мистическом тупике и метафизических умствованиях, и поэтическая молодежь уже ясно отдавала себе отчет в том, что дальше танцевать на символическом канате над бездной мироздания не только рискованно,

но и бесполезно, ибо зрители, которым наскучили картонные солнца и звезды, наклеенные на черном коленкоре символического неба, начали зевать и разбегаться».

Прекратил существование журнал «Весы», вокруг которого группировались символисты. В только что созданном «Аполлоне», казалось бы близком по духу «Весам», ни Брюсов, ни Белый, ни Бальмонт, как, впрочем, и другие «весовцы», не обрели настоящего пристанища. В итоге между Брюсовым, считавшим поэзию только искусством, и Вяч. Ивановым, возлагавшим на нее еще и религиозно-мистические функции, возникли серьезные разногласия. А у Гумилева, считавшего, что слово должно выражать то, что оно означает, без надуманных, эфемерных, потусторонних символов, уводящих живое слово в заумь, — с ними обоими.

Основатель и главный редактор журнала С. Маковский предугадал в Гумилеве — своем активном помощнике в создании журнала — бескомпромиссного, преданного сотрудника, а позже поручил поэту руководство отделом критики, несмотря на отрицательное отношение к этому Вяч. Иванова.

На заседаниях «Общества ревнителей художественного слова» в редакции «Аполлона» поэты читали стихи, спорили, выступали с докладами по вопросам поэзии.

Выступления публиковались на страницах «Аполлона»; в частности, доклады А. Блока и Вяч. Иванова о символизме были опубликованы в «Аполлоне», № 8, в 1910 году и раскритикованы В. Брюсовым в следующем номере журнала.

В течение двух с лишним лет Гумилев пересматривал, вынашивал, высказывал в своих выступлениях собственные взгляды на поэзию, доказывая несостоятельность символизма, независимо от внутренних трений и разногласий, и предсказывал рождение нового литературного течения.

20 октября в квартире С. М. Городецкого (Фонтанка, 143, кв. 5) состоялось первое собрание «Цеха Поэтов», на котором был утвержден состав членов. Ахматова, Блок, Гумилев читали в тот вечер стихи...

Из дневника Блока

«Перед вечером пришел Пяст... Долго говорил я ему о создавшемся положении с Вячеславом Ивановым и

с Аничковым 20 октября 1911 г. Потом мы втроем с Л(юбой) пошли к Городецким. Люба в новой лиловой бархатной шубке.

Безалаберный и милый вечер... *** Е. Ю.[1] читает свои стихи и танцует. Толстые — Софья Исааковна похудела и хорошо подурнела, стала спокойнее, в лице хорошая человеческая острота. Тяжелый и крупный Толстой рассказывает, конечно, как кто кого побил в Париже. <...>.

Молодежь. Анна Ахматова. Разговор с Н. С. Гумилевым и его хорошие стихи о том, как сердце стало китайской куклой <...>.

...Было весело и просто. С молодыми добреешь».

В «Цех» входили поэты различных направлений (в письме Брюсову Гумилев говорит о 26 членах), но некоторые из них — О. Мандельштам, А. Ахматова, В. Нарбут, М. Зенкевич, С. Городецкий, Василий Гиппиус, Е. Кузьмина-Караваева — образовали некое ядро, сгруппировавшись вокруг идей Гумилева.

«Цех Поэтов» пробовал свои силы. Еще не было ни четкой программы, ни планов — в общем, никаких серьезных организационных действий пока не предпринималось. Собирались, читали стихи, разговаривали о поэзии и ждали: нужно ли будет продолжать или нет, скучно им вместе или нет? Скучно не было — встречи становились частыми, постепенно они стали необходимыми.

Второе заседание «Цеха Поэтов» состоялось 1 ноября у Гумилева в Царском. На следующий день Гумилев уехал в Финляндию проведать находящуюся в санатории и уже смертельно больную Машу Кузьмину-Караваеву.

Ноябрь, декабрь — частые заседания «Цеха Поэтов», заседания «Академии стиха», работа в редакции «Аполлона», проводы Маши Кузьминой-Караваевой в Италию на лечение... Стихи, переводы, статьи...

За это время Гумилев сблизился с О. Э. Мандельштамом. Именно в «Цехе» эта дружба закрепилась навсегда.

---

[1] Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева (урожд. Пиленко) — поэтесса. Впоследствии приняла монашеское имя матери Марии. Известная всему миру героиня французского Сопротивления.

Из дневника Лукницкого

5.12.1925

В. Шилейко: «Мандельштам очень хорошо говорил в эпоху первого «Цеха Поэтов»: „Гумилев — это наша совесть“».

Из совместного письма Мандельштама и Лукницкого Ахматовой 25.08.1928

Дорогая Анна Андреевна, пишем Вам с П. Н. Лукницким из Ялты, где все трое[1] ведем суровую, трудную жизнь.

Хочется домой, хочется видеть Вас. Знаете, что я обладаю способностью вести воображаемую беседу только с двумя людьми — с Николаем Степановичем и с Вами. *Беседа с Колей не прерывалась и никогда не прервется...* (Курсив мой. — *В. Л.*)

В 1911 году написано:

В конце марта — поэма «Блудный сын».

В апреле — два акростиха: «Ангел лег у края небосклона...» и «Аддис-Абеба — город роз...»

Весной — «Жизнь» («С тусклым взором, с мертвым сердцем...»), «Константинополь», «Из логова змиева...», «Когда я был влюблен, а я влюблен...», «Старая дева» (первый вариант), «Да! Мир хорош, как старец у порога...», «Однажды вечером».

Со второй половины мая до августа — два акростиха: «Альбом или слон» («О, самой нежной из кузин...») и «Можно увидеть на этой картинке...», а также «Молюсь звезде моих побед...» (23 мая), «Двенадцатый год» (не позже 24 мая), «Warum» («Целый вечер в саду рокотал соловей...») (26 мая), «Мыльные пузыри» («Какая скучная забота...») (26 мая), «Неизвестность» («Замирает дыханье и ярче становятся взоры...») (27 мая), «В четыре руки» («Звуки вьются, звуки тают...») (27 мая), «На кровати, превращенной в тахту» («Вот троица странная наша...») (29 мая), «Прогулка» («В очень, очень стареньком дырявом шарабане...») (29 мая), «Лиловый цветок» («Вечерние тихи заклятья...») (29 мая), «Куранты любви («Вы сегодня впервые пропели...») (2 июня), «В вашей спальне» («Вы сегодня не вышли из спальни...») (4 июня), «Медиумические явления» («Приехал Коля, тотчас слухи...») (4 июня), «Девушке» («Мне не нравится томность...») (10 июня), «О признаньях» («Никому мечты не поверяйте...») (10 июня), «Сомнение» («Вот я один в вечерний, тихий час...») (10 июня), «Страница из Олиного дневника» («Он в четверг мне сделал предложенье...») (13 июня), «Борьба» («Борьба одна: и там, где по холмам...») (16 июня), «Вечерний медленный паук...» (17 июня), «Райский сад» («Я не светел, я болен любовью...») (17 июня), «Ангел-хранитель» («Он мне шепчет...») (17 июня), «Ключ в лесу» («Есть темный лес

[1] Третья — Надежда Яковлевна Мандельштам, жена О. Э. Мандельштама.

в стране моей...») (19 июня), «Опять прогулка» («Собиратели кувшинок...») (19 июня), «Ева или Лилит» («Ты не знаешь сказанья о деве Лилит...») (21 июня), «Слова на музыку Давыдова» («Я — танцовщица с древнего Нила...») (21 июня), «Две розы» («Перед воротами Эдема...») (27 июня), «Остров любви» («Вы, что поплывете...») (27 июня), «Рисунок акварелью» («Пальмы, три слона и два жирафа...») (июнь — июль), «Сон» («Вы сегодня так красивы...») (3 июля), «11 июля 1911 г.» («Ты, лукавый ангел Оли...»), «Четыре лошади» («Не четыре! О нет, не четыре...») (20 июля), «Огромный мир открыт и манит...» (26 июля). Ряд несохранившихся стихотворений (кроме нескольких строчек) наполеоновского цикла, задуманных еще в Париже в 1910 г. Написано «Письмо о русской поэзии» («Вяч. Иванов. Cor Ardens, ч. 1 и Антология к-ва «Мусагет»), некрологи К. М. Фофанову и В. В. Гофману.

Осенью — стихотворение «Жестокой».

В течение года — «Отравленный», «Паломник», «Вечное», «Тот, другой...», «Сонет» («Я, верно, болен...»), «Лежал истомленный на ложе болезни...», «Я верил, я думал...», «Туркестанские генералы», сцена «Дон Жуан в Египте».

Напечатано:

Стихотворения: «Я тело в кресло уроню...», «Абиссинские песни», «Занзибарские девушки», «Военная», «Пять быков», «Невольничья» (Антологии изд-ва «Мусагет», М., весна); «С тусклым взором, с мертвым сердцем...» и «Еще близ порта орали хором...» (Аполлон, № 6); «Все ясно для тихого взора...» (Общедоступный лит.-худ. альманах, кн. 1. М.); «Отрывок» («Христос сказал...») (альм. «Грех», изд-во «Заря», М.); «Наступила ночь...», «Паломник» («Ахмед-оглы берет свою клюку...») — два восьмистишия (Альм. «Северные цветы». К-во «Скорпион», М.); «Я закрыл Илиаду и сел у окна...» (Новое слово, СПБ, № 8); «Из логова змиева...» (Русская мысль, № 7); «Когда я был влюблен, а я влюблен...» (Сатирикон, № 33).

Переводы стихотворений Т. Готье: «Искусство», «Анакреонтические песенки», «Рондолла», «Гиппопотам» (Аполлон, № 9).

Статья: «Теофиль Готье» (Аполлон, № 9).

Рецензии: «Письма о русской поэзии»: «Передо мной двадцать книг стихов...» (Аполлон, № 4, 5); «Для критика, желающего быть доказательным» (Аполлон, № 4—6); «Вяч. Иванов. Cor Ardens. Ч. 1. «Скорпион». М., 1911»; «Антология к-ва «Мусагет». М., 1911»; Некрологи: К. М. Фофанов, В. В. Гофман (Аполлон, № 7). «Ю. Балтрушайтис. Земные ступени. «Скорпион». М., 1911»; И. Эренбург. Я живу. СПБ., 1911»; «Грааль Арельский. Голубой ажур»; «С. Константинов. Миниатюры»; «С. Тартаковер. Несколько стихотворений»; стихи А. Конге и М. Долинова; «Л. Василевский. Стихи»; «А. Котомкин. Сборник стихотворений»; «Юрий Зубовский. Стихотворения» (Аполлон, № 10).

О Гумилеве:

Рецензия М. Чуносова на «Жемчуга» (Новое слово, № 3); Вал. Чудовский. Литературная жизнь (Летопись Аполлона, № 9).

1912

Мечты, связующие нас...

То в Царском у Гумилева, то у Городецких, то у Кузьминых-Караваевых собирались участники «Цеха».

Из дневника Лукницкого

30.11.1925

Когда в 1911 году АА с Николаем Степановичем вернулась из Слепнева (собственно — из Москвы), то враждебное отношение Вячеслава Иванова к Николаю Степановичу и Николая Степановича к Вячеславу Ивановичу уже не вызывало недоумений. «Вспомните письмо Вячеслава Иванова». Но АА еще неясно было, почему в начале 1911 года, когда Николай Степанович вернулся из Африки, Вячеслав Иванов так окрысился на Николая Степановича. Думается, что здесь есть прямая связь. Прежний круг приятелей — М. Кузмин, С. Ауслендер, Ал. Толстой, Е. Зноско-Боровский, П. Потемкин — из-за различия литературных интересов, все меньше и меньше удовлетворяли Гумилева. Встречи с ними уже не ощущались им как необходимость. Новые лица, новые интересы влекли его. Постепенно, особенно после создания «Цеха Поэтов», определился и укрепился новый круг: С. Городецкий, О. Мандельштам, М. Лозинский, М. Зенкевич, Вл. Нарбут. И это шло не только за счет штудирования Гумилевым Теофиля Готье, но это и плод собственного опыта, полученного в путешествиях, это и результат размышлений, выводов, рожденных бессонными ночами в палатках или бесчисленными переходами под африканским небом.

Но «Цех» вобрал в себя не только акмеистов, а поэтов и других направлений. Например, Михаил Леонидович Лозинский — ближайший друг Гумилева — был тесно связан с членами «Цеха» и его работой, но считался символистом и потому в ядро акмеистов не вошел.

20.10.1925

По поводу моего желания сохранить листки с первыми записями воспоминаний АА о Николае Степановиче (АА хочет их уничтожить, потому что они мной безобразно записаны и, кроме того, очень устарели — они очень неполны) АА с упреком сказала, что это — фетишизм. Дальше выяснилось отрицательное отношение АА к фетишизму.

Говорю, что иду к Мосолову [1], там будет Пяст. «А до

---

[1] Борис Сергеевич Мосолов (1888—1941) — актер, журналист, участник вечеров «Бродячей собаки».

Мосолова зайдите ко мне... У меня есть кое-что, чтобы вам показать».

Через час я у АА. Половина седьмого вечера...

Лежит на диване. Нездоровый вид, но говорит, что здорова. Сажусь в кресло. Скоро АА встает, садится к столу. Подает на стол пачку бумаг — мои листки биографии Николая Степановича, первые ее воспоминания, предназначенные к уничтожению. Красный и синий карандаш в руке. Читаем вместе, и АА отмечает места, которые нужно сохранить.

В 8 часов я ухожу. Иду к Мосолову, который для меня позвал Пяста. Пяст скоро приходит. В визитке. Садится на диван. Снимает сначала мокрые ботинки, потом носки. Кладет их к печке, к редкой теперь «буржуйке». Босые ноги протягивает к печке. Вспоминает и диктует мне. Сначала в сидячем, потом все в более лежачем положении.

Рука под голову, но и рука оказывается на подушке, закрываются глаза, и Пяст превращается в дремлющего вещателя. Мосолов на стуле рядом. Слушает. Юлит. По временам втискивается в разговор и начинает ненужные, малопонятные и сюсюкающие (трубка в зубах) рассуждения. Ни Пяст, ни я не поддерживаем. Пяст перебивает его и продолжает сообщения.

Чай. В 1 час ночи выхожу с Пястом на улицу. Идем до Литейного. Он поднимается на почту: «Только ночью мне удается заходить на почту. Я так занят все время...» Он — на почту, а я — домой.

21.10.1925 г. Суббота

Я пришел к АА в Шереметевский дом. Сразу прошел в кабинет. АА лежала на диване. Сегодня оживленнее, веселее, чем всегда...

Перемолвившись двумя-тремя фразами, я стал читать воспоминания Пяста. АА слушала с большим интересом. Некоторые выражения и некоторые эпизоды вызвали ее веселый, непринужденный смех... АА смеялась — она очень тихо всегда смеется, но смех особенный, мелодичный и заразительный. Несколько раз она вызывала из соседней комнаты Пунина, чтобы он тоже послушал забавное место. Пунин смеялся, не в упрек Пясту, называл его сумасшедшим... Но АА осталась довольна воспоминаниями Пяста, — видно, что он мало знаком с Николаем Степановичем, что жизнь их сталкивала тем не менее, и то, что он помнит, он передает

хорошо и правильно. И очень достоверны его характеристики. А образ Николая Степановича выступает определенно и жизненно. «Молодец Пяст — он очень хорошо сделал, что рассказал вам».

Вспоминает В. Пяст: «Цех Поэтов» был довольно любопытным литературным объединением, в котором не ставился знак равенства между принадлежностью к нему и к акмеистической школе. В него был введен несколько чуждый литературным обществам и традициям порядок «управления». Не то чтобы было «правление», ведающее хозяйственными и организационными вопросами, но и не то чтобы были учителя-академики и безгласная масса вокруг. В «Цехе» были синдики — в задачу которых входило направление членов «Цеха» в области их творчества; к членам же предъявлялось требование известной «активности», кроме того, к поэзии был с самого начала взят подход как к ремеслу. Это гораздо позднее Валерий Брюсов где-то написал: «Поэзия — ремесло не хуже всякого другого». Не формулируя это так, вкладывая в эту формулу несколько иной, чем Брюсов, смысл, — синдики, конечно, подписались бы под вышесказанным афоризмом.

Их было три. Каждому из них была вменена почетная обязанность по очереди председательствовать на собраниях, но это председательствование они понимали как право и обязанность «вести» собрание. И притом чрезвычайно торжественно. Где везде было принято скороговоркой произносить: «Так никто больше не желает высказаться? В таком случае собрание объявляется закрытым...», там у них председатель торжественнейшим голосом громогласно объявлял: «Объявляю собрание закрытым».

А высказываться многим не позволял. Было, например, правило, воспрещающее «говорить без придаточных», то есть высказывать свое суждение по поводу прочитанных стихов без мотивировки этого суждения. Все члены «Цеха» должны были работать над своими стихами согласно указаниям собрания, то есть фактически — двух синдиков. Третий же был отнюдь не поэт, а юрист, историк и муж поэтессы. Я говорю о Д. В. Кузьмине-Караваеве (муж Е. Ю. Кузьминой-Караваевой. — *В. Л.*). Первые два были, конечно, Городецкий и Гумилев.

Синдики пользовались к тому же прерогативами и

были чем-то вроде «табу». Когда председательствовал один из них, другой отнюдь не был равноправным с прочими членами собрания. Делалось замечание, когда кто-нибудь поддевал своей речью говорившего перед ним синдика № 2. Ни на минуту синдики не забывали о своих чинах и титулах.

За исключением этих забавных особенностей — в общем, был «Цех» благодарной для работы средой — именно тою «рабочей комнатой», которую провозглашал в конце своей статьи «Они» покойный И. Ф. Анненский».

Зимой и ранней весной заседания «Цеха Поэтов» продолжались. В это же время Гумилев часто бывал в «Бродячей собаке» — подвальчике на Михайловской площади (ныне пл. Искусств), оборудованном под ночное кафе, где собирался литературно-артистический Петербург.

Из дневника Лукницкого

5.12.1925. Суббота

...В «Бродячей собаке» (началась она, кажется, с 1 января 1912 г.) АА бывала только до начала войны, а после начала была только раз — когда Николай Степанович приезжал с фронта и его чествовали (он с «Георгием» уже приезжал)...

Гумилеву и Ахматовой нравилась атмосфера этого ночного кабачка, кафе, клуба со смешным названием. Им нравилось засиживаться до утра, как бы участвуя в трогательном и грустном спектакле, который чуть-чуть декорирует жизнь. Полутьма, полуулыбки, полунамеки — и стихи, стихи до утра, и конечно же яростные и беспощадные споры о смысле жизни и искусства.

Вспоминает В. Пяст: «Сейчас много возводится поклепов на бедную «издохшую „Собаку“»... — А вот не угодно ли: в час ночи в самой «Собаке» только начинается филологически-лингвистическая (т. е. на самый что ни на есть скучнейший с точки зрения обывателей сюжет!) лекция юного Виктора Шкловского «Воскрешение вещей»!..

Во втором отделении, а иногда и с первого, после удара в огромный барабан молоточком Коко Кузнецова или кого другого, низкие своды «Собачьего подвала» покрывает раскатистый бас Владимира Маяковского...

Иногда Маяковский, иногда Хлебников или еще Бенедикт Лившиц... Или застенчиво нежный, несмотря на свой внушительный рост, Николай Бурлюк...

Собственно, настоящих собак в «Собаке» не водилось, по крайней мере почти. Была какая-то слепенькая мохнатенькая Бижка, кажется, но бродила она по подвалу только днем — когда если туда кто и попадал иной раз, то всегда испытывал ощущение какой-то сирости, ненужности; было холодновато, и все фрески, занавесы, мебельная обивка, все шандалы, барабан и прочий скудный скарб помещения, — все это пахло бело-винным перегаром.

Ночью публика приносила свои запахи духов, белья, табаку и прочего, — обогревала помещение, пересиливала полугар и перегар... Итак, акмеисты: то есть Ахматова, Гумилев, Мандельштам — и потом так называемые «мальчики» из «Цеха Поэтов» — Георгий Иванов, Георгий Адамович; потом другие «примыкавшие» — будущие ученые, как-то В. Гиппиус, В. Жирмунский, — и сколько еще других! — одни чаще, другие реже, — но все отдавали дань «Бродячей собаке».

Нам (мне, и Мандельштаму, и многим другим тоже) начинало мерещиться, что весь мир, собственно, сосредоточен в «Собаке», что нет иной жизни, иных интересов, чем «Собачьи».

«Лишь Блок, — говорил Пяст, — никогда не появлялся в «Собаке», всегда оставаясь „дневным человеком“...»

18 февраля 1912 года в редакции «Аполлона» состоялось заседание «Общества ревнителей художественного слова», на котором выступили Вяч. Иванов и А. Белый с докладами о символизме. Гумилев парировал выступлением, в котором четко сформулировал свое полное обособление от символизма. Это выступление стало фактически официальным утверждением нового направления в поэзии. Гумилев провозгласил акмеизм (А. Белый утверждает, что слово «акмеизм», от греческого «акме», обозначающего не только «цвести», но и вершину чего-либо, придумал он в присутствии Вяч. Иванова, а Гумилев охотно подхватил его) и стал его

признанным лидером, а журнал «Аполлон» и маленький журнал «Гиперборей», созданный «Цехом Поэтов», в частности Гумилевым, в конце 1912 года и просуществовавший до конца 1913-го, — его выразителями. И хотя в февральском номере «Гиперборея» за 1913 год появилась редакционная заметка: «В опровержение появившихся в печати неверных сведений, редакция считает необходимым заявить, что «Гиперборей» не является ни органом «Цеха Поэтов», ни журналом поэтов-акмеистов. Печатая стихотворения поэтов, примыкающих к обеим названным группам, на равных основаниях с другими, редакция принимает во внимание исключительно художественную ценность произведений, независимо от теоретических воззрений их авторов», — в «Гиперборее», в основном, но и в «Аполлоне» печатались стихотворения поэтов нового направления.

День 18 февраля 1912 года стал днем окончательного разрыва отношений Гумилева и Вяч. Иванова.

В сентябрьском номере «Аполлона» за 1912 год Гумилев впервые употребил слово «акмеизм» в печати, а в первом номере «Аполлона» за 1913 год опубликовал статью «Наследие символизма и акмеизм».

«Тогда же не только ему (вместе с небольшим кругом единомышленников), но и многим казалось, что разрушение символизма означает не более и не менее как кризис всей русской поэзии. Это была распространенная аберрация зрения: символизм отождествлялся со всем литературным и художественным миром. Иные из художников, те, что, находясь в недрах символизма, действительно переживали острейший и мучительный кризис, вышли из него обновленными новым знанием жизни и искусства. Гумилеву казалось, что акмеизм — единственный выход из «катастрофы» и что ему, как Адаму, предстояло начать новую жизнь на новой земле Поэзии» (*А. Павловский.* Николай Гумилев. Вступительная статья к однотомнику Гумилева в Большой серии «Библиотеки поэта»).

Стихи Гумилева, публиковавшиеся в «Аполлоне» в 1910—1911 годах, вошли в его книгу «Чужое небо». Эта книга — итог выраженных Гумилевым принципов нового литературного направления. В книгу Гумилев, вопреки своему обычаю, включил не только свои стихи, но и переводы пяти стихотворений Теофиля Готье, чтобы усилить, утвердить акмеистическое направление. Увлекаясь западным искусством и, в частности, занимаясь переводами Готье, Гумилев увидел в нем безу-

пречного акмеиста и постоянно повторял, словно внушал как совершенную формулу акмеизма одну из любимых строф стихотворения Готье «Искусство»:

Искусство тем прекрасней,
Чем взятый материал
Бесстрастней —
Стих, мрамор иль металл.

Новую книгу Гумилева «Чужое небо» заметили — о нем писали, говорили, его хвалили. Кузмин: «Это взгляд, юношески-мужественный, «новый», первоначальный для каждого поэта взгляд на мир, кажущийся юным, притом с улыбкою, — есть признание очень знаменательное и влекущее за собою, быть может, важные последствия. Своей новой книгой Гумилев открыл широко двери новым возможностям для себя и новому воздуху».

Гумилев послал сборник А. Блоку: «Александру Александровичу Блоку с искренней дружественностью. *Н. Гумилев*».

Блок ответил письмом: «Многоуважаемый Николай Степанович! Спасибо Вам за книгу. «Я верил, я думал» и «Туркестанских генералов» я успел давно полюбить по-настоящему, перелистываю книгу и думаю, что полюблю еще многое. Душевно преданный Вам *А. Блок*».

Из дневника Лукницкого

4.01.1925

Из разговора о Гумилеве записываю следующие слова АА: «„Цех“ собой знаменовал распадение этой группы — Кузмина, Зноско, Потемкина, Ауслендера. Они постепенно стали реже видеться, Зноско перестал быть секретарем «Аполлона», Потемкин в «Сатирикон» ушел, Толстой в 1912 году, кажется, переехал в Москву жить совсем... Появилась совсем другая ориентация... эта компания была как бы вокруг Вячеслава Иванова, а новая — была враждебной «башне» (Вячеслав тоже уехал в 1913 году в Москву жить. Пока он был здесь, были натянутые отношения). Здесь новая группировка образовалась: Лозинский, Мандельштам, Нарбут, Зенкевич и т. д. Здесь уже меньше было ресторанов, таких — «Альбертов», больше заседаний «Цеха»... Менее снобистской была компания».

Значительным событием в жизни Гумилева стал и выход в свет книги А. Ахматовой «Вечер». Гордость, беспокойство, радость, ревность — мы можем только гадать, какие чувства испытал Гумилев.

По словам Павлович[1], Гумилев искренне думал, что «быть поэтом женщине — нелепость». Но, прочитав «Вечер», был ошеломлен: «Что ты, Аничка — готовый поэт». И еще он говорил: «Ахматова такой значительный человек, что нельзя относиться к ней только как к женщине».

Из дневника Лукницкого

13.1.1925

Н. А. Шишкина мне сообщила, что Николай Степанович, рассказывая ей об АА, сказал следующую фразу: «Ведь это я ее сделал. Я просматривал ее стихи, говорил, что они безвкусны, заставляя ее переделывать их... она самоуверенно спорила».

Оставив в стороне основания, по которым Н. А. Шишкина, давая мне такие сведения, могла быть небеспристрастной к АА, я приведу другое сообщение — Б. С. Мосолова. Давая мне воспоминания о Николае Степановиче (осенью 1925 г.), он сказал, что в годы 1910—1912 на «башне» В. Иванова и в «Бродячей собаке» многие иронически называли Н. Гумилева — «Н. С. Ахматов», желая показать обратное влияние, и раз, услышав это, АА была крайне обижена.

Вопрос общения двух поэтов чрезвычайно сложен. «Никакой блеск собственных его рифм и метафор не помог убедить ее, что нельзя вить семейное гнездо, когда на очереди высокие поэтические задачи. Помощница нужна ему, нужен оруженосец, спутник верный, любовь самоотреченная нужна, а не женская, ревнивая, к себе самой обращенная воля...»

Как воздух нужны Гумилеву путешествия — для жизни, для творчества... быть может, ему казалось — путешествие успокоит обиды, угнетавшие их обоих, ревность, неверность... Как знать, все в их жизни может уравновеситься... Он предлагает жене поехать в Италию.

---

[1] Надежда Александровна Павлович (1895—1980) — поэтесса, близкая блоковскому окружению.

Из дневника Лукницкого

(без даты)

АА: «Перед отъездом в Италию в 12 году Н. С. купил мне книгу Густава Флобера «Мадам Бовари», чтобы я читала в дороге. Но я не выдержала и прочла в несколько дней до отъезда...»

Кажется, все складывалось удачно, радостно. Они были вместе... и тем страшнее признание Ахматовой: «Я не могу ясно вспомнить Италию... может быть, мы были уже не так близки с Николаем Степановичем».

Что же произошло? Может быть, старые обиды никак не успокоятся, и ревность мучит обоих, причиняют боль неосторожные слова — много ли надо для расставанья?!

Ничего не случилось — и случилось все: они уходили друг от друга. И когда в конце апреля вышло «Чужое небо», один экземпляр друзья доставили Гумилеву во Флоренцию, с удивлением узнав, что Анна Андреевна живет в Риме...

Возвратившись из Италии, Гумилев сообщил Брюсову: «Литературный Петербург очень интересует теперь возможность новых группировок, и по моей заметке, а также отчасти по заметке Городецкого в «Речи», Вы можете судить, какое место в этих группировках отводится Вам. Я надеюсь, что альманах «Аполлон» окажется в значительной степени под влиянием этих веяний».

В конце мая Гумилев уехал в Слепнево работать. Он выполнял заказ К. И. Чуковского — перевел Оскара Уайльда по подстрочнику. В июле съездил в Москву, был в редакции журнала «Русская мысль».

Поскольку царскосельский дом на лето сдавали дачникам, то, вернувшись в августе из Слепнева, Гумилевы поселились в Петербурге в меблированных комнатах «Белград».

18 сентября 1912 года в родильном приюте императрицы Александры Федоровны на 18-й линии Василь-

евского острова у Анны Андреевны и Николая Степановича родился сын — Лев.

Из дневника Лукницкого

23.03.1925

АА и Николай Степанович находились тогда в Ц. С. (Царском Селе. — *В. Л.*). АА проснулась очень рано, почувствовала толчки. Подождала немного. Еще толчки. Тогда АА заплела косы и разбудила Николая Степановича: «Кажется, надо ехать в Петербург». С вокзала в родильный дом шли пешком, потому что Николай Степанович так растерялся, что забыл, что можно взять извозчика или сесть в трамвай. В 10 ч. утра были уже в родильном доме на Васильевском острове.

А вечером Николай Степанович пропал. Пропал на всю ночь. На следующий день все приходят к АА с поздравлениями. АА узнает, что Николай Степанович дома не ночевал. Потом наконец приходит и Николай Степанович, с «лжесвидетелем». Поздравляет. Очень смущен.

Вспоминает В. Срезневская: «Конечно, они были слишком свободными и большими людьми, чтобы стать парой воркующих «сизых голубков». Их отношения были скорее тайным единоборством. С ее стороны — для самоутверждения как свободной от оков женщины; с его стороны — желание не поддаться никаким колдовским чарам, остаться самим собою, независимым и властным над этой вечно, увы, ускользающей от него женщиной, многообразной и не подчиняющейся никому.

Я не совсем понимаю, что подразумевают многие люди под словом «любовь». Если любовь — навязчивый, порою любимый, порою ненавидимый образ, притом всегда один и тот же, то смею определенно сказать, что если была любовь у Николая Степановича — а она, с моей точки зрения, сквозь всю его жизнь прошла, — то это была Ахматова. Оговорюсь: я думаю, что в Париже была еще так называемая «Синяя звезда». Во всяком случае, если нежность — тоже любовь, то «Синяя звезда» была тоже им любима, и очень нежно. Остальное, как бы это ни называть, вызывало у него улыбку и шутливый тон.

Но разве существует на свете моногамия для мужчин? Я помню, раз мы шли по набережной Невы с Колей и мирно беседовали о чувствах мужчин и женщин, и он сказал: «Я знаю только одно, что настоящий мужчина — полигамист, а настоящая женщина моногамична». — «А вы такую женщину знаете?» — спросила я. «Пожалуй, нет. Но думаю, что она есть», — смеясь ответил он. Я вспомнила Ахматову, но, зная, что это больно, промолчала.

У Ахматовой большая и сложная жизнь сердца... Но Николай Степанович, отец ее единственного ребенка, занимает в жизни ее сердца скромное место. Странно, непонятно, может быть, и необычно, но это так».

Вскоре Гумилев возобновил занятия в университете, но не на юридическом факультете, где формально числился студентом с 1909 года, а теперь уже на романо-германском отделении историко-филологического факультета, точнее, стал посещать семинары профессоров Шишмарева и Петрова, изучать старофранцузскую поэзию.

По инициативе Гумилева в университете был организован «Кружок романо-германистов» под руководством профессора Петрова, для изучения старофранцузских поэтов. Он сам организовал «Кружок изучения поэтов» и попросил профессора И. И. Толстого быть руководителем. Предложил программу занятий, основанную на формальном методе изучения, прочел доклад о Теофиле Готье.

Чтобы жить ближе к университету, Гумилевы сняли в Тучковом переулке недорогую комнату и поселились в ней. Николай Степанович начал брать уроки латинского языка, а для того, чтобы читать английских классиков, занимался и английским.

В октябре вышел наконец созданный на базе «Цеха Поэтов» первый номер журнала «Гиперборей», редакция которого сначала помещалась на квартире Лозинского, а летом переехала на Разъезжую, 3. Основное место в журнале занимали стихи и статьи, посвященные вопросам нового направления в поэзии.

«Гиперборей» был гумилевским журналом, отстаивающим его взгляды на поэзию, но он показывал также, что внутри нового течения могут быть различные направления, которые не вполне уживаются друг с другом. Общность разностей — вот принцип журнала.

Чтобы наглядно показать этот принцип, в первом номере были помещены стихотворения Гумилева и Городецкого — о Фра Беато Анджелико.

Городецкий упрекал Н. С. Гумилева, браня его «за неожиданную и эксцентрическую для акмеиста любовь к смиренному художеству Фра Беато Анджелико».

Гумилев:

Преданье есть: он растворял цветы
В епископами освященном масле...

Есть Бог, есть мир, они живут вовек,
А жизнь людей мгновенна и убога,
Но все в себя вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога.

Городецкий:

...Нет, он не в рост Адаму акмеисту!
Он только карлик кукольных комедий,
Составленных из вечной и пречистой
Мистерии, из жертвенных трагедий.

Ужель он рассказал тебе так мало
Из пламенной легенды христианской,
Когда в свой сурик и в свое сусало
Все красил с простотою негритянской?

Гумилеву были чужды напыщенность и красивости Городецкого. Так первый же номер «Гиперборея» представил двух противников-единомышленников.

Из дневника Лукницкого

14.12.1925

Шилейко: «Николай Степанович почему-то думал, что он умрет в 53 года. Я возражал, говоря, что поэты рано умирают или уж глубокими стариками (Тютчев, Вяземский). И тогда Николай Степанович любил развивать мысль, «что смерть нужно заработать и что природа скупа и из человека выжмет все соки и, выжав, — выбросит», и Николай Степанович этих соков чувствовал в себе на 53 года. Он особенно любил об этом говорить во время войны. «Меня не убьют, я еще нужен». Очень часто к этому возвращался. Очень характерная его фраза: «На земле я никакого страха не боюсь, от всякого ужаса можно уйти в смерть, а вот по смерти очень испугаться страшно». Стихотворение «Бродяги». Обычно он свои ощущения не стихами подкреплял, а после прозаического разговора — писал стихами.

Это давно было, в 1912 или 1913 году. Кто-то из очень солидных людей (не Струве) все хотел от него узнать по-толстовски, зачем писать стихи, когда яснее и короче можно сказать прозой. И тогда Николай Степанович, сердясь, говорил, что ни короче, ни яснее, чем в стихах, не скажешь. Это самая короткая и самая запоминающаяся форма — стихи.

Он же говорил, что в стихи нельзя играть, если в стихе сомнение — обязательно плохие стихи будут. И в том же 1912 году он говорил, что стихотворение не может быть написано с «нет». Отрицание не есть поэтическая форма, только утверждение...

Он никогда не лазил в... примечания. «Для того чтобы поэт понимал поэта, никаких комментариев не нужно».

В 1912 году написано:

Зимой 1911/12 — стихотворения: «Оборванец», «Маргарита», «Современность» (в Ц. С.), «Родос», «Укротитель зверей», «Она».

В конце мая, после возвращения из Италии, — стихотворения: «Птица, «Рим», «Пиза», «Фра Беато Анджелико».

Осенью — стихотворение «Памяти И, Ф. Анненского».

Напечатано:

Стихотворения: «Камень», «Капитаны», «Орел», «Приближается к Каиру судно...», «Товарищ», «Юный маг» (Антология современной поэзии. 2-е изд., Киев); «Закат». («Как змеи волны гнутся...») (Новое слово, СПБ., № 2); «Я не скорблю, так было надо...» (Аполлон, № 3); «Итальянские стихи» (?), «Рим», «Пиза» и «Генуя» (Русская мысль, № 7); «Памяти И. Ф. Анненского» (Аполлон, № 9); «Лежал истомленный на ложе болезни...» (Ежемесячное приложение к жур. «Нива», № 9); «Мне не нравится томность...», «Сон», «Вечерний медленный паук...», «Я в коридоре дней сомкнутых...», «Я жду, исполненный укоров...», «Какою музыкой мой слух взволнован...», «Вот я один в вечерний тихий час...» (Литературный альманах к-ва «Аполлон». СПБ.); «Сонет» из сб. «Чужое небо» (Новое слово, № 1); «Ты совсем, ты совсем снеговая...» (Новая жизнь, № 1); «Туркестанские генералы» и «Я верил, я думал...» (Русская мысль, № 1).

Переводы из О. Уайльда: «Могила Шелли», «Мильтону», «Федра», поэма «Сфинкс» (Уайльд О. Полн. собр. соч. Под. ред. К. И. Чуковского. Т. 4. Изд. т-ва А. Ф. Маркс, СПБ., 1912).

Вышел сборник стихов «Чужое небо» (изд-во «Аполлон», СПб.).

Рецензии: на «Осенние озера» М. Кузмина (часть рецензии — Аполлон, № 8; Бюллетени литературы и жизни, № 7); на «Скифские черепки» Е. Кузьминой-Караваевой (часть рецензии — Аполлон, № 6; Бюллетени литературы и жизни, № 3); на «Cor Ardens», ч. 2, В. Иванова (часть рецензии — Аполлон, № 6; Бюллетени литературы и жизни, № 2).

«Письма о русской поэзии»: первое — «А. Блок. Ночные часы. К-во „Мусагет"»; «Н. Клюев. Сосен перезвон. К-во „Знаменский и К°, М."»; «К. Бальмонт. Полное собрание стихотворений. Т. 8. К-во „Скорпион"»; «Поль Верлен. Собрание стихотворений. Перев.

В. Брюсова. К-во „Скорпион"»; «Поль Верлен. Записки вдовца. К-во „Альциона"»; «М. Веселкова-Кильштедт. Песни забытой усадьбы»; «В. Шершеневич. Весенние проталинки»; «Ив. Генигин. Стихотворения» (Аполлон, № 1). Второе — «В. Брюсов. Зеркало теней. К-во „Скорпион"»; «М. Зенкевич. Дикая порфира. К-во „Цех Поэтов»; «Е. Кузьмина-Караваева. Скифские черепки. К-во „Цех Поэтов"»; «Г. Иванов. Отплытие на о. Цитеру (?)» (Аполлон, № 3—4). Третье — «М. Цветаева. Волшебный фонарь. К-во „Оле Лукойе". М.»; «П. Радимов. Полевые псалмы. Казань, 1912»; «В. Курдюмов, Азра»; «А. Бурнакин. Разлука. Изд. 2-е, М., 1912»; «Саша Черный, Сатиры и лирика. Кн. 2-я. Изд-во „Шиповник"»; «П. Потемкин. Герань. Изд-во Корнфельда. СПб.» (Аполлон, № 5). Четвертое — «В. Иванов. Cor Ardens. Ч. 2. Изд-во „Скорпион"»; «Н. Клюев. Братские песни. Кн. 2. Изд-во „Новая Земля"»; «В. Нарбут. Аллилуйя. Изд-во „Цех Поэтов"»; «Гр. П. Бобринский. Стихи. СПб.»; «О. Уайльд. Сфинкс. Пер. Л. Дейча. Изд-во „Маски"» (Аполлон, № 6). Пятое — «А. Блок. Собрание стихотворений в 3-х книгах. Изд-во „Мусагет". М.»; «М. Кузмин. Осенние озера. Изд-во „Скорпион"» (Аполлон, № 8). Шестое — «С. Городецкий. Ива. Изд-во «Шиповник», СПб., 1913»; «Вл. Бестужев. Возвращенье. Изд-во «Цех Поэтов», 1913» (Аполлон, № 9). «Б. Гуревич. Вечно человеческое»; «Н. Животов. Южные цветы»; «Бронислав Кудиш. Лунные напевы»; «Мих. Левин. Juvenilia» (Аполлон, № 10).

В журнале «Аполлон» № 9 напечатана рецензия за подписью «Н. Г.» — «Драматические произведения бар. М. Ливен. Цезарь Борджиа. СПБ.», написанная, по-видимому, Н. Гумилевым.

В течение года напечатаны следующие отзывы об Н. Г.: рецензии на сб. «Чужое небо» — М. Чуносова (Новое слово, № 7); Вл. Нарбута (Новая жизнь, № 9); М. Кузмина (Аполлон, № 2); Бор. Садовского (Современник, № 4); С. Городецкого (Речь, № 283, от 15 октября); В. Брюсова (Русская мысль. В обзоре «Сегодняшний день русской поэзии»); без подписи (Гиперборей, № 1).

Оценка сб. «Жемчуга» в статье К. Чуковского «Русская литература за 1911 год» (Ежегодник газ. «Речь» за 1912 г.).

1913

И Апокалипсис здесь был написан...

По дневнику Лукницкого можно судить о спорах той зимы. В коротких, сухих, хронологически точных записях ощущается нервный, сильный, наполненный пульс дней. Листаешь записи — кажется, нет событий, вернее, нет сюжетов событий. Только одно наполняет зимние месяцы — разговоры: собрались, обсуждали, собрались... Но именно в них, в этих разговорах, — главный нерв, главное событие.

Поэты обсуждают пути развития поэзии — они ду-

мают о своей судьбе. Что же такое жизнь поэта, как не его стихи? Все то, что происходит вне стихов и вопреки стихам, — лишь жестоко потерянное время. Жизнь тогда полна и ярка, когда каждая секунда рождает желание стихов. Стихи для Гумилева — суть и смысл жизни. Сейчас пишется тяжело, мучительно, слова кажутся невыразительными, но есть надежда — придут новые слова, нужно искать и работать. Сколько уже было таких мучительно-безысходных, тоскливых тупиков, и каждая безнадежность была лишь началом нового пути. Надо двигаться дальше — но как? Он считает: нужен совершенно новый подход к стихам, к искусству, к жизни. Главная его мысль — высочайшая духовность человеческой жизни и поэзии. Он пишет: «Поэзия и религия — две стороны одной и той же монеты. И та и другая требуют от человека духовной работы. Но не во имя практической цели, как этика и эстетика, а во имя высшей, неизвестной им самим. Этика приспособляет человека к жизни в обществе, эстетика стремится увеличить его способность наслаждаться. Руководство же в перерождении человека в высший тип принадлежит религии и поэзии. Религия обращается к коллективу. Для ее целей, будь то построение небесного Иерусалима, повсеместное прославление Аллаха, очищение материи в Нирване, необходимы совместные усилия, своего рода работа полипов, образующая коралловый риф. Поэзия всегда обращается к личности. Даже там, где поэт говорит с толпой, — он говорит отдельно с каждым из толпы. От личности поэзия требует того же, чего религия от коллектива. Во-первых, признания своей единственности и всемогущества, во-вторых, усовершенствования своей природы. Поэт, понявший «трав неясный запах», хочет, чтобы то же стал чувствовать и читатель. Ему надо, чтобы всем была «звездная книга ясна» и «с ним говорила морская волна». Поэтому поэт в минуты творчества должен быть обладателем какого-нибудь ощущения, до него не осознанного и ценного. Это рождает в нем чувство катастрофичности, ему кажется, что он говорит свое последнее и самое главное, без познания чего не стоило земле и рождаться. Это совсем особенное чувство, иногда наполняющее таким трепетом, что оно мешало бы говорить, если бы не сопутствующее ему чувство победности, сознание того, что творить совершенные сочетания слов, подобные тем, которые некогда воскрешали мертвых, разрушали стены».

Духовность делает человека Человеком, Сверхчеловеком, то есть существом, полным творческих сил, желаний, чистых помыслов, благородных поступков, — эта идея всегда была близка и дорога Гумилеву. Но в ранних стихах сила и благородство проверялись сопротивлением жизни, бесстрашием перед случайностями и горестями, сейчас же для него смысл — в духовной значительности, в духовной высоте и душевной щедрости человека, в его нравственной чистоте.

«...От всякого отношения к чему-либо, к людям ли, к вещам ли или мыслям, мы требуем прежде всего, чтобы оно было целомудренным. Под этим я подразумеваю право каждого явления быть самоценным, не нуждаться в оправдании своего бытия, и другое право — более высокое — служить другим.

Гомер оттачивал свои гекзаметры, не заботясь ни о чем, кроме гласных звуков и согласных, цезур и спондеев, и к ним приноравливал содержание. Однако он счел бы себя плохим работником, если бы затуманенные взоры девушек не увеличивали красоту мира».

Из дневника Лукницкого

18.07.1925

Большой разговор — о «Цехе», об акмеизме, о том, что такое акмеизм. АА: «Недоброво: акмеизм — это личные черты творчества Николая Степановича. Чем отличаются стихи акмеистов от стихов, скажем, начала XIX века? Какой же это акмеизм? Реакция на символизм просто потому, что символизм под руку попадался. Николай Степанович — если вчитаться — символист. Мандельштам: его поэзия — темная, непонятная для публики, византийская, при чем же здесь акмеизм? Ахматова: те же черты, которые дают ей Эйхенбаум и другие, — эмоциональность, экономия слов, насыщенность, интонация — разве все это было теорией Николая Степановича? Это есть у каждого поэта XIX века, и при чем же здесь акмеизм? С. Городецкий: во-первых, очень плохой поэт, во-вторых, он был сначала мистическим анархистом, потом — теории Вяч. Иванова, потом — акмеист, потом «Лукоморье» и «патриотические» стихи, а теперь — коммунист. У него своей индивидуальности нет. В 1913—1914 годах уже нам было

странно, что Городецкий — синдик «Цеха», как-то странно... В «Цехе» все были равноправны, спорили. Не было такого «начальства». Гумилева или кого-нибудь. Мало вышло? Уже Гумилева, Мандельштама — достаточно. В «Цехе» 25 человек — значит, 1 на 10 вышел, а у Случевского было человек 40 — и никого. А из «Звучащей раковины» или 3-го «Цеха» разве вышел кто-нибудь? «Звучащая раковина» — ужасные стихи, ужасный сборник «Город». Какой-нибудь кружок седьмого года ощущался очень плохим. Мы видели все его недостатки. А если стихи «Звучащей раковины» не ощущали — это потому, что нет перспективы... «Гиперборей»: стихи лучше, чем в других журналах того времени. Дал ли что-нибудь «Цех»? Конечно, что-то дал просто потому, что там спорили... указывая на явные недостатки. Но Николай Степанович мог прийти так же к Мандельштаму или к любому из нас. И ему сказали бы то же самое... А у других такого Бруни — не было, кому прочитать, он дожидался «Цеха», чтоб узнать мнение. И из них все равно ничего не вышло.

Василий Гиппиус: как тогда был под влиянием брата, так и теперь брата вспоминает все время в своих воспоминаниях. Тусклые сообщения. Помнит только, что он сам развивался, поэтому разговоры, суждения Николая Степановича некоторые помнит. У него больше ничего и не было... Неудачник... А был веселым, жизнерадостным, жизнь таким сделала...»

В чем же была суть выступлений Гумилева, — суть его программы? Гумилев считал: «символизм закончил свой круг развития и теперь падает», но гибель одного литературного стиля — рождение и начало другого — какого? Гумилев утверждает: «...на смену идет новое направление, как бы оно ни называлось, акмеизм (от слова акме — высшая степень чего-либо, цвет, цветущая пора) или адамизм (мужественно твердый и ясный взгляд на жизнь), — во всяком случае, требующее большего равновесия сил и более точного знания отношений между субъектом и объектом, чем то было в символизме». В чем же — новые принципы, основной смысл? Гумилев твердо убежден: сознавать самоценность каждого явления. «...Ощущая себя явлениями среди явлений... мы становимся причастны мировому ритму, принимаем все воздействия на нас, и в свою очередь воздействуем сами. Наш долг, наша воля, наше

счастье и наша трагедия — ежечасно угадывать то, чем будет следующий час для нас, для нашего дела, для всего мира, и торопить его приближение. И, как высшая награда, ни на миг не останавливая нашего внимания, грезится нам образ последнего часа, который не наступит никогда». Акмеизму чуждо духовное бунтарство: «Бунтовать... во имя иных условий бытия здесь, где есть смерть, так же странно, как узнику ломать стену, когда перед ним открытая дверь. Здесь этика становится эстетикой, расширяясь до области последней. Здесь индивидуализм в высшем своем напряжении творит общественность. Здесь Бог становится Богом Живым, потому что человек почувствовал себя достойным такого Бога. Здесь смерть — занавес, отделяющий нас от актеров, от зрителей, и во вдохновении игры мы презираем трусливое заглядывание — а что будет дальше?»

Гумилев провозглашает еще один важный принцип:

«Разумеется, познание Бога, прекрасная дама Теология останется на своем престоле, но ни ее низводить до степени литературы, ни литературу поднимать в ее алмазный холод акмеисты не хотят. Что же касается ангелов, демонов, стихийных и прочих духов, то они входят в состав материала художника и не должны больше земной тяжестью перевешивать другие взятые им образы».

«Вся красота, все священное значение звезд в том, что они бесконечно далеки от земли и ни с какими успехами авиации не станут ближе... Детски-мудрое, до боли сладкое ощущение собственного незнания — вот то, что дает нам неведомое».

Может быть, Гумилеву удалось сформулировать один из самых глубоких законов человеческой жизни, вернее, условие счастья жизни — смиренно признать существование тайны и не все стремиться объяснить и разгадать, может быть, в существовании таинственных явлений и настроений — залог бодрости человеческого духа, его неукротимости и его романтичности?! Принцип акмеизма — «всегда помнить о непознаваемом, но не оскорблять своей мысли о нем более или менее вероятными догадками». Иногда разгадки или попытки разгадок, что случается чаще всего, упрощают жизнь, но делают ее бледнее и беднее.

«Всякое направление испытывает влюбленность к тем или иным творцам и эпохам. Дорогие могилы свя-

зывают людей больше всего. В кругах, близких к акмеизму, чаще всего произносятся имена Шекспира, Рабле, Виллона (Вийона) и Теофиля Готье. Подбор этих имен не произволен. Каждое из них — краеугольный камень для здания акмеизма, высокое напряжение той или иной его стихии. Шекспир показал внутренний мир человека, Рабле — тело и его радости, мудрую физиологичность, Виллон поведал нам о жизни, нимало не сомневающейся в самой себе, хотя знающей все — и Бога, и порок, и смерть, и бессмертие, Готье для этой жизни нашел в искусстве достойные одежды безупречных форм».

Такое соединенье имен и авторитетов вызвало у многих недоумение, протест: как можно соединить несоединяемое? Может ли быть такое рассредоточение вкусов основой нового, живого, деятельного направления — кумиры слишком разные и слишком исключающие друг друга для стройного единства, строгого вкуса? Но те, кто отвергал, не чувствовали самого главного — того, что привлекало в этих мастерах Гумилева, — удивительное чувство жизни, реальности жизни человека. «Соединить в себе эти четыре момента — вот та мечта, которая объединяет между собою людей, так смело назвавших себя акмеистами».

Гумилеву было двадцать шесть лет, когда он, обдумав и тщательно взвесив все, выступил со своей программой. Конечно же несколько возбужденный тон и повышенная страстность изложения вызывали порой снисходительные усмешки, и тем не менее — позиция обоснована Гумилевым четко и ясно.

Гумилев убежден: как бы великолепны, мудры и прекрасны ни были идеи и желания, они пропадут, если не найдут достойного способа выражения, и поэт как мыслитель, творец не выразит себя, если не сможет найти достойную форму достойным мыслям и глубоким чувствам. Гумилев болезненно остро понимает и ощущает это, вот почему именно сейчас, думая о новом направлении поэзии, он так много значения придает ремеслу.

«Поэт формы! Вот слово, которое утилитаристы бросают всегда истинным художникам. Что касается меня, то пока мне не отделят отчетливо в какой-либо фразе ее форму от содержания, я буду утверждать, что это — два слова, лишенных смысла. Подобно тому как нельзя извлечь из физического тела качества, его образующие, то есть его цвет, протяженность, плотность, не сведя

его к пустой абстракции, — одним словом, не уничтожив его, так нельзя отнять форму у идеи, ибо идея существует только в силу своей формы. Невозможно представить себе идею, которая не имела бы формы, так же как нет формы, которая не выражала бы идеи».

Внимание к слову, к возможностям слова и вера в магию слов всегда были важны для Гумилева, но этой зимой его обеспокоенность словотворчеством приобретает более ясные и четкие формы выражения. Он пытается выстроить теорию технологии творчества. Для чего? Для высшего мастерства, которое одно позволит не расточать богатства, данные Богом, Природой — слову, а приумножать его. Ему близки слова Делакруа: «Надо неустанно изучать технику своего искусства, чтобы не думать о ней в минуты творчества».

В «Письмах о русской поэзии» ясно и отчетливо прослеживается эта мысль Гумилева. О чем бы он ни писал, чье бы творчество ни разбирал и ни оценивал, он непременно будет говорить о ремесле, об умении мастера выразить себя в слове.

Зима 1912—1913 года. Рабочий ритм Гумилева жесткий, как всегда. Времени катастрофически не хватает, но не хватает и сил отказаться хотя бы от части взятых на себя обязательств и дел. Гумилев не умеет и не хочет ничем жертвовать. Ему кажется, он прав в своем состязании со временем: занятый человек тем и отличается от праздного, что успевает все. Гумилеву всегда была близка формула: жить надо не «слегка», а с возможной напряженностью всех сил, физических и духовных. Тратя максимум сил, мы не истощаем себя, а умножаем источники сил.

Главное для него сейчас — действовать. Идея, которую он так долго и трепетно вынашивал, уже бродит в мире, тревожит умы, но ее нужно оберегать и защищать. За идеями, как и за детьми, нужен уход, им нужно внимание, только тогда они становятся полноценными, сильными, красивыми. На каждом заседании «Цеха Поэтов» он не устает повторять, обосновывать свои принципы понимания искусства, методы совершенствования поэтического мастерства — ибо только в стре-

млении к совершенству можно добиться счастья обладания миром, искусством, своим духом.

На заседаниях «Цеха» он говорит о технике поэтического творчества:

«Происхождение отдельных стихотворений таинственно схоже с происхождением живых организмов. Душа поэта получает толчок из внешнего мира, иногда в незабываемо яркий миг, иногда смутно, как зачатье во сне, и долго приходится вынашивать зародыш будущего творения, прислушиваясь к робким движениям еще не окрепшей новой жизни. Все действует на ход ее развития — и косой луч луны, и внезапно услышанная мелодия, и прочитанная книга, и запах цветка. Все определяет ее будущую судьбу. Древние уважали молчавшего поэта, как уважают женщину, готовящуюся стать матерью.

Наконец, в муках, схожих с муками деторождения (об этом говорит Тургенев), появляется стихотворение. Благо ему, если в момент его появления поэт не был увлечен какими-нибудь посторонними искусству соображениями, если, кроткий как голубь, он стремился передать уже выношенное, готовое и, мудрый как змей, старался заключить все это в наиболее совершенную форму.

Такое стихотворение может жить века, переходя от временного забвения к новой славе и даже умерев, подобно царю Соломону, долго еще будет внушать священный трепет людям. Такова Илиада...

Но есть стихотворения невыношенные, в которых вокруг первоначального впечатления не успели наслоиться другие, есть и такие, в которых, наоборот, подробности затемняют основную тему, они — калеки в мире образов, и совершенство отдельных их частей не радует, а скорее печалит, как прекрасные глаза горбунов. Мы многим обязаны горбунам, они рассказывают нам удивительные вещи, но иногда с такой тоской мечтаешь о стройных юношах Спарты, что не жалеешь их слабых братьев и сестер, осужденных суровым законом. Этого хочет Аполлон, немного страшный, жестокий, но безумно красивый бог.

Что же надо, чтобы стихотворение жило, и не в банке со спиртом, как любопытный уродец, не полужизнью больного в креслах, но жизнью полной и могучей, чтобы оно возбуждало любовь и ненависть, заставляло мир считаться с фактом своего существования? Каким требованиям должно оно удовлетворять?

Я ответил бы коротко: *всем*. В самом деле, оно должно иметь мысль и чувство — без первой самое лирическое стихотворение будет мертво, а без второго даже эпическая баллада покажется скучной выдумкой (Пушкин в своей лирике и Шиллер в своих балладах знали это) — мягкость очертаний юного тела, где ничто не выделяется, ничто не пропадает, и четкость статуи, освещенной солнцем; простоту — для нее одной открыто будущее, и — утонченность, как живое признание преемственности от всех радостей и печалей прошлых веков, и еще превыше этого — стиль и жест.

В стиле Бог показывается из своего творения, поэт дает самого себя, но тайного, неизвестного ему самому, позволяет догадаться о форме своих рук, о цвете своих глаз...

Под жестом в стихотворении я подразумеваю такую расстановку слов, подбор гласных и согласных звуков, ускорений и замедлений ритма, что читающий стихотворение невольно становится в позу его героя, перенимает его мимику и телодвижения и, благодаря внушению своего тела, испытывает то же, что сам поэт, так что мысль изреченная становится уже не ложью, а правдой.

...Чтобы быть достойным своего имени, стихотворение, обладающее перечисленными качествами, должно сохранить между ними полную гармонию и, что важнее всего, быть вызванным к жизни не «пленной мысли раздражением», а внутренней необходимостью, которая дает ему душу живую — темперамент...

Одним словом, стихотворение должно являться слепком прекрасного человеческого тела, этой высшей ступени представляемого совершенства: недаром же люди даже Господа Бога создали по своему образу и подобию. Такое стихотворение самоценно, оно имеет право существовать во что бы то ни стало. Так для спасения одного человека снаряжаются экспедиции, в которых гибнут десятки других людей. Но, однако, раз он спасен, он должен, как и все, перед самим собой оправдывать свое существование».

Только стремясь к совершенству, можно создать прекрасные строчки, картины, мелодии. Только полностью отдав себя, ты получишь мир, только сгорев сам, ты зажжешь в других сердцах искру. «...Прекрасные стихотворения, как живые существа, входят в круг нашей жизни, они то учат, то зовут, то благословляют. Среди них есть ангелы-хранители, мудрые вожди, иску-

сители-демоны и милые друзья. Под их влиянием люди любят, враждуют, умирают».

Одновременно со своими выступлениями, занятиями в университете Гумилев загружен и журналистской деятельностью — он готовит выпуск «Аполлона». И главное — манифест акмеистов: «Наследие символизма и акмеизм». В этой статье четко выражена поэтическая и жизненная позиция Гумилева. Он много раз уже «проговаривал» ее, в «Аполлоне» он получил возможность ее обнародовать, громко и официально заявить свою программу.

Из дневника Лукницкого

3.07.1927

АА: «Когда мы возвращались откуда-то домой (1913), Николай Степанович мне сказал про символистов: „Они как дикари, которые съели своих родителей и с тревогой смотрят на своих детей“».

По-разному встретили в литературных кругах официальную программу акмеистов: одни упрекали ее в эклектичности, неясности, в отсутствии строгой логической системы, другие ставили в упрек искусственность, ибо нельзя придумать школу и направление, третьи... В общем, споры разгорелись. Акмеизм отстаивал себя прекрасными стихами. В журнале «Гиперборей» появляются из номера в номер стихи блестящие, имена поэтов-акмеистов приобретают все большую и большую популярность. Пожалуй, больше всего в этом направлении нравится дерзость в переустройстве мира и искусства и, одновременно с этим, стремление к высоким чувствам и глубоким мыслям, идея нравственного преобразования человека и мира.

Мандельштам, наверное, точнее и проще многих определил суть акмеизма: «...нет равенства, нет соперничества, есть сообщество сущих в заговоре против пустоты и небытия.

Любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя — вот высшая заповедь акмеизма.

Логика есть царство неожиданности. Мыслить логически — значит непрерывно удивляться. Мы полюбили

музыку доказательств. Логическая связь для нас не песенка о чижике, а симфония с органом и пением, такая трудная и вдохновенная, что дирижеру приходится напрягать все свои способности, чтобы сдержать исполнителей в повиновении.

Как убедительна музыка Баха! Какая мощь доказательства! Доказывать и доказывать без конца: принимать в искусстве что-нибудь на веру — недостойно художника, легко и скучно... Мы не летаем, мы поднимаемся только на те башни, какие мы сами можем построить.

Средневековье дорого нам потому, что обладало в высокой степени чувством грани и перегородок. Оно никогда не смешивало различных планов и к потустороннему относилось с огромной сдержанностью. Благородная смесь рассудочности и мистики и ощущение мира как живого равновесия роднит нас с этой эпохой. Будем же доказывать свою правоту так, чтобы в ответ нам содрогалась вся цепь причин и следствий от альфы до омеги, научимся носить „легче и вольнее подвижные оковы бытия“».

У Гумилева появляются новые знакомства. Более других ему симпатичны историки В. К. Шилейко и В. В. Срезневский, и разговоры с учеными оживляют его давний интерес к истории.

«История — самый опасный продукт, вырабатываемый химией интеллекта. Свойства ее хорошо известны. Она вызывает мечты, опьяняет народы, порождает в них ложные воспоминания, усугубляет их рефлексы, растравляет их старые язвы, ведет их к мании величия или преследования.

Каждый историк трагической эпохи протягивает нам отрубленную голову, которая является для него предметом особой симпатии.

Однако есть исторические факты, подлинность которых никто из историков не оспаривает. Карл Великий был коронован императором в 800 году, и Марьянинская битва произошла 15 сентября 1515 года. Это так, но отбор событий и документов позволяет историку излагать историю, руководствуясь своими предрассудками и симпатиями. История оправдывает все, что пожелает. Строго говоря, она не учит ничему, ибо содержит в себе все и дает примеры всему. Вот почему нет ничего смехотворнее, чем рассуждать об «уроках истории». Из них

можно извлечь любую политику, любую мораль, любую философию.

Так называемые точные науки делают возможным предвидение внутри законченной системы и на определенном уровне, однако в истории изолировать системы мы не можем, а уровень не от нас зависит. Поэтому всякое предсказание есть обман.

История не наука, это искусство — место ее среди муз. Кто в расчете на непостижимое будущее решает строить свои действия, основываясь на неведомом прошлом, тот погиб».

Наверное, Гумилеву нравились беседы с учеными-историками, парадоксальные, непривычные мнения. Новые люди, как и путешествия, всегда дарили ему новые идеи и новые ощущения. Сближение с новым человеком — всегда путешествие в другой мир. Он жаждал увлекательных разговоров, как всегда жаждал приключений и новых путешествий. И его вечная мечта — Африка — жила в нем.

Приехал в Петербург доктор Кохановский (ученый-путешественник. — *В. Л.*), был в гостях у Гумилева. Предупреждал его о трудностях путешествия в период дождей...

Из африканского дневника Гумилева: «Приготовления к путешествию заняли месяц упорного труда. Надо было достать палатку, ружья, седла, вьюки, удостоверения, рекомендательные письма и пр. и пр.

Я так измучился, что накануне отъезда весь день лежал в жару. Право, приготовления к путешествию труднее самого путешествия».

Вспоминает Георгий Иванов: «Последняя его экспедиция (за год перед войной) была широко обставлена на средства Академии наук. Я помню, как Гумилев уезжал в эту поездку. Все было готово, багаж отправлен вперед, пароходные и железнодорожные билеты заказаны. За день до отъезда Гумилев заболел — сильная головная боль, 40° температуры. Позвали доктора, тот сказал, что, вероятно, тиф. Всю ночь Гумилев бредил. Утром на другой день я навестил его. Жар был так же силен, сознание не вполне ясно: вдруг, переби-

вая разговор, он заговорил о каких-то белых кроликах, которые умеют читать, обрывал на полуслове, опять начинал говорить разумно и вновь обрывал.

Когда я прощался, он не подал мне руки: «Еще заразишься» — и прибавил: «Ну, прощай, будь здоров, я ведь сегодня непременно уеду».

На другой день я вновь пришел его навестить, так как не сомневался, что фраза об отъезде была тем же, что читающие кролики, т. е. бредом.

Меня встретила заплаканная Ахматова: «Коля уехал».

За два часа до отхода поезда Гумилев потребовал воды для бритья и платье. Его пытались успокоить, но не удалось. Он сам побрился, сам уложил то, что осталось неуложенным, выпил стакан чаю с коньяком и уехал».

Из дневника Лукницкого

28.12.1967

У меня был подлинный (африканский. — *В. Л.*) дневник Гумилева — тетрадь с обожженными углами, плотная, размера листа почтовой бумаги. Эту тетрадь я, как и ряд других материалов, передал в начале войны А. А. Ахматовой на хранение, и она, вместе со всеми материалами, пропала. Впоследствии АА, долго уклонявшаяся от прямого ответа мне, только в 1962 году рассказала, что все мои материалы, ей переданные на хранение, она, в свою очередь, передала на хранение Серг. Бор. Рудакову, что тот, кому она передала, погиб в штрафной роте, а все материалы остались в руках у его жены Лины Самойловны Рудаковой-Финкельштейн, которая, ничего не понимая в исторической ценности их, а видя в них только материальную ценность, скрывает их у себя и даже из-под полы распродает по высоким ценам каким-то неведомым АА покупателям поштучно.

АА, дав адрес ее, сказала, что не советует обращаться к этой особе, ибо та, понимая, что совершила воровство, с перепугу может даже уничтожить все, чтоб не быть обвиненной в воровстве и спекуляции...

Сегодня, перебирая свой архив, я нашел в нем листок, со сделанными мною в свое время выписками из африканского дневника Н. Г. <...>

Помню: дневник был подробным, записано было очень много. А эта выписка сделана из него только для обозначения некоторых моментов хронологии путешествия.

В моей (неподписанной) статье, опубликованной в словаре Б. П. Козьмина об экспедиции этой, мною сказано:

«Весной 1913 г. по представлению ак. В. Радлова был командирован Академией наук в качестве начальника африканской экспедиции на Сомалийский полуостров для изучения неисследованных племен галла, харраритов и др. и для составления коллекций предметов восточноафриканского быта по маршруту: Джибути — Дире-Дауа — Харрар — Шейх-Гуссейн — Гиннр. Через полгода вернулся в Россию, привезя коллекции для Музея антропологии и этнографии.

Экспедиция в Африку Гумилева и командированного в том же году Кохановского была первой снаряженной Музеем антропологии и этнографии экспедицией за все время его существования...»

Гумилев получил командировку от Музея антропологии и этнографии Академии наук для поездки в Абиссинию с научными целями. Директор музея В. Радлов написал письмо Чемерзину, в котором попросил русского посланника в Абиссинии получить для Гумилева рекомендательное письмо от абиссинского правительства. Кроме того, Радлов направил просьбу в Главное артиллерийское управление выдать Гумилеву из Арсенала пять солдатских винтовок и 1000 патронов к ним. Академия наук ассигновала для экспедиции Гумилева 600 рублей.

10 апреля 1913 года в 7 часов вечера на пароходе Добровольного флота «Тамбов» Гумилев и его любимый племянник «Коля-маленький» — Н. Сверчков вышли из Одессы и четырнадцать дней находились в море. Прибыли в Джибути. В Джедде ловили акулу. Это действо изложено в рассказе, напечатанном в «Ниве» в 1914 году под названием «Ловля акулы» и в книге Гумилева «Тень от пальмы».

Из Джибути ехали сначала в пассажирском, потом в товарном, потом на дрезине. Приехав в Дире-Дауа, взяли переводчика и ашкера (проводника). Дальше путь в Харрар — верхами. В Харраре купили мулов, пе-

ременили переводчика. Ездили обратно в Дире-Дауа, наняли ашкеров. Вернулись в Харрар, где в ожидании разрешения идти в Атуси жили у турецкого консула, с которым познакомились на пароходе «Тамбов». Собирали коллекции, покупая различные предметы быта. Фотографировали, были в Индийском театре, обедали у Камиль Галеба, были у Дедязмача Тафари, фотографировали его и принцессу Лидж Иассу. Знакомились с местными жителями.

4 июля с вьюками на мулах вышли в пустыню с целью достигнуть городов Шейх-Гуссейна и Гинира. Ночевали в палатке и под открытым небом, охотились, блуждали без дороги. Ашкеры попадались ненадежные. На пути встречались деревни. Переправлялись вплавь через реку Уаби, кишащую крокодилами, болели лихорадкой, голодали, перебивались без воды. Достигли Шейх-Гуссейна, фотографировали город и Священную книгу. Гумилев вместе с хаджи Абдул Меджидом и Кабар Абассом написал историю Шейх-Гуссейна. Дальше — в Гинир. Шли три дня. По пути в реке искали золото. В Гинире немного отдохнули, гуляли по городу, покупали вещи и продукты. Затем вышли в обратный путь другой дорогой. Снова переправа через Уаби, снова дожди, глубокая непроходимая грязь. Пришли в Аслахардамо. Дальше — в Харрар.

С 4 июня по 26 июля Гумилев вел краткий путевой дневник.

Цель экспедиции — собрать этнографические сведения, материалы по истории культуры, фольклора. Условия экспедиции были тяжелыми. Районы, по которым надлежало пройти, были малоизучены, Гумилев практически был первый из европейцев, который с серьезными научными целями проходил по этим землям. Маленькая экспедиция продвигалась... записывались точные, скупые сведения о дорогах, о местных жителях, о погоде, о климате, об условиях жизни... Все — сухо, подробно. А вечерами, когда темная ночь приходила и замирала, Гумилеву грезились истории — одна таинственнее другой... «На старинных виньетках часто изображали Африку в виде молодой девушки, прекрасной, несмотря на грубую простоту ее форм, и всегда окруженной дикими зверями. Над ее головой раскачиваются обезьяны, за ее спиной слоны помахивают хоботами, лев лижет ее ноги, рядом на согретом солнцем утесе нежится пантера».

Свое задание Гумилев выполнил блестяще — приве-

зенные им экспонаты легли в основной африканский фонд Музея этнографии в Петербурге.

...Есть Музей этнографии в городе этом,
Над широкой, как Нил, многоводной Невой,
В час, когда я устану быть только поэтом,
Ничего не найду я желанней его...

...Я хожу туда трогать дикарские вещи,
Что когда-то я сам издалека привез...

Вернувшись из Африки, Гумилев снял комнату на Васильевском острове. Снова в Тучковом переулке — «вторая тучка». В Царское приезжал лишь по праздникам.

Вышел «Гиперборей» с пьесой Гумилева «Актеон», которую он написал после возвращения из Африки.

Возобновились заседания «Цеха Поэтов».

Можно предположить, что на каждом заседании Гумилев старался, чтобы «Цех» и группа акмеистов официально были равны и воспринимались как совершенно самостоятельные, независимые группировки. Все время повторялось, что «Цех» — свободная от всяких групп и партий организация, общество, где самое важное — свободные беседы о творчестве, об искусстве, где признаются и уживаются различные точки зрения. Тем не менее конечно же каждый раз Гумилев высказывался совершенно определенно в защиту акмеизма, он использовал любую трибуну для пропаганды своих взглядов, доказательств своих поэтических принципов. Идея нуждалась в обосновании и в практическом освоении — Гумилев на слушателях проверял твердость и оригинальность своих аргументов.

Анна Ахматова: «И если Поэзии суждено цвести в 20-м веке именно на моей Родине, я, смею сказать, всегда была радостной и достоверной свидетельницей... И я уверена, что еще и сейчас мы не до конца знаем, каким волшебным хором поэтов обладаем, что русский язык молод и гибок, что мы еще совсем недавно пишем стихи, что мы их любим и верим им».

Гумилев был уже далек от Вяч. Иванова — сила обаяния иссякла, удивление талантом, магией мастерства уступила место спокойному анализу творчества. Многое уже Гумилев не принимал в его творчестве, но

тем не менее почтение к мастерству, глубине интеллектуального постижения мира и искусства конечно же осталось, и кроме того, никогда личная неприязнь не была для Гумилева поводом для сведения творческих счетов. Гумилев всегда был в творчестве выше своих личных симпатий и антипатий — он пытался по крайней мере остаться справедливым, вдумчиво отнестись к трудам тех людей, с которыми у него не было душевной близости.

Вернувшись из африканской экспедиции, Гумилев стремится наверстать упущенное: не пропускает ни одного интересного события в городе — концерта, литературного вечера, спектакля, не отказывается ни от одной встречи и пирушки, он всегда считал, что все, что дарит нам случай, — богатство для поэта. Случайная улыбка, разговор о пустяках, прогулки, мучительные бессонницы — все для поэта благо и благодать.

Из дневника Лукницкого

29.01.1926

АА: «...стремление Николая Степановича к серьезной работе нашло почву в «Цехе». Там были серьезные, ищущие знаний товарищи-поэты: Мандельштам, Нарбут, которые все отдавали настоящей работе, самоусовершенствованию.

Городецкий сблизился с Николаем Степановичем осенью 1911 года — перед «Цехом», незадолго. Весной 1911-го с Городецким у Николая Степановича не было решительно ничего общего и никаких отношений. Интересно следить за датами собраний «Цеха»: с одной стороны — количество собраний в первом, втором, третьем году (сначала 3 раза, потом 2 раза в месяц, а потом и еще реже). С другой стороны, видно, что собрания у Городецкого перестали бывать.

«Нимфа», как ее звали, жена Городецкого Анна Алексеевна, искала развлечений, веселья, и конечно же такие собрания с казавшимися ей скучными и неинтересными людьми, как Николай Степанович, Мандельштам, например, были ей не по душе...»

Сергей Городецкий, пожалуй, интересовал Гумилева больше, чем кто-либо в тот год. Люди столь различные оказались волею судьбы вместе — их объединила общая

идея, желание следовать новым принципам в искусстве, создавать свои, новые традиции и ломать устоявшиеся мнения.

Георгий Иванов писал, что, как правило, сходятся только крайности и только этим можно объяснить этот странный союз.

Началось знакомство, вероятно, в 1908 году: Гумилев был приглашен участвовать в альманахе Городецкого «Кружок молодых», а в 1909 году Гумилев пригласил Городецкого участвовать в журнале «Остров». Дружбы и привязанности душевной не возникло, осталось — знакомство, более того, Гумилев довольно резко говорил о Городецком, а Городецкий язвительно отозвался о сборнике «Жемчуга», написав рецензию под псевдонимом Росмер[1].

И тем не менее в 1911 году, после возвращения Гумилева из Абиссинии, они сблизились. «Городецкий,— говорила Ахматова, — искал в то время очередной спасательный круг».

Гумилев конечно же, понимая различие характеров и темпераментов, стремился объяснить самому себе, что же их сблизило, что ему понравилось в этом человеке, что ему было интересно в нем. В его творчестве Гумилев ищет ответ и вот как объясняет свой интерес:

«Сергея Городецкого невозможно воспринимать только как поэта. Читая его стихи, невольно думаешь больше, чем о них, о сильной и страстной и вместе с тем по-славянски нежной, чистой и певучей душе человека, о том расцвете всех духовных и физических сил, который за последнее время начинают обозначать словом «акмеизм». Гордость без высокомерия и нежность без слезливости, из этих элементов сплетается творчество Городецкого. По форме его стихи напоминают нам уже пройденный поэтом этап символизма. Если стиль писателя есть взаимодействие между его внутренним законом и законами языка и стихосложения, то Сергей Городецкий вместе с символистами отдает предпочтение первому...».

В 1913 году Гумилев участвовал в чествовании приезжавшего в Петербург Э. Верхарна.

В декабре этого года вышел последний, двойной, номер журнала «Гиперборей». На этом издание прекратилось.

---

[1] По другим сведениям, под псевдонимом «Росмер» выступил Василий Гиппиус.

В течение 1913 года написано:

Зима 1912/13 года — стихотворение «Ислам» («В ночном кафе мы молча пили кьянти...»).

9 апреля — стихотворение «Я сегодня опять услышал...».

Около 23—24 апреля — стихотворение «Когда зеленый луч, последний на закате...».

Вторая половина мая — стихотворение «Когда вступила в спальню Дездемона...».

Лето — стихотворение «Африканская ночь».

Сентябрь — пьеса «Актеон».

Конец года — перевел поэму Вьеле Гриффена «Кавалькада Изольды».

Написано стихотворение «Я вежлив с жизнью современною...»

Переведены (большею частью осенью и в конце года) почти все стихотворения «Эмалей и камей» Теофиля Готье.

Написана драматическая сцена «Игра».

Напечатано:

Стихотворения: «Персей» (приложение к жур. «Нива», № 1); «Влюбленная в Дьявола» (в сб. «Сатанизм». М., к-во «Заря».); «Нет тебя тревожней и капризней...» и «Вилла Боргезе» (приложение к жур. «Нива», № 2); «Тразименское озеро» (приложение к жур. «Нива», № 4); «На Палатине» (приложение к жур. «Нива», № 5); «Да, мир хорош, как старец у порога...» (Нива, № 34); «Дездемона» (Нива, № 46); «Неаполь» (Заветы, № 5); «Пятистопные ямбы» (Аполлон, № 3).

Переводы: Теофиля Готье — «Загробное кокетство», «Костры и могилы»; «Средь шумов и криков» — из вариаций на тему «Венецианский карнавал»; «Поэма женщины» (Северные записки, № 12); «Слепой» и «Песня» (жур. «За 7 дней», № 43); Франсуа Вийона — строфы из «Большого завещания» и баллада «О дамах прошлых веков» (Аполлон, № 4).

Статья — «Наследие символизма и акмеизм» (Аполлон, № 1).

Рецензии: «Вяч. Иванов. Нежная тайна» (Гиперборей, № 4); „Я. Любяр. Противоречия" (Гиперборей, № 4); «Антология современной поэзии. Изд. 2-е, переработанное и дополненное» (Аполлон, № 2).

«Письмо о русской поэзии»: «Вяч. Иванов. Нежная тайна. Изд, „Оры". СПБ.»; В. Гарднер. От жизни к жизни. Изд. „Альциона". М.; «А. Скалдин. Стихотворения. Изд. „Оры"»; «А. Рославлев. Цевница. Изд. „Союз" СПБ.»; «Я. Любяр. Противоречия. Три тома, СПБ.»; «В. Курдюмов. Пудреное сердце. СПБ»; «В. Шершеневич, Carmina. М.» (Аполлон, № 3).

О Гумилеве:

И. В. Инсаров. О «Цехе Поэтов» (газ. «Нижегородец». Нижний Новгород, № 198, 211, 216, 248).

В. Львов-Рогачевский. Символисты и наследники их (Современник, № 6).

Б. С. (Б. Лавренев). Замерзающий Парнас (Жатва, № 4).

Вступление от редакции к статье А. Долинина «Акмеизм» (Заветы, № 5).

С. Городецкий. Некоторые течения в совр. русской поэзии (Аполлон, № 1).

А. Е. Редько. У подножия африканского идола (Русское богатство, № 7).

М. Кузмин. Рецензия на «Чужое небо» (Литературное и научно-популярное приложение к жур. «Нива», № 1).

В. Брюсов. Новые течения в русской поэзии. Акмеизм (Русская мысль, № 4).

А. Долинин. Акмеизм (Заветы, № 5).

Влад. Гиппиус. Литературная суета (Речь, 17 февраля).

Д. Философов. Акмеисты и М. П. Неведомский (Речь, 17 февраля).

М. Неведомский. Еще год молчания. Наша художественная литература в 1912 году (жур. «За 7 дней», № 1). Глава из статьи, с. 12.

В. Ховин. Модернизированный Адам (сб. «Небосклоны» эгофутуристов. Изд-во «Петербургский глашатай», 1913).

Г. Иванов. Стихи в журналах 1912 года. Обзор (Аполлон, № 1). Упоминания об Н. Г. и о журнале «Гиперборей».

1914

И все идет душа, горда своим уделом...

Гумилев — частый гость «Бродячей собаки» в ту зиму.

Вспоминает С. Судейкин: «„Бродячая собака" была открыта каждый вечер. Каждый входящий должен был расписаться в огромной книге, лежащей на аналое перед большой зажженной красной свечой. Публика входила со двора и проходила, как через игольное ухо, маленькую дверь. Главная же дверь на улицу открывалась только для своих. На окнах были ставни, на ставнях были написаны фантастические птицы. На стене между окон я написал «Цветы зла» Бодлера.

Ахматова грустно улыбалась:

Все мы бражники здесь, блудницы,
как невесело вместе нам!
На стенах цветы и птицы
томятся по облакам.

Кузмин написал знаменитый гимн «Бродячей собаки», который начинался, кажется, строфой:

Не боясь собачей ямы,
наши шумы, наши гамы
посещает, посещает,
посещает Сологуб.

У входа, — продолжал вспоминать Судейкин, — всегда стояли или Пронин (хозяин кабачка. — *В. Л.*), или Луцевич, или Цыбульский. Поэты, музыканты, артисты, ученые пускались даром. Все остальные назывались

«фармацевтами», и бралось с них за вход по внешнему виду и по настроению.

Вечера были объявленные и необъявленные. На необъявленные вечера входная плата была от одного рубля до трех.

На этих вечерах бывали экспромтные выступления поэтов, музыкантов и артистов. На вечер объявленный, то есть подготовленный (а готовились часто месяц к одному вечеру), входная плата была от пяти рублей и выше.

Разве можно описать все вечера «Бродячей собаки», все постановки, все спектакли...

Решалось все просто. А почему не устроить вечер романса Зои Лодий? А почему и не устроить? А почему не устроить вечер Ванды Ландовской? А почему и не устроить? А почему не устроить вечер Далькроза с конкурсом императорского балета, вечер «Цеха Поэтов», вечер чествования Козьмы Пруткова, вечер современной музыки, доклад о французской живописи? А почему и не устроить?

Так осуществлялись вереницы вечеров. У нас был свой оркестр, в котором играли: Бай, Карпиловский, братья Левьен, Хейфец, Эльман.

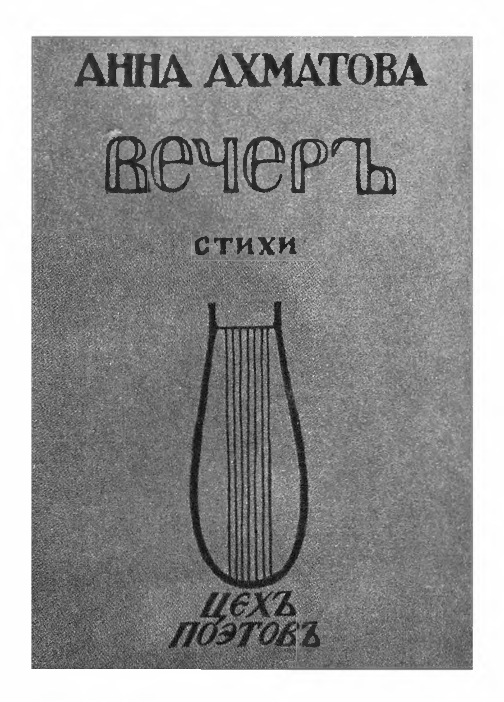
Я опишу вам, как могу, несколько объявленных вечеров. Вот один: «Вертеп кукольный. Рождественская мистерия»[1]. Слова и музыка Кузмина. Постановка Евреинова. На маленькой сцене декорация: на фоне синего коленкора написана битва между ангелами и черно-красными демонами. Перед синим доминирующим пятном стояло ложе, обтянутое красным кумачом. Красным кумачом затянуты все подмостки. На красном ложе золотой Ирод в черном шерстяном парике с золотом. В углу коричневый грот, освещенный внутри свечами и выклеенный сусальным золотом. Весь зал переделан, чувствуется как бы «тайная вечеря». Длинные узкие столы, за ними сидит публика, всюду свечи...

Двадцать детей из сиротского дома, одетые в белое, с золотыми париками и серебряными крыльями ходили между столами с зажженными свечами и пели. А на сцене черт соблазнял Ирода, рождался Христос, происходило избиение младенцев и солдаты закалывали Ирода...

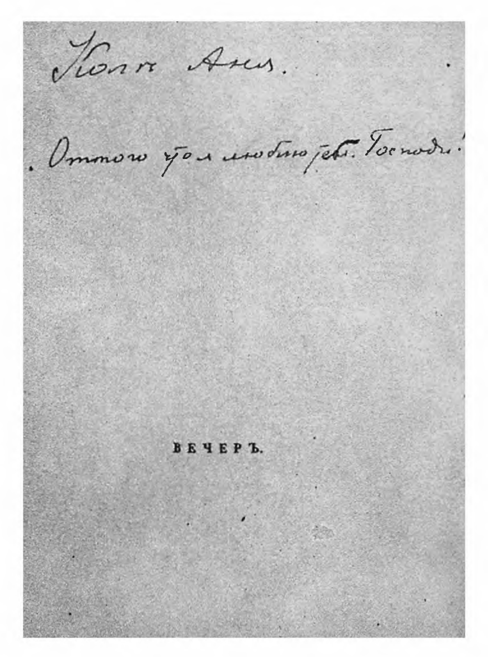
На этот вечер в первый раз к нам приехал великолепный Дягилев. Его провели через главную дверь и

---

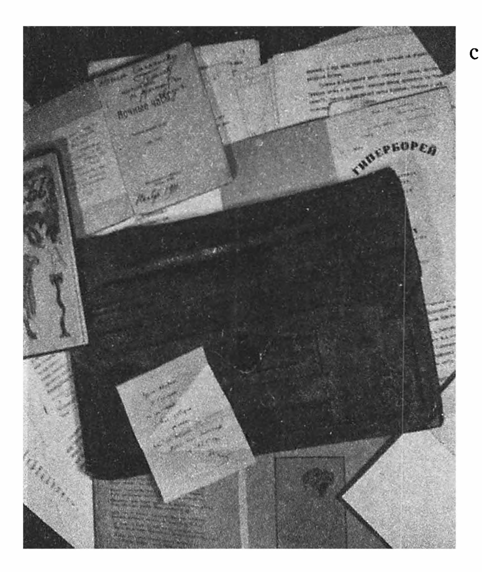
[1] Этот вечер состоялся 6 января 1913 года.



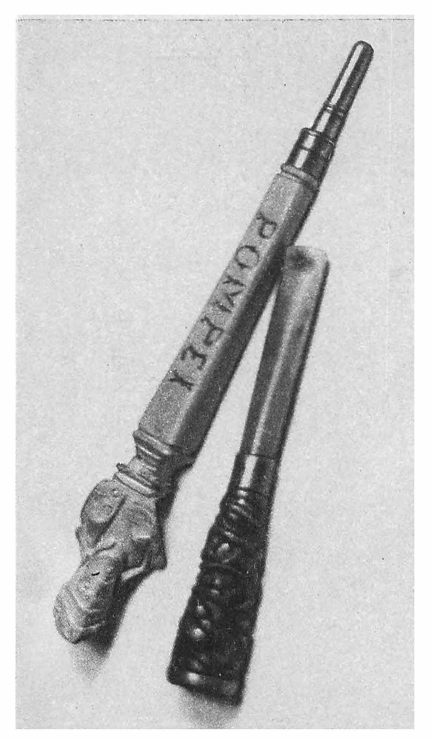
Обложка книги А. Ахматовой «Вечер».



Автограф надписи на титульном листе книги «Вечер», сделанной А. Ахматовой Н. Гумилеву.



Портфель Н. Гумилева с запиской П. Лукницкого



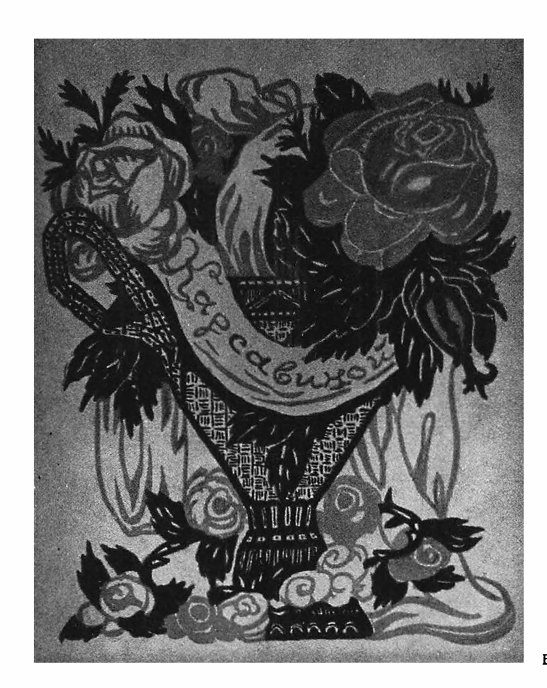
Мундштук и карандаш Н. Гумилева, подаренные П. Лукницкому матерью Н. С. Гумилева.

Африканские рисунки Н. Гумилева. 1913 год.





Рисунки, привезенные Гумилевым из Африки в 1913 году.



Обложка альбома
Т. Карсавиной,
преподнесенного ей
друзьями
в «Бродячей собаке».

Портрет Т. Карсавиной.



Автограф стихотворения
Н. Гумилева из юбилейного
альбома Т. Карсавиной.

Долго молили о танцѣ мы васъ, но молили напрасно,
Вы улыбнулись разсѣянно и отказали безстрастно.

Любитъ высокое небо и древнія звѣзды поэтъ,
Часто онъ пишетъ баллады, но рѣдко ходитъ въ балетъ.

~~Грустно~~ пошелъ я домой, чтобъ смотрѣть въ глаза тишинѣ,
Ритмы движеній не бывшихъ звенѣли и пѣли во мнѣ.

Только такъ сладко знакомая вдругъ разцвѣла тишина,
Словно приблизилась тайна иль стала солнцемъ луна;

Ангельской арфы струна порвалась и мнѣ слышится звукъ:
Вижу два бѣлые стебля высоко закинутыхъ рукъ,

Губы ночныя, подобныя бархатнымъ краснымъ цвѣтамъ...
Значитъ танцуете все таки вы, отказавшая намъ!

Въ синей туникѣ изъ неба ночного затянутый станъ
Вдругъ разрываетъ стремительно залитый свѣтомъ туманъ,

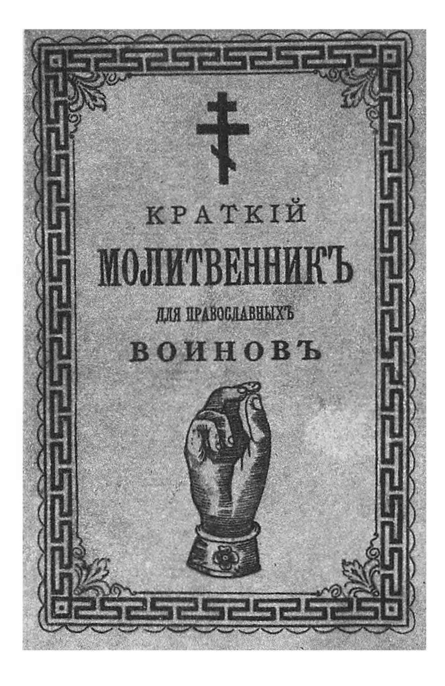
Быстро змѣистыя молніи легкая чертитъ нога
— Видитъ навѣрно такія видѣнья блаженный Дега,

Если за горькое счастье и сладкую муку свою
Принятъ онъ въ сине-хрустальномъ высокомъ Господнемъ раю.

... Утромъ проснулся и утро вставало въ тотъ день лучезарно,
Былъ ли я счастливъ? Но сердце томилось тоской благодарной.

16 марта 1914 г.

Н. Гумилевъ



Молитвенник Н. Гумилева, подаренный П. Лукницкому А. Н. Гумилевой.

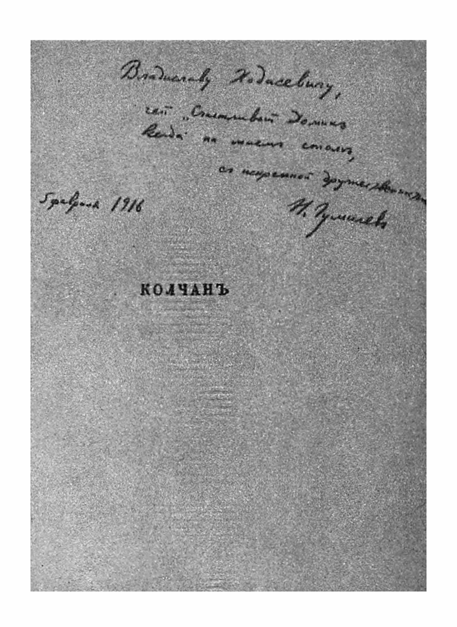


Портрет Н. С. Гумилева в форме вольноопределяющегося. 1914 год.

Н. С. Гумилев
и А. А. Ахматова
с сыном Львом.

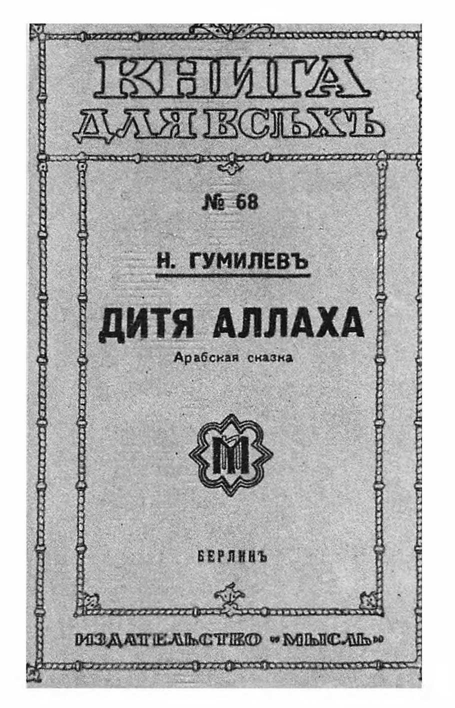


Н. С. Гумилев. 1914 год.


Владиславу Ходасевичу,
чей „Счастливый домик"
всегда на нашем столе,
с искренней дружественностью
Н. Гумилев
Февраль 1916

КОЛЧАНЪ

Автограф Н. С. Гумилева на титульном листе книги «Колчан».



Обложка посмертного издания книги «Дитя Аллаха».

2 Сент. 1916

Что я прочелъ? Вамъ скучно, Лери,
И подъ столомъ лежитъ Сократъ,
Томитесь Вы по древней вѣрѣ?
— Какой отличный маскарадъ!
Вотъ я въ моей каморкѣ тѣсной
Надъ Вашимъ радужнымъ письмомъ,
Какъ шапка Фауста прелестна
Надъ милымъ дѣвичьимъ лицомъ.
Я былъ у Васъ, совсѣмъ влюбленный,
Ушелъ, сгорая отъ тоски,
Ужасный шапки занесенной
Жестъ отстраняющей руки.
Но сохранилъ воспоминанье
О дивныхъ и тревожныхъ дняхъ,
Мое пугливое мечтанье
О Вашихъ сладостныхъ глазахъ.
Ужель опять я ихъ увижу,
Замру отъ боли и любви
И къ нимъ сіяющимъ приближу
Татарскія глаза мои?!
И вновь начнутся наши встрѣчи,
Блужданья ночью наугадъ,
И наши озорныя рѣчи
И Острова, и Лѣтній Садъ?!
Но ахъ, могу ль я быть не хмурымъ,
Могу ль сомненья подавить?
Вѣдь меланхолія амуромъ
Хорошимъ врядъ ли можетъ быть.
И вѣрно день застанетъ, скуча,
Сократа снова на столѣ,
Зато „Эмали и Камеи“
Съ „Колчаномъ“ въ самой пыльной мглѣ.
Такъ Вы, похожая на кошку,
Ночному молвили „прощай“
И мчитъ Васъ въ Психоневрологичку
Гудя и прыгая, трамвай.

Н. Гумилевъ

Автограф письма Н. Гумилева к Л. Рейснер.

Н. Гумилев

драматическая поэма

„Гондла"

написана в 1916

опубликована в журн. „Русская мысль", ~~[illegible]~~ январь номер, — 1917 г. (№ 1)

ставилась на сцене „Театр мастерская" в Ростове на Дону в 1921 г. (прошло около 100 спектаклей)

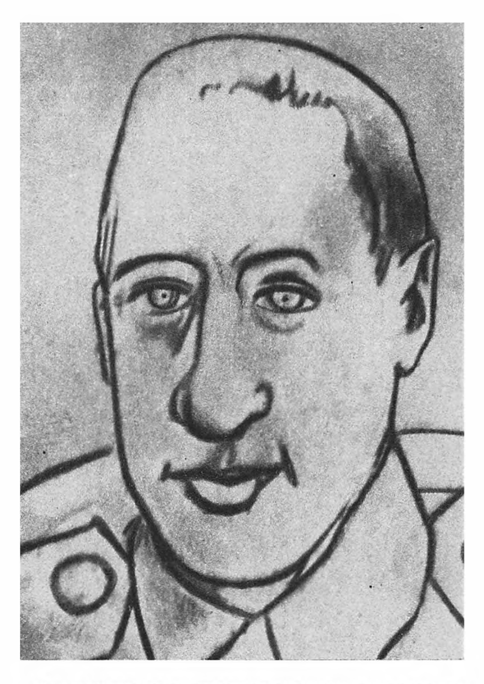
ставилась на сцене в Петрограде на сцене Гос. Театральной мастерской (переведенной из Ростова н/Д в Петроград) на Владимирском пр. д. 12, с 8 по 15 января 1922 г. отменена

(отд. изд. в 1917)

Прототипы Лера = Лаик —
а) Лариса Рейснер.
б) А. Н. Энгельгардт ? Ахматова — О. Арбенина.

Приложение: вариант первого действия выброшенный Н. Гумилевым.
(предоставлен мне, кажется, [illegible], в 1924 г.)

Автограф П. Н. Лукницкого.



Портрет Н. С. Гумилева работы М. Ларионова. Париж, 1917—1918 гг.



Обложка журнала «Новый сатирикон», в котором было напечатано стихотворение Н. Гумилева «Франция».

По уполномочію Временнаго Россійскаго Правительства

объявляется чрезъ сіе всѣмъ и каждому, кому о томъ вѣдать надлежитъ, что показатель — сего . . . .

русскій гражданинъ Николай Степановичъ Гумилевъ, писатель, возвращается изъ за границы въ Россію —

29 л.

Во свидетельство того и для свободнаго проѣзда данъ сей паспортъ отъ Россійского Генеральнаго Консульства въ Лондонѣ . . . . .

Апреля 3 дня 1918 года . . . .

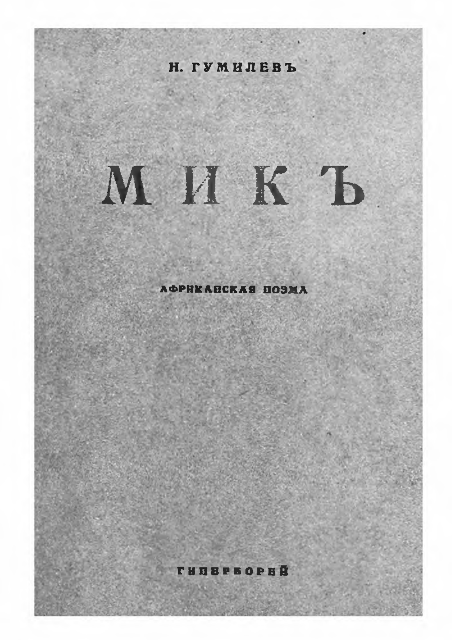
За Генеральнаго Консула: (Подпись Ю. Кузьминскій)

(Подпись) Н. Гумилевъ

Фотографія Гумилева

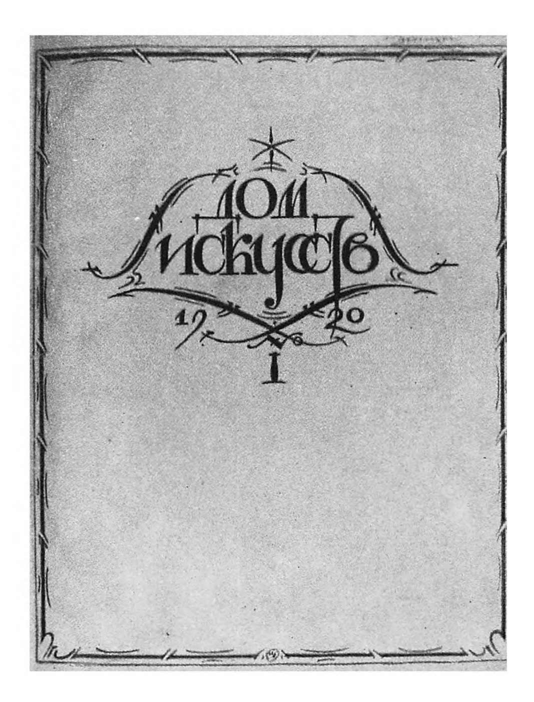
Карандашная пометка рукой Гумилева (Стихи стерлись. В нек. местах не разобрать!)

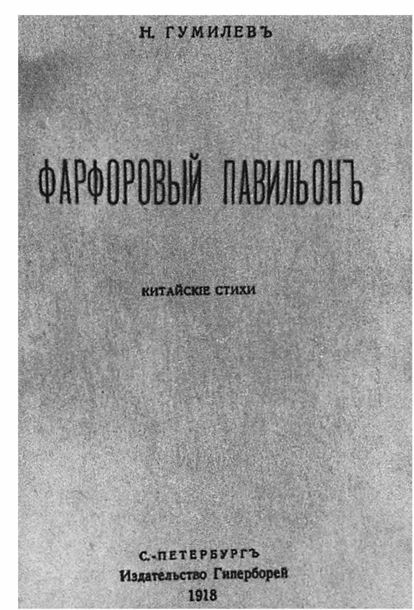
Заграничный паспорт Н. Гумилева. Копия снята П. Н. Лукницким.



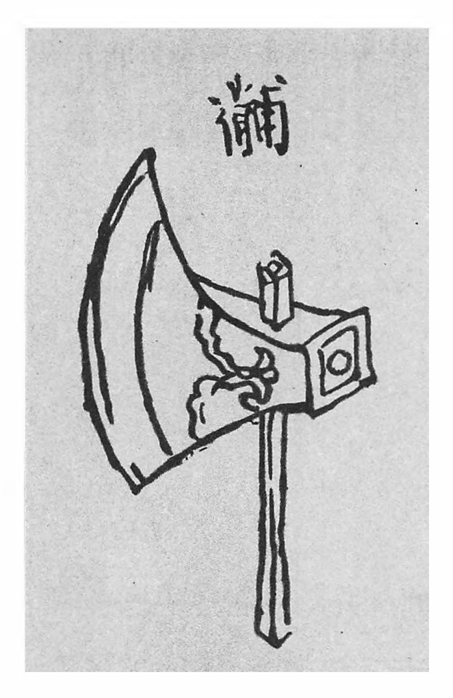
Обложка книги Н. Гумилева «Мик». 1918 год.

Обложка журнала «Дом Искусств».





Обложка книги «Фарфоровый павильон».





Рисунки
к «Фарфоровому павильону».
Взяты из китайской книги
«У-ЦЗИН-ТУ»,
изд. 1724 года
(собрание ксилографов
библиотеки Петроградского
университета).

ИНСТИТУТ ЖИВОГО СЛОВА

Пр. 25 Октября, д. 33, зд. б. Гор. Думы, вход с Думской ул.

ОТКРЫТ ПРИЕМ

на Отделения:

ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ | ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ | ДЕКЛАМАЦИОННОЕ

Курс обучения 3 года. Занятия вечерние. Начало испытаний 25 Сентября в 5 час. веч. Прием заявлений и справки до 10 Октября в Канцелярии Ин-та с 6 до 8 час. веч.

Афиша-объявление «Института живого слова», где преподавал Н. С. Гумилев.



Афиша кружка искусства «Арион», 1918 год.

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ПРИНЦИПЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА

СТАТЬИ
К. Чуковского и Н. Гумилева

Издательство „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“
при Народном Комиссариате по Просвещению
Петербург 1919

Обложка книги «Принципы художественного перевода».

ГИЛЬГАМЕШЪ

ПЕРЕВОДЪ
Н. ГУМИЛЕВА



Обложка книги «Гильгамешъ».

посадили за стол. После мистерии он сказал: «Это не Аммергау [1], это настоящее, подлинное!»

Времена менялись все быстрее, и у нас появился в оранжевой кофте Маяковский.

А почему бы не устроить вечер поэтов и художников? А почему бы не устроить!

Радаков, создатель «Сатирикона», сделал ширму, перед которой выступал Владимир Маяковский. Кульбин сделал ширму для Василия Каменского. Бурлюк сделал ширму для самого себя. Я для Игоря Северянина.

Молодой, здоровый, задорный энтузиазм царил на этом вечере. «Бродячая собака» — какие воспоминания, какие видения, залитые полусветом...»

Из дневника Лукницкого

19.04.1925

АА рассказывает, что увлечение Николая Степановича А. Губер происходило обычно в «Собаке»... АА хотела уезжать оттуда с последним поездом в Царское, а Николай Степанович решил оставаться до утра — до 7-часового поезда.

Оставалось обычно 5—6 человек. Сидели за столом...

АА: «Я поджимала губы и разливала чай... А Николай Степанович усиленно флиртовал...»

А потом — Татиана Адамович...

Первое знакомство — несколько банальных случайных фраз. Потом — нечаянные встречи, неосторожные слова... и так быстро становятся привычными и восхищение прелестной женщины стихами, и так необходима восторженность в глазах, когда поэт рассуждает о поэзии и страсти в долгих прогулках по покрытому снегом городу.

«Женскому сердцу мало говорят слова... Тот, кого любит женщина, всегда герой и, увы, всегда немного кукольный герой, — насмешливо говорил Гумилев, — но как приятно чувствовать себя этим героем». Быть может, слова Байрона о женщинах: «Невозможно жить ни с ними, ни без них» — веселили его особенно в ту зиму...

---

[1] Здесь — не вульгарно; по названию средневекового городка, где продавали всевозможные подделки под произведения искусства.

Из дневника Лукницкого

24.03.1925

Я вчера много говорил с В. С. Срезневской о Татиане Адамович. Та мне рассказала, что считает роман с Таней Адамович выходящим из пределов двух обычных категорий для Н. С. (первая — высокая любовь: к АА, к Маше Кузьминой-Караваевой, к Синей звезде), вторая — ставка на количество — девушек... Роман с Таней Адамович был продолжительным, но, так сказать, обычным романом в полном смысле этого слова. В. Срезневская сказала, что однажды в разговоре с Николаем Степановичем она упомянула про какой-то факт. Он сказал: «Да, это было в период Адамович». — «А долго продолжался этот период?» Николай Степанович стал считать по пальцам: «Раз... два... три, почти три года».

Когда я сегодня рассказал об этом АА, она ответила: «Да не три года, но, во всяком случае, долго... И это был совершенно официальный роман: Николай Степанович совершенно ничего не скрывал».

9.06.1925

АА: «Таня Адамович редко (только в парадных случаях, когда много гостей бывало), но бывала в доме у Гумилевых. А Николай Степанович у нее постоянно бывал...»

Я: «Красивая ли была Таня?»

АА: «Красивая? Красивой она не была, но была интересной...»

Я: «Понимала ли стихи?»

АА: «Понимала... Ну это Жорж (Георгий Адамович — поэт, брат Т. А. — *В. Л.*) ее натаскал... Всегда просила читать ей стихи...»

Я: «В каком году вы отошли «физически» от Николая Степановича?»

АА ответила, что близки они были ведь очень недолго. «До 14 года — вот так приблизительно. До Тани Адамович... Николай Степанович всегда был холост. Я не представляю себе его женатым».

Я спросил АА, как произошло у Николая Степановича расхождение с Адамович? АА рассказала, что она думает об этом. Думает она, что произошло это постепенно и прекратилось приблизительно где-то около вы-

хода «Колчана». Резкого разрыва, по-видимому, не было.

Таня Адамович, по-видимому, хотела выйти замуж за Николая Степановича, потому что был такой случай: Николай Степанович предложил АА развод (!).

АА: «Я сейчас же, конечно, согласилась! — Улыбаясь: — Когда дело касается расхождения, я всегда моментально соглашаюсь!»

Сказала Анне Ивановне, что разводится с Николаем Степановичем. Та изумилась: «Почему? Что?» — «Коля мне сам предложил». АА поставила условием, чтоб Лева остался у нее в случае развода. Анна Ивановна вознегодовала. Позвала Николая Степановича и заявила ему, тут же при АА: «Я тебе правду скажу, Леву я больше Ани и больше тебя люблю...»

АА смеется: «Каково это было услышать Николаю Степановичу, что она Леву больше, чем его, любит?»

АА снова рассказывала, как она «всю ночь, до утра» читала письма Тани и как потом никогда ничего об этом не сказала Николаю Степановичу.

Я говорю, вспоминая сообщения Зубовой[1], что благородство Николая Степановича и тут видно: он сам курил опиум, старался забыться, а Зубову в то же время пытался отучить от курения опиума, доказывая ей, что это может погубить человека.

АА по этому поводу сказала, что при ней Николай Степанович никогда, ни разу даже не упоминал ни об опиуме, ни о прочих таких слабостях и что, если б АА сделала бы что-нибудь такое, Николай Степанович немедленно и навсегда рассорился бы с нею. А между тем АА уверена, что еще когда Николай Степанович был с нею, он прибегал к этим снадобьям. АА уверена, что Таня Адамович нюхала эфир и что «Путешествие в страну Эфира» относится к Тане Адамович.

АА задумчиво стала пояснять: «Жизнь была настолько тяжела, что Николаю Степановичу так трудно было, что вполне понятно его желание забыться...»

Зимой Гумилев организовал «Готианскую комиссию» по поэзии Теофиля Готье.

---

[1] А. И. Зубова — знакомая Гумилева. Научный работник. Ей подарен Гумилевым в 1920 или 1921 году один из его рукописных сборников — «Персия».

1 марта в издательстве М. Попова вышел сборник Теофиля Готье «Эмали и камеи» в переводе Н. Гумилева.

Знаток французской литературы А. Я. Левинсон так оценил эту книгу: «Мне доныне кажется лучшим памятником этой поры в жизни Гумилева бесценный перевод «Эмалей и камей», поистине чудо перевоплощения в облике любимого им Готье. Нельзя представить, при коренной разнице в стихосложении французском и русском, в естественном ритме и артикуляции обеих языков, более развитого впечатления тождественности обоих текстов. И не подумайте, что столь полной аналогии возможно достигнуть лишь обдуманностью ремесла: тут нужно постижение более глубокое, поэтическое братство с иностранным стихотворцем».

Из воспоминаний С. Маковского: «Гумилев настолько восхищался французским учителем, что хотел быть похожим на него и недостатками. Готье не понимал музыки. Не раз говорил мне Николай Степанович, не без гордости, что и для него симфонический оркестр не больше как „неприятный шум“».

Из дневника Лукницкого

28.05.1925

«АА говорила о том, что Николай Степанович читал Готье, который «открыл» французских поэтов, до этого забытых, стал сам изучать этих поэтов, обратился к ним, вместо того чтобы воспринять от Готье только прием и перенести его на русскую почву, самому обратиться к русской старине — напр. к «Слову о полку Игореве» и т. д.

От этого и получился — «французский Гумилев». Объясняет это АА исключительной галломанией, до сих пор существующей в России. То же происходит и в живописи. Так отчасти делает Бенуа (с французами, открытыми Гонкурами, — Грез и др.). Правда, Бенуа параллельно с изучением французов изучает и русскую древнюю живопись, которая прекрасна.

Но у Николая Степановича есть период и «русских» стихов — период, когда он полюбил Россию, говоря о ней так, как француз о старой Франции.

Это — стихи «от жизни», пребывание на войне дало Николаю Степановичу понимание России — Руси. За-

чатки такого «русского Гумилева» были раньше — например, военные стихи «Колчана», в которых сквозит одна сторона только — православие, но в которых еще нет этих тем.

Правда, «Андрей Рублев» написан под впечатлением статьи об Андрее Рублеве в «Аполлоне». Впечатление — книжное, но это нисколько не мешает отнести его к «русскому Гумилеву». К этому же циклу относятся и такие стихи, напр., как «Письмо» и «Ответ сестры милосердия» — сами по себе очень слабые, очень злободневные и вызвавшие еще тогда, в 15 году, упреки АА, Лозинского и других. Потом — период «русского Гумилева» прекращается, последнее стихотворение этого типа — «Франция» (18 года). Отблеск этого русского настроения есть и в «Синей звезде» («Сердцем вспомнив русские березы, звон малиновый колоколов...»). А после «Франции» — ни одного такого стихотворения.

Какие-то уже совсем «тени от тени» этого — строчки есть в «Шатре» о России (но это уже экзотика наизнанку) и в «Заблудившемся трамвае» — это тоже уже совершенно другое. «Это уже стихи от стихов...» А вообще впервые слово «Русь» встречается у Гумилева в ( )[1], но какая это фарфоровая Русь! Это та Русь, какую мы видим в балете, в каком-нибудь Коньке-Горбунке...

АА, рассказывая это, говорит: «Вот — и это период, вот как нужно искать периоды. Я уверена, что эти стихи и технически отличаются от всех других...»

26 марта Гумилев участвует в юбилейном чествовании Т. Карсавиной, происходившем в «Бродячей собаке».

Вспоминает С. Судейкин: «...а вечер Карсавиной, этой богини воздуха! Восемнадцатый век — музыка Куперена. «Элементы природы» в постановке Бориса Романова, наше трио на старинных инструментах. Сцена среди зала с настоящими деревянными амурами 18-го столетия, стоявшими на дивном голубом ковре той же эпохи, при канделябрах. Невиданная интимная прелесть. 50 балетоманов (по 50 рублей место) смотрели затаив дыхание, как Карсавина выпускала живого ре-

[1] Так в дневнике Лукницкого.

бенка — амура из клетки, сделанной из настоящих роз».

Гумилев восхищен балериной, ярким художником, волшебной женщиной, легко и щедро дарящей людям праздник. Он посвятил и подарил ей прекрасное стихотворение:

Ангельской арфы струна порвалась, и мне слышится звук.
Вижу два белые стебля высоко закинутых рук...

«...Есть средство узнать душу поэта, — писал Гумилев, — как бы искусно он ее ни скрывал. Надо вчитаться в его стихи, по вспыхивающим рифмам, по внезапным перебоям ритма угадать биение сердца».

Проза жизни тем не менее вела свой счет...

16 апреля в разговоре с С. Городецким выяснилось их полное разногласие в теоретических воззрениях на акмеизм, на «Цех» и т. д. В результате — разрыв отношений.

Правда, разрыв назревал давно, и ничего удивительного не было в том, что два поэта, по-разному воспринимавшие мир и искусство, наконец резко столкнулись, и то, что на короткий период соединило их — их же и разъединило, ибо идея эта каждым воспринималась совершенно по-разному.

Городецкого возмущали и раздражали «изысканность» Гумилева, скрупулезность, его повышенные требования к слову, к форме, манера оценивать все по самому высокому счету. Городецкий считал такие «изыски» — пижонством, как бы мы сказали сейчас, его привлекало в искусстве совсем другое — ему нравилась размашистость, красивость образов — все, что так беспощадно изгонял Гумилев. Они обменялись письмами.

Городецкий: «...будучи именно акмеистом, я был, по мере сил, прост, прям и честен в затуманенных символизмом и необычайно от природы ломких отношениях между вещью и словом. Ни преувеличений, ни распространительных толкований, ни небоскребного осмысления я не хотел совсем употреблять. И мир от этого вовсе не утратил своей прекрасной сложности, не сделался плоским».

Гумилев: «В том-то и ошибка эстетов, что они ищут оснований для радостного любования в объекте, а не в субъекте. Ужас, боль, позор прекрасны и дороги потому, что так неразрывно связаны со всезвездным

миром и нашим творческим овладением всего. Когда любишь жизнь, как любовницу, в минуту ласк не различаешь, где кончается боль и начинается радость, знаешь только, что не хочешь иного».

Не только взаимное раздражение лидеров «Цеха», но и наступавшее лето, когда все разъезжались из города, а затем начавшаяся война — все это положило конец заседаниям. «Цех» распался.

В мае Гумилев с семьей уехал в Слепнево. В конце июня отправился в Либаву и в Вильно, где жила Т. В. Адамович.

О. А. Мочалова: «Свой сборник „Колчан" Гумилев посвятил Татиане Адамович, о которой говорил: „Очаровательная... книги она не читает, но бежит, бежит убрать в свой шкаф. Инстинкт зверька"».

К середине июля Гумилев возвращается в Петербург, живет на Васильевском острове (5-я линия, 10) у своего друга В. К. Шилейко. Обедать ходили на угол 8-й линии и набережной, в ресторан «Бернар». Иногда втроем — с М. Л. Лозинским.

15 (28) июля Австрия объявила войну Сербии. Гумилев принял горячее участие в манифестациях, приветствовавших сербов; присутствовал при разгроме германского посольства. И сразу же решил пойти на фронт.

И в реве человеческой толпы,
В гуденье проезжающих орудий,
В немолчном зове боевой трубы
Я вдруг услышал песнь моей судьбы
И побежал, куда бежали люди,
Покорно повторяя: бу́ди, бу́ди.

Вспоминает А. Я. Левинсон: «Войну он принял с простотою совершенной, с прямолинейной горячностью. Он был, пожалуй, одним из тех немногих людей в России, чью душу война застала в наибольшей боевой готовности. Патриотизм его был столь же безоговорочен, как безоблачно было его религиозное исповедание. Я не видел человека, природе которого было бы более чуждо сомнение, как совершенно, редкостно чужд был ему и юмор. Ум его, догматический и упрямый, не ведал никакой двойственности».

23 июля Гумилев отправился в Слепнево проститься с семьей; через день вернулся в Петербург вместе с Анной Андреевной. Два дня пожили у Шилейко, и Гумилев уехал в Царское — хлопотать о зачислении на военную службу, ведь в 1907 году он был освобожден от воинской повинности из-за болезни глаз. Надо было во что бы то ни стало получить разрешение стрелять с левого плеча. Это было нелегко, но Гумилев добился своего и был принят добровольцем — тогда называлось «охотником» — с предоставлением ему выбора рода войск. Он предпочел кавалерию, и был назначен в сводный кавалерийский полк, расквартированный в Новгороде.

В Новгороде прошел учебный курс военной службы. В ожидании боевых походов, за отдельную плату, частным образом еще обучился владению шашкой.

Вспоминает Анна Ахматова: «И вот мы втроем (Блок, Гумилев и я) обедаем (5 августа 1914 г.) на Царскосельском вокзале в первые дни войны. (Гумилев уже в солдатской форме.) Блок в это время ходит по семьям мобилизованных для оказания им помощи. Когда мы остались вдвоем, Коля сказал: „Неужели и его пошлют на фронт? Ведь это то же самое, что жарить соловьев“».

В конце сентября Гумилев был назначен в маршевый эскадрон лейб-гвардии уланского Ее Величества полка и 23 сентября, получив боевого коня, отправился на передовую, к границе с Восточной Пруссией.

Та страна, что могла быть раем,
Стала логовищем огня,
Мы четвертый день наступаем,
Мы не ели четыре дня...

Из дневника Лукницкого

7.02.1925. Суббота.

АА рассказала между прочим о том, что в 1914 году, когда они уже совсем близки не были, как Николай Степанович высказал ей свое сожаление, узнав, что старый дом Шухардиной в Царском Селе, тот дом, где АА жила, разрушают, чтобы на его месте построить новый.

Этот дом когда-то был на окраине Царского Села; в нем останавливались приезжающие, пока меняли их почтовых лошадей. Он служил для надобностей почтовой станции. Николай Степанович тогда дал АА почувствовать, что и он иногда любит старое. И АА вспоминает, с каким чувством Николай Степанович любил его, как только он умел любить дом, квартиру — как живого человека, интимно, как друга. И АА высказывает предположение, что строки в «Заблудившемся трамвае» («А в переулке — забор дощатый...» и т. д.) говорят именно об этом доме. Именно так Николай Степанович вспоминал его, и он называет все его приметы... АА прибавляет, что это — ее предположение, не более как предположение, но что внутренне — она почти убеждена в этом. Она знает, что другого дома в воспоминаниях Николая Степановича не было никогда, что только к этому он относился с такой любовью.

АА: «Николай Степанович сказал: „Я понял, что можно жалеть старое...“»

В архиве Лукницкого сохранились письма Гумилева той поры:

«Дорогая моя Анечка, я уже в настоящей армии, но мы пока не сражаемся и когда начнем, неизвестно. Все-то приходится ждать, теперь, однако, уже с винтовкой в руках и с отпущенной шашкой. И я начинаю чувствовать, что я подходящий муж для женщины, которая «собирала французские пули, как мы собирали грибы и чернику». Эта цитата заставляет меня напомнить тебе о твоем обещании быстро дописать твою поэму и прислать ее мне. Право, я по ней скучаю. Я написал стишок, посылаю его тебе, хочешь продай, хочешь читай кому-нибудь. Я ведь утерял критические способности и не знаю, хорош он или плох.

Пиши мне в 1-ю дейст. армию, в мой полк Ее Величества. Письма, оказывается, доходят, и очень аккуратно.

Я все здоровею и здоровею: все время на свежем воздухе (а погода прекрасная, тепло, скачу верхом, а по ночам сплю как убитый).

Раненых привозят немало, и раны все какие-то странные: ранят не в грудь, не в голову, как описывают в романах, а в лицо, в руки, в ноги. Под одним нашим уланом пуля пробила седло как раз в тот миг,

когда он приподнимался на рыси, секунда до или после, и его бы ранило.

Сейчас случайно мы стоим на таком месте, откуда легко писать. Но скоро, должно быть, начнем переходить, тогда писать будет труднее. Но вам совершенно не надо беспокоиться, если обо мне не будет известий. Трое вольноопределяющихся знают твой адрес и, если со мной что-нибудь случится, напишут тебе немедленно. Так что отсутствие писем будет означать только то, что я в походе, здоров, но негде и некогда писать. Конечно, когда будет возможность, я писать буду.

Целую тебя, моя дорогая Анечка, а также маму, Леву и всех. Напишите Коле-маленькому, что после первого боя я ему напишу. *Твой Коля*».

Гумилев ведет подробнейший дневник военных дней. Потом он получит название «Записки кавалериста». Они будут напечатаны. Вот беглые, сразу, по следам событий, записи...

«Мне, вольноопределяющемуся охотнику одного из кавалерийских полков, работа нашей кавалерии представляется как ряд отдельных, вполне законченных задач, за которыми следует отдых, полный самых фантастических мечтаний о будущем. Если пехотинцы — поденщики войны, выносящие на своих плечах всю ее тяжесть, то кавалеристы — это веселая странствующая артель с песнями, в несколько дней кончающая прежде длительную и трудную работу. Нет ни зависти, ни соревнования. „Вы наши отцы, — говорит кавалерист пехотинцу, — за вами — как за каменной стеной...“»

«Помню, был свежий солнечный день, когда мы подходили к границе Восточной Пруссии. Я участвовал в разъезде, посланном, чтобы найти генерала М., к отряду которого мы должны были присоединиться. Он был на линии боя, но где протянулась эта линия, мы точно не знали. Так же легко, как на своих, мы могли выехать на германцев. Уже совсем близко, словно большие кузнечные молоты, гремели германские пушки, и наши залпами ревели им в ответ. Где-то убедительно быстро на своем ребячьем и странном языке пулемет лопотал непонятное.

Неприятельский аэроплан, как ястреб над спрятавшейся в траве перепелкой, постоял над нашим разъездом и стал медленно спускаться к югу. Я увидел в бинокль его черный крест...»

«Этот день навсегда останется священным в моей памяти. Я был дозорным и первый раз на войне почувствовал, как напрягается воля, прямо до физического ощущения какого-то окаменения, когда надо одному въезжать в лес, где, может быть, залегла неприятельская цепь, скакать по полю, вспаханному и поэтому исключающему возможность быстрого отступления, к движущейся колонне, чтобы узнать, не обстреляет ли она тебя. И в вечер этого дня, ясный нежный вечер, я впервые услышал за редким перелеском нарастающий гул «ура», с которым был взят В. Огнезарная птица победы в этот день слегка коснулась своим огромным крылом и меня...»

«Через несколько дней в одно прекрасное, даже не холодное утро, свершилось долгожданное. Эскадронный командир собрал унтер-офицеров и прочел приказ о нашем наступлении по всему фронту. Наступать — всегда радость, но наступать по неприятельской земле, это — радость, удесятеренная гордостью, любопытством и каким-то непреложным ощущением победы...»

«Очень был забавен один прусский улан, все время удивлявшийся, как хорошо ездят наши кавалеристы. Он скакал, объезжая каждый куст, каждую канаву, при спусках замедлял аллюр, наши скакали напрямик и, конечно, легко его поймали. Кстати, многие наши жители уверяют, что германские кавалеристы не могут сами сесть на лошадь. Например, если в разъезде десять человек, то один сперва подсаживает девятерых, а потом сам садится с забора или пня. Конечно, это легенда, но легенда очень характерная. Я сам видел однажды, как вылетевший из седла германец бросился бежать, вместо того чтобы опять вскочить на лошадь...»

«Вечером мы узнали, что наступление будет продолжаться, но наш полк переводят на другой фронт. Новизна всегда пленяет солдат, но, когда я посмотрел на звезды и вдохнул ночной ветер, мне вдруг стало очень грустно расставаться с небом, под которым я как-никак получил мое боевое крещение...»

«Я понял, что на этот раз опасность действительно велика. Дорога к разъезду мне была отрезана, с двух сторон двигались неприятельские колонны. Оставалось скакать прямо на немцев, но там далеко раскинулось вспаханное поле, по которому нельзя идти галопом, и я десять раз был бы подстрелен, прежде чем вышел бы из сферы огня. Я выбрал среднее и, огибая врага, по-

мчался перед его фронтом к дороге, по которой ушел наш разъезд. Это была трудная минута моей жизни. Лошадь спотыкалась о мерзлые комья земли, пули свистели мимо ушей, взрывали землю передо мной и рядом со мной, одна оцарапала луку моего седла. Я, не отрываясь, смотрел на врагов. Мне были ясно видны их лица, растерянные в момент заряжания, сосредоточенные в момент выстрела. Невысокий, пожилой офицер, странно вытянув руку, стрелял в меня из револьвера. Этот звук выделялся каким-то дискантом среди остальных. Два всадника выскочили, чтобы преградить мне дорогу. Я выхватил шашку, они замялись. Может быть, они просто побоялись, что их подстрелят их же товарищи.

Все это в минуту я запомнил лишь зрительной и слуховой памятью, осознал же это много позже. Тогда я только придерживал лошадь и бормотал молитву Богородице, тут же мною сочиненную и сразу забытую по миновению опасности...»

«Но вот и конец пахотному полю — и зачем люди только придумали земледелие?! — вот канава, которую я беру почти бессознательно, вот гладкая дорога, по которой я полным карьером догоняю свой разъезд. Позади него, не обращая внимания на пули, сдерживает свою лошадь офицер. Дождавшись меня, он тоже переходит в карьер и говорит со вздохом облегчения: «Ну, слава Богу! Было бы ужасно глупо, если б вас убили». Я вполне с ним согласен.

Остаток дня мы провели на крыше одиноко стоявшей халупы, болтая и посматривая в бинокль. Германская колонна, которую мы заметили раньше, попала под шрапнель и повернула обратно. Зато разъезды шныряли по разным направлениям. Порой они сталкивались с нашими, и тогда до нас долетал звук выстрелов. Мы ели вареную картошку, по очереди курили одну и ту же трубку».

Из письма к жене:

«Дорогая моя Анечка, наконец могу написать тебе довольно связно. Сижу в польской избе перед столом на табурете, очень удобно и даже уютно. Вообще война мне очень напоминает мои абиссинские путешествия. Аналогия почти полная: недостаток экзотичности покрывается более сильными ощущеньями. Грустно только, что здесь инициатива не в моих руках, а ты знаешь,

как я привык к этому. Однако и повиноваться мне не трудно, особенно при таком милом ближайшем начальстве, как у меня. Я познакомился со всеми офицерами своего эскадрона и часто бываю у них. Ça me pose parmi les soldats[1], хотя они и так относятся ко мне хорошо и уважительно. Если бы только почаще бои, я был бы вполне удовлетворен судьбой. А впереди еще такой блистательный день, как день вступления в Берлин! В том, что он наступит, сомневаются, кажется, только «вольные», т. е. не военные. Сообщенья главного штаба поражают своей сдержанностью и по ним трудно судить о всех наших успехах. Австрийцев уже почти не считают за врагов, до такой степени они не воины, что касается германцев, то их кавалерия удирает перед нашей, наша артиллерия всегда заставляет замолчать их, наша пехота стреляет вдвое лучше и бесконечно сильнее в атаке, уже потому, что наш штык навинчен с начала боя и солдат стреляет с ним, а у германцев и австрийцев штык закрывает дуло и поэтому его надо надевать в последнюю минуту, что психологически невозможно.

Я сказал, что в победе сомневаются только вольные, не отсюда ли такое озлобленье против немцев, такие потоки клеветы на них в газетах и журналах? Ни в Литве, ни в Польше я не слыхал о немецких зверствах, ни об одном убитом жителе, изнасилованной женщине. Скотину и хлеб они действительно забирают, но, во-первых, им же нужен провиант, а во-вторых, им надо лишить провианта нас; то же делаем и мы, и поэтому упреки им косвенно падают и на нас — а это несправедливо. Мы, входя в немецкий дом, говорим «gut» и даем сахар детям, они делают то же, приговаривая «карошь». Войско уважает врага, мне кажется, и газетчики могли бы поступать так же. А рождается рознь между армией и страной. И это не мое личное мненье, так думают офицеры и солдаты, исключенья редки и трудно объяснимы или, вернее, объясняются тем, что «немцеед» находился все время в глубоком тылу и начитался журналов и газет.

Мы, наверно, скоро опять попадем в бой, и в самый интересный, с кавалерией. Так что вы не тревожьтесь, не получая от меня некоторое время писем, убить меня не убьют (ты ведь знаешь, что поэты — пророки), а писать будет некогда. Если будет можно, после боя я

[1] Это меня выделяет среди солдат *(франц.)*.

пришлю телеграмму, не пугайтесь, всякая телеграмма непременно успокоительная.

Теперь про свои дела: я тебе послал несколько стихотворений, но их в «Войне» надо заменить, строфы 4-ю и 5-ю про дух следующими:

Тружеников, медленно идущих
На полях, омоченных в крови,
Подвиг сеющих и славу жнущих,
Ныне, Господи, благослови.

Как у тех, что гнутся над сохою,
Как у тех, что молят и скорбят,
Их сердца горят перед тобою,
Восковыми свечками горят.

Но тому, о Господи, и силы... и т. д.

Вот человек предполагает, а Бог располагает. Приходится дописывать письмо стоя и карандашом.

Вот мой адрес: 102 полевая контора. Остальное все как прежде. *Твой всегда Коля*».

Из воспоминаний ротмистра Ю. В. Янишевского:

«С удовольствием сообщу... все, что запомнилось мне о совместной моей службе с Н. С. Гумилевым в полку улан Ее Величества. Оба мы одновременно приехали в Крачевицы (Новгородской губернии) в Гвардейский запасной полк и были зачислены в маршевой эскадрон лейб-гвардии уланского Ее Величества полка. Там вся восьмидневная подготовка состояла лишь в стрельбе, отдании чести и езде. На последней больше 60% провалилось и было отправлено в пехоту, а на стрельбе и Гумилев, и я одинаково выбили лучшие и были на первом месте.

Гумилев был на редкость спокойного характера, почти флегматик, спокойно храбрый и в боях заработал два креста. Был он очень хороший рассказчик и слушать его, много повидавшего в своих путешествиях, было очень интересно. И особенно мне — у нас обоих была любовь к природе и скитаниям. И это нас быстро сдружило. Когда я ему рассказал о бродяжничествах на лодке, пешком и на велосипеде, он сказал: «Такой человек мне нужен, когда кончится война, едем на два года на Мадагаскар...» Увы! Все это оказалось лишь мечтами».

В 1914 году написано:

Зимой 1913/14 года — стихотворение «Китайская девушка».

Конец 1913 — начало 1914 года — поэма «Мик и Луи».

Начало года — стихотворение «Юдифь».

1 марта — стихотворение «Как путник, препоясав чресла...».

16 марта — стихотворение: «Долго молили о танце мы вас, но молили напрасно...», посвященное Т. П. Карсавиной.

Первая половина года — стихотворения: «Почтовый чиновник» и «Какая странная нега...».

Конец мая — стихотворение «Как этот вечер грузен, не крылат...», рассказ «Африканская охота».

Первая половина июля — рассказ «Путешествие в страну Эфира».

20 июля — стихотворение «Новорожденному» («Вот голос, томительно звонок...») — на рождение сына М. Л. Лозинского.

Первые числа октября — на фронте написано стихотворение «Наступление».

С 20 по 25 октября — пишет «Записки кавалериста».

Не позже первой половины ноября — стихотворение «Война».

Декабрь — пишет «Записки кавалериста».

Конец года — написано на фронте стихотворение «Солнце духа».

Напечатано:

Стихотворения: «Долго молили о танце мы вас...» (в юбилейном сборнике Т. П. Карсавиной. Изд. «Бродячей собаки», 26 марта); «Мотив для гитары» («Ушла, завяли ветки...») (Новая жизнь, № 3); «Китайская девушка» (Русская мысль, № 7); «Африканская ночь» (приложение к жур. «Нива», № XI); «Пролетела стрела...» (Лукоморье, № 1); «Юдифь» (Новая жизнь, декабрь); «Наступленье» (Аполлон, № 10).

Переводы: Вьеле Гриффен. «Кавалькада Изольды» со вступительной заметкой (Северные записки, № 1); Роберт Броунинг. «Пиппа проходит» (Северные записки, № 3, 4).

Статья. «Умер ли Менелик?» (Нива, № 5). В статье приведена одна абиссинская песня в переводе Н. Гумилева.

«Письма о русской поэзии»: первое — «О. Мандельштам. Камень»; «В. Комаровский. Первая пристань»; «И. Анненский. Фамира-Кифаред»; «Федор Сологуб. Жемчужные светила» (Аполлон, № 1—2). Второе — «С. Городецкий. Цветущий посох. Изд-во «Грядущий день». СПБ.»; «Анна Ахматова. Четки. Гиперборей. СПБ.»; «Павел Радимов. Земная риза (Казань); «Георгий Иванов. Горница. Гиперборей. СПБ.»; «Владислав Ходасевич. Счастливый домик. Изд. «Гальцнона», 1914» (Аполлон, № 5).

О Гумилеве:

Рецензии на «Эмали и камеи» — Н. Венгерова (Современник, № 11); Л. Войтоловского (газ. «Киевская мысль», № 103); Н. Я. Абрамовича (Новая жизнь, № 9); М. Дол[инова] (сборник «Петроградские вечера». Кн. IV), М. (газ. «Раннее утро», № 84); Н. Н-ского (газ. «Саратовский вестник», № 92); Аркадия А-това (приложение к жур. «Нива», № 4); А. Левинсона (бесплатное приложение к газ. «День», № 97); С. Городецкого (Речь, № 127).

Б. Садовский. Конец акмеизма (Современник, кн. 13—15).

П. Пиш. В борьбе за землю (Новый журнал для всех, № 3).

1915

И наши тени мчатся сзади...

Из дневника Лукницкого

13 января 1915 г. приказом по Гвардейскому кавалерийскому корпусу от 24 декабря 1914 г. за № 30 Гумилев награжден Георгиевским крестом 4 ст. № 134060. 15 января 1915 г. за отличие в делах против германцев произведен в унтер-офицеры.

В конце января Гумилев был командирован в Петроград с поручением от полка.

Друзья, воспользовавшись счастливым случаем, устроили в «Бродячей собаке» вечер в его честь. Они гордились Гумилевым, ведь он, единственный из сотрудников «Аполлона», так решил свою судьбу — в трудный для Отечества час пошел его защищать.

Из дневника Лукницкого

24.03.1926

1914 год — последний год, когда АА была в «Бродячей собаке». Перестала бывать с началом войны. После объявления войны была только раз, когда Николай Степанович приезжал с фронта и его чествовали. Но АА пришла в «Собаку» тогда очень ненадолго — сейчас же ушла.

Сказочным, наверное, ему показался тот вечер — свечи, голубые кольца сигарного дыма, тихий звон бокалов, его стихи в любимом подвале, и слова восхищенные о нем... Над Петербургом кружилась метель, завеса снежного ветра, как занавес меж домами и улицами... а чуть дальше — завеса из пороха, гари и смерти — фронт и гибель... Торжественные слова о себе слушать и сладостно, и страшно, и странно.

Через несколько дней — снова на фронт, и снова — рейды, разъезды, засады, атаки, наступления и отступления. И так полтора месяца без передышки.

Зима была поздняя, стояли сильные морозы. Гумилев простудился: всю ночь провел в седле, наутро — жар, бред. Оказалось — воспаление почек. Его привезли в Петербург и поместили в лазарет деятелей искусств.

Лазарет находился на Введенской (ныне Олега Кошевого) улице, в доме № 1.

Гумилев пролежал два месяца. В лазарете за ним ухаживала сестра милосердия А. Бенуа. Две недели он лежал терпеливо, а потом ему показалось, что он поправился, стал выходить на улицу. Но его снова и надолго уложили.

В лазарете он познакомился с М. А. Струве[1], подружился с ним, постоянно играл с ним в шахматы.

Врачи, по состоянию здоровья Гумилева, признали его негодным к военной службе, но он выпросил переосвидетельствования и признания его годным и добился-таки — уехал на фронт. Весь июль — в непрерывных боях. За один из них Гумилев был представлен ко второму Георгиевскому кресту 3-й степени (получен 25 декабря 1915 года приказом по 2-й Гвардейской кавалерийской дивизии за № 148-б).

В конце лета получил передышку в несколько дней.

Желанный отпуск. Много людей жаждет видеть Гумилева, вопрос у всех один: как там на войне? И Гумилев рассказывает — о крови, о бессмысленности убийства, о человеческом терпении, о беззащитности людей перед судьбой. Он вспоминает чью-то понравившуюся ему мысль о том, что главная опасность всех народолюбивых ораторских выступлений в том, что они создают у народов впечатление, будто ради спасения мира что-то делается. А что сделано на самом деле? Ровным счетом ничего...

В сентябре он приехал в Петроград, немного пожил в Царском, на Малой, 63, ожидая перевода в 5-й Александрийский гусарский полк. Организовывал собрания — хотел объединить литературную молодежь, надеялся, что эти собрания в какой-то степени заменят распавшийся перед войной «Цех». На собраниях бывали: Мандельштам, Шилейко, Лозинский, Струве, Тумповская, Берман...

Несколько раз посетил он и заседания «Кружка Случевского»[2]. На одном из них познакомился и по-

---

[1] Михаил Александрович Струве (1890—1948) — поэт, из «младших акмеистов», племянник Петра Бернгардовича Струве, редактора-издателя журнала «Русская мысль».

[2] Эти поэтические вечера родились в последнем десятилетии XIX века. Регулярно, два раза в месяц, по пятницам происходили они на квартире поэта К. К. Случевского (1837—1904). После смерти поэта, в его память, был создан кружок «Вечера Случевского», объединявший многих петербургских поэтов до конца 17 года.

дружился с Марией Лёвберг, переводчицей, начинающей поэтессой. Прочитал сборник ее стихов «Лукавый странник»:

«Стихи ваши обличают вашу поэтическую неопытность. В них есть почти все модернистские клише, начиная от изображения себя, как рыцаря под забралом, и кончая парижскими кафе, ресторанами и даже цветами в шампанском... Конечно, это еще не книга, а только голос поэта, заявляющего о своем существовании.

Однако во многих стихотворениях чувствуется подлинно поэтическое переживание, только не нашедшее своего настоящего выражения. Материал для стихов есть: это — энергия солнца в соединении с мечтательностью, способность видеть и слышать и какая-то строгая и спокойная грусть, отнюдь не похожая на печаль».

Из дневника Лукницкого

5.04.1925

АА: «Затем 24 декабря мы уехали. До Вильно — вместе. Потом я поехала в Киев (одна). Погостила в Киеве у мамы. В начале января я вернулась в Царское Село. Это уже пятнадцатый год? Да, пятнадцатый...

Вот тут, в конце января, читала в Думе стихи Николая Степановича.

Я знаю, что в конце января это было. Весной 15 года переехали в Петербург (из Царского) на Пушкарскую улицу... «Пагода» тот дом назывался. Была серая и темная комната, была очень плохая погода, и там я заболела туберкулезом, т. е. у меня сделался бронхит. Чудовищный совершенно бронхит. Это было в первый раз в жизни, что я так кашляла. И вот, с этого бронхита и пошло все. Я так себе представляю — что я, вероятно, апрель, май там провела, вот так.... Потом уехала в Слепнево. (В мае или в июне я уехала.) Вот это — военные письма Николая Степановича относятся к этому времени. В Слепневе я очень заболела — туберкулез стал развиваться, и было решено меня отправить на юг, в Крым. Я приехала в Царское одна — летом 15 года, чтобы отправиться оттуда.

Потом приехал Николай Степанович в Царское. (Я приехала в Петербург в день взятия Варшавы и сразу — в Царское.)

Приехал Николай Степанович. Мы жили во флигеле. Дом был сдан кому-то на лето (так всегда было). По-

том Николай Степанович уехал на фронт. Опять я была у профессора Ланга. Ланг мне тогда удостоверил впервые, что у меня есть в верхушке туберкулезный процесс, и велел ехать в Крым. Я по 6 часов в день должна была лежать на воздухе. Я так и делала. (В Царском Селе.) Я получила телеграмму, что отец болен очень. Приехала к нему (на Крестовский остров, набережная Средней Невки) и 12 дней была при нем, ухаживала за ним вместе с Еленой Ивановной Страннолюбской (та дама, которая с ним жила лет 25...). 25 августа папа скончался. Я вернулась в Царское. Приблизительно в октябре — в Хювинькуу поехала, в санаторий. Там Коля меня два раза навещал — в Хювинькуу. Привез меня, потому что я не согласилась там оставаться дольше (недели три там пробыла). Потом вернулась в Царское, где и оставалась до весны 16 года».

В начале 1915 года в утреннем выпуске газеты «Биржевые ведомости» появилась первая корреспонденция Гумилева с фронта. Так начались «Записки кавалериста». Было двенадцать публикаций. Они печатались почти целый год. Люди узнавали будничную, обыкновенную человеческую жизнь на фронте — где не было громких патриотических фраз, раздирающих душу кошмаров кровавой бойни, захватывающих приключений разведчиков — ничего этого не было, но люди узнавали поденный серый труд войны, иссушающий душу. Как бы свято ни было чувство долга, Гумилев — честный, храбрый солдат — боялся войны, боялся греха убийства.

Гумилев пишет свои корреспонденции, добросовестно выполняя условия редакции и стараясь даже в такое «неточное время» быть четким и аккуратным, — его материалы выходят регулярно, у них много читателей. Гумилевские корреспонденции, простые и человечные, напоминают солдатские письма с фронта.

«Позади нас бой разгорелся. Трещали винтовки, гремели орудийные разрывы, видно было, что там горячее дело. Поэтому мы не удивились, когда влево от нас лопнула граната, взметнув облако снега и грязи, как бык, с размаха ткнувшийся рогами в землю. Мы только подумали, что поблизости лежит наша пехотная цепь. Снаряды рвались все ближе и ближе, все чаще и чаще, мы нисколько не беспокоились и только подъ-

ехавший, чтобы увести нас, офицер, сказал, что пехота отошла, и это обстреливают именно нас. У солдат сразу просветлели лица. Маленькому разъезду лестно, когда на него тратят тяжелые снаряды.

По дороге мы увидели наших пехотинцев, угрюмо выходящих из лесу и собирающихся кучками. «Что, земляки, отходите?» — спросил я их. «Приказывают, а нам что? Хоть бы и не отходить... что мы позади потеряли», — недовольно заворчали они...

В донесениях о таких случаях говорится: под давлением превосходящих сил противника наши войска должны были отойти. Дальний тыл, прочтя, пугается, но я знаю, видел своими глазами, как просто и спокойно совершаются такие походы».

О стихах той поры, вошедших в сборник «Колчан», пишет В. М. Жирмунский: «...в военных стихах муза Гумилева нашла себя действительно до конца. Эти стрелы в «Колчане» самые острые, здесь прямая, простая и напряженная мужественность поэта создала себе самое достойное и подходящее выражение. ...Он вырос в большого и взыскательного художника. Он и сейчас любит риторическое великолепие пышных слов, но он стал скупее и разборчивее в выборе слов и соединяет прежнее стремление к напряженности и яркости с графической четкостью словосочетаний».

ВОЙНА

Как собака на цепи тяжелой,
Тявкает за лесом пулемет,
И жужжат шрапнели, словно пчелы,
Собирая ярко-красный мед.

А «ура» вдали, как будто пенье
Трудный день окончивших жнецов.
Скажешь: это мирное селенье
В самый благостный из вечеров.

И воистину светло и свято
Дело величавое войны,
Серафимы, ясны и крылаты,
За плечами воинов видны.

Тружеников, медленно идущих
На полях, омоченных в крови,
Подвиг сеющих и славу жнущих,
Ныне, Господи, благослови.

Как у тех, что гнутся над сохою,
Как у тех, что молят и скорбят,

Их сердца горят перед Тобою,
Восковыми свечками горят.

Но тому, о Господи, и силы
И победы царский час даруй,
Кто поверженному скажет: — Милый,
Вот, прими мой братский поцелуй!

Из дневника Лукницкого

26.04.1925

Н. С. никогда не имел дела с меценатами и никогда к ним не обращался. «Путь конквистадоров» он издал на свои деньги, «Сириус» — тоже на последние свои; «Романтические цветы» — на свои. «Жемчуга» взял «Скорпион» — даром. Н. С. ничего не получил за «Жемчуга». «Чужое небо» издавал сам. За «Эмали и камеи» он получил 300 рублей, проработав над ними год. «Колчан» — сам.

АА помнит, как было с «Колчаном».

Кожебаткин (издатель «Альциона» — Москва) приехал в Царское Село к ней просить у нее сборник. Это было зимой 15—16-го (вернее, осенью 15 года). В это время выходило третье или четвертое (кажется, третье) издание «Четок». АА сказала ему, что всегда предпочитает издавать сама и, кроме того, у нее нет материала на сборник («Белая стая» еще не была готова). Во время разговора Н. С. спустился из своей находившейся во втором этаже комнаты к ней. Кожебаткин предложил взять у него «Колчан» (об издании которого Николай Степанович уже начал хлопотать). Н. С. согласился и предложил ему издать также «Горный ключ» Лозинского, «Облака» Г. Адамовича и книгу Г. Иванова (АА, кажется, назвала «Горницу». Не помню). Кожебаткин для видимости согласился.

А потом рассказывал всюду, что Гумилев подсовывает ему разных, неизвестных в Москве, авторов...

Из этого видно, что Н. С. хлопотал о том же Г. Иванове, который его бесчестит сейчас. Да, надо только вспомнить, что говорят в своих воспоминаниях и С. Ауслендер, и другие — все они рассказывают, как Н. С. всегда выдвигал молодых.

....Издатели (а издатели, как известно, не меценаты, известно, как они стараются выжать все соки) — Михайлов, издавший пять книг, Вольфсон, Блох, которому Николай Степанович продал книги за мешок картошки.

Уже осенью 18 года, то есть получив деньги от Михайлова за пять книг, Николай Степанович голодал, не имея ни гроша, — велики же, значит, были эти деньги!

В течение 1915 года написано:

В начале года на фронте — стихотворение «Священные плывут и тают ночи...».

Весна — стихотворения: «Средневековье» (посвящ. Бенуа), «Счастье», «Восьмистишие», «Ода д'Аннунцио», «Дождь», «Больной»; второй отрывок «Записок кавалериста».

15 апреля — две канцоны: «Об Адонисе с лунной красотой...» и «Словно ветер страны счастливой...».

Октябрь — ноябрь — стихотворения: «Андрей Рублев», «Змей» и новое окончание «Пятистопных ямбов».

Декабрь — стихотворения: «Я не прожил, я протомился...» и «Стансы» («Над этим островом какие выси...»).

Зима 1915/16 года — стихотворение «Смерть» («Есть так много жизней достойных...»).

Между осенью 1915 и началом 1916 года — стихотворение «Деревья».

Напечатано:

Стихотворения: «Ода д'Аннунцио» (Биржевые ведомости, утренний выпуск, 12 мая); «Сестре милосердия» и «Ответ сестры милосердия», (альм. «Петроградские вечера», № 4); «Как могли мы прежде жить в покое...» (Невский альманах, вып. 1; Аполлон, № 4—5. Как цитата в обзоре Г. Иванова); «Восьмистишие» и «Больной» (Вершины, № 25); «Средневековье» (Вершины, № 29—30); «Об Адонисе с лунной красотой...» (Вершины, № 31—32); «Любовь» — 1-е и 2-е стихотворения (Вершины, № 8); «Как этот ветер грузен, не крылат...»; «Вечер» и «Над этим островом какие выси...» (под загл. «На острове») (альм. «Цевница». Кн. 1, Пг.); «Новорожденному» (Новый журнал для всех, № 2; альм. «В тылу», Изд. М. В. Попова, Пг.); «Война» (Аполлон, № 1); «Наступление» (альм. «В тылу». Изд. М. В. Попова, Пг.); «Старая дева» (альм. «Новая жизнь», ноябрь); «Дождь» (Русская мысль, № 7); «Конквистадор» (Лукоморье, № 50); «Жалобы влюбленных» (Новый журнал для всех, № 5).

«Записки кавалериста» (отдельными главами — в газ. «Биржевые ведомости». Утренний выпуск, 3 февраля, 3 мая, 19 мая, 3 июня, 6 июня, 4 ноября, 22 ноября, 5 декабря, 13 декабря, 14 декабря, 19 декабря, 22 декабря).

«Письма о русской поэзии»: «Мария Лёвберг. Лукавый странник. Пг., 1915»; «Л. Берман. Неотступная свита. Пг., 1915»; «М. Долинов. Радуга. Пг., 1915»; «Александр Корона. Лампа Аладдина. Пг., 1915»; «Чролли. Гуингле. Пг., 1915»; «Анат. Пучков. Последняя четверть луны. Пг., 1915»; «Тихон Чурилин. Весна после смерти. М., 1915»; «Гр. А. Салтыков. По старым следам. Пг., 1915»; «Кн. Г. Гагарин. Стихотворения. Пг., 1915»; «Влад. Пруссак. Цветы на свалке, 1915» (Аполлон, № 10).

15 декабря. Вышел с маркой издательства «Гиперборей» сборник стихов «Колчан», посвященный Т. Адамович.

О Гумилеве:

В течение года напечатаны следующие отзывы об Н. Г.:

С. Ауслендер. Литературные заметки. Книга злости. Рецензия на «Озимь» Б. Садовского (газ. «День», 22 марта).

И. Оксенов. Взыскательный художник. (Новый журнал для всех, № 10).

Г. Иванов. Военные стихи. Обзор (Аполлон, № 4—5); об Н. Гумилеве — с. 82—86; приводится целиком стихотворение «Как могли мы прежде жить в покое...».

И. Иванов. Стихи о России Александра Блока. Статьи (Аполлон, № 8—9); упоминания о Гумилеве на с. 96—99 и цитата из стихотворения «Как могли мы прежде жить в покое...».

1916

В невыразимый этот миг...

Зиму 1915/16 года Гумилев почти всю провел в Петрограде. Он много читает. В круге его чтения — книги, раньше не так занимавшие его, — религиозные, особенно работы замечательного ученого, священника Павла Флоренского. «У человека есть свойство все приводить к единству, — заметил однажды Гумилев, — по большей части он приходит этим путем к Богу».

Часто бывает в церкви — всегда один. Дважды говел в царскосельском Екатерининском соборе.

Пишет пьесу «Дитя Аллаха». В мрачное, суровое время — как несбывшаяся мечта о путешествии — загадочный, роскошный, пряный мир Востока... Сказка о любви, вернее — о невозможности той любви, о которой грезит человек.

28 марта Гумилева наконец произвели в прапорщики и перевели в 5-й Александрийский Ее Величества государыни императрицы Александры Федоровны гусарский полк.

Весной 1916 года Гумилев заболел бронхитом. Болезнь усугублялась плохим настроением. В 5-м Александрийском полку, куда он так настойчиво стремился, начальство оказалось грубым, примитивным: к его военным дневникам отнеслось подозрительно и в итоге запретило печатать «Записки кавалериста».

Болезнь затянулась, врачи обнаружили процесс в легких, и Гумилев был отправлен на лечение в Царское Село в лазарет Большого дворца. В этот период он познакомился с О. Н. Арбениной и, чуть позже,— с Анной Николаевной Энгельгардт, своей будущей женой. Летом, когда острый процесс в легких был при-

остановлен, Гумилев уехал почти на полтора месяца в Массандру, оттуда, по дороге на фронт, заехал в Севастополь в надежде повидать жену, но, не застав ее, отправился на три дня к А. Н. Энгельгардт в Иваново-Вознесенск.

Из дневника Лукницкого

1924

Август 1916. Надпись на книге Т. Готье «Эмали и камеи»:

Об Анне, о дивной
Единственной Анне,
Я долгие ночи мечтаю
без сна.
Прекрасней прекрасных,
Желанней желанных —
она.

(Сообщено Лукницкому
Анной Николаевной Энгельгардт. — *В. Л.*)

Вспоминает Ю. Топорков (1937): «...В 1916 году, когда Александрийский гусарский полк стоял в окопах на Двине, штаб-ротмистру А. Посажному пришлось в течение двух месяцев жить в одной с Гумилевым хате. Однажды, идя в расположение 4-го эскадрона по открытому месту, штаб-ротмистры Шахназаров и Посажной быстро спрыгнули в окоп. Гумилев же нарочно остался на открытом месте и стал зажигать папироску, бравируя своим спокойствием. Закурив папиросу, он затем тоже спрыгнул с опасного места в окоп, где командир эскадрона сильно разнес его за ненужную в подобной обстановке храбрость — стоять без цели на открытом месте под неприятельскими пулями...»

Вспоминает штаб-ротмистр Карамзин: «Под осень 1916 года подполковник фон Радецкий сдавал свой четвертый эскадрон штаб-ротмистру Мелик-Шахназарову. Был и я у них в эскадроне на торжественном обеде по этому случаю.

Во время обеда вдруг раздалось постукивание ножа о край тарелки, и медленно поднялся Гумилев. Размеренным тоном, без всяких выкриков, начал он свое сти-

хотворение, написанное к этому торжеству. К сожалению, память не сохранила мне из него ничего. Помню, только были слова: «Полковника Радецкого мы песнею прославим...» Стихотворение было длинное и было написано мастерски. Все были от него в восторге.

Гумилев важно опустился на свое место и так же размеренно продолжал свое участие в пиршестве. Все, что ни делал Гумилев, — он как бы священнодействовал».

Во второй половине августа Гумилев приехал из полка в Петроград, чтобы держать экзамен в Николаевском кавалерийском училище на корнета. Съездил в Царское к семье, потом снял комнату на Литейном, 31, кв. 14, и прожил там до конца октября.

В редакции «Аполлона» прочел Маковскому и Лозинскому свою пьесу «Гондла». До этого читал ее Карсавиной и Тумповской.

Летом Г. Иванов и Г. Адамович все же организовали 2-й «Цех Поэтов» и, естественно, жаждали участия Гумилева. В сентябре весьма неудачно прошло первое заседание, по сравнению с довоенным «Цех» оказался бледным и вялым и к осени 1917-го прекратил свое существование.

Вспоминает О. Мочалова: «Маргарита (Тумповская. — *В. Л.*) была очень мила и доверительна со мной. Она рассказывала, что с детства увлекалась магией, волшебством, мысленно была прикована к Халдее. Придавала значенье талисманам... Когда мы встретились, она была убежденной антропософкой. Ходила с книгами индусских мудрецов, йогов...

В июле 1916 года, гуляя со мной по Массандровской улице в Ялте, Николай Степанович прочел мне «Сентиментальное путешествие», как недавно написанное. Я подумала — как должна быть счастлива та, вызвавшая «пестрокрылый сон»...

Маргарита (Мага — называли ее близкие) немало рассказывала мне о своем романе с Гумилевым...»

Гумилев как-то сказал о том, что, когда он пишет стихи, горит часть его души, когда влюблен — горит вся душа. Не самое ли притягательное в любви — ил-

люзия близости, уход из одиночества? Каждый раз конечно же ошибаешься, но надежда всегда так заманчива и так хочется верить...

...Они встретились в «Привале комедиантов»[1] на Марсовом поле. Молодой писательнице Ларисе Рейснер нравились стихи Гумилева. Она даже пыталась подражать ему. За прическу и страсть к античности Ларису прозвали «ионическим завитком». А поэт был чувствителен к красоте...

И вот, осенью 1916 года, в памятный для обоих вечер, он провожал ее домой. Провожал не восторженную окололитературную дамочку, а вполне сложившуюся личность, автора книги и многих публикаций, студентку Психоневрологического института.

Пространные письма Гумилев писал только Брюсову, его учителю, советчику и издателю. Остальным — всегда сдержанно. Поэтому письма Ларисе в стихах — говорят о многом.

Что я прочел? Вам скучно, Лери,
И под столом лежит Сократ,
Томитесь Вы по древней вере? —
Какой отличный маскарад!..

Конверт с надписью «Здесь» шел из одной петроградской почты в другую. Почтальоны хорошо знали адрес. Еще совсем недавно семейство Рейснер издавало журнал «Рудин», где, по очень резкому свидетельству Блока, отец писал «всякие политические сатиры», мать — рассказы, «пропахнувшие „меблирашками“», а дочь — «стихи и статейки». Каждый день приходила солидная пачка писем. В основном — ругательных...

Очень скоро Лариса начнет сотрудничать в легально-марксистской горьковской «Летописи», которая именно в это время печатает первые рассказы Бабеля, поддерживает Маяковского, а в 1918 году вступит в Коммунистическую партию.

Она чрезвычайно быстро разобралась в событиях. Не многие интеллигенты могли тогда так четко представить себе их ход. Уже в конце 1916 года Лариса писала родителям с Волги: «За Россию бояться не надо, в маленьких сторожевых будках, в торговых селах, по всем причалам этой великой реки — все уже

---

[1] Артистический кабачок, точнее, уже довольно «шикарный» ресторан-кабаре, пришедший на смену «Бродячей собаке». Организатором его был тот же Б. К. Пронин.

бесповоротно решено. Здесь все знают, ничего не простят и никогда не забудут...»

И чуть позднее на этой самой Волге Лариса Рейснер стала комиссаром разведотряда при штабе армии (широко известно, что она была прообразом Комиссара в «Оптимистической трагедии» Вс. Вишневского).

В начале ноября 1916 года Гумилев пишет из действующей армии: «...больше двух недель, как я уехал, а от Вас ни одного письма. Не ленитесь и не забывайте меня так скоро, я этого не заслужил. Я часто скачу по полям, крича навстречу ветру Ваше имя, снитесь Вы мне почти каждую ночь. И скоро я начинаю писать новую пьесу, причем, если Вы не узнаете в героине себя, я навек брошу литературную деятельность».

Приходит ответ от Л. Рейснер: «Мне трудно Вас забывать. Закопаешь все по порядку, так что станет ровное место, и вдруг какой-нибудь пустяк, ну, мои старые духи или что-нибудь Ваше — и вдруг начинается все сначала и в историческом порядке...»

Ларису Рейснер нетрудно понять. Гумилев не принадлежал к числу легко забывающихся людей. Знаменитый поэт. Храбрый солдат. Несмотря на молодость — глава модной поэтической школы. Кроме всего прочего, Гумилев обещал для «Летописи» пьесу. «...Заказанная Вами мне пьеса (о Кортесе и Мексике) с каждым часом вырисовывается передо мной ясней и ясней. Сквозь «магический кристалл» (помните, у Пушкина) я вижу до мучительности яркие картины, слышу запахи, голоса. Иногда я даже вскакиваю, как собака, увидевшая взволновавший ее сон. Она была бы чудесна, моя пьеса, если бы я был более искусным техником...»

Красный идол на белом камне
Мне поведал разгадку чар,
Красный идол на белом камне
Громко крикнул — Мадагаскар!

«...Я знаю, что на Мадагаскаре все изменится. И я уже чувствую, как в какой-нибудь теплый вечер, вечер гудящих жуков и загорающихся звезд, где-нибудь у источников в чаще красных гвоздик и палисандровых деревьев, Вы мне расскажете такие чудесные вещи, о которых я только смутно догадывался в мои лучшие минуты...», — пишет ей Гумилев.

Лариса Рейснер тоже была непоседой: «Ах, привезите с собой в следующий раз поэму, сонет, что хотите,

о янычарах, о семиголовом цербере, о чем угодно, милый друг, но пусть опять ложь и фантазия украсятся всеми оттенками павлиньего пера и станут моим Мадагаскаром, экватором, эвкалиптовыми и бамбуковыми чащами», — читаем мы в ответе Рейснер, написанном в тон Гумилеву.

Между тем письма с обеих сторон становятся все нежней... «Лери» и «Гафиз» — так они обращались друг к другу. «На все, что я знаю и люблю, я хочу посмотреть, как сквозь цветное стекло, через Вашу душу, потому что она действительно имеет свой особый цвет... Я помню все Ваши слова, все интонации, все движения, но мне мало, мало, мне хочется еще. Я не очень верю в переселенье душ, но мне кажется, что в прежних своих переживаниях Вы всегда были похищаемой Еленой Спартанской, Анжеликой из Неистового Роланда и т. д. Так мне хочется Вас увезти. Я написал Вам сумасшедшее письмо, это оттого, что я Вас люблю. *Ваш Гафиз»*.

«Застанет ли Вас мое письмо, мой Гафиз?.. Не сегодня, завтра начнется февраль. По Неве разгуливает теплый ветер с моря — значит, кончен год (я всегда год считаю от зимы до зимы) — мой первый год, не похожий на все прежние: какой он большой, глупый, длинный — как-то слишком сильно и сразу выросший. Я даже вижу на носу массу веснушек и невообразимо длинные руки. Милый Гафиз, как хорошо жить».

Предчувствие не обмануло Рейснер. Пройдет совсем немного времени, и будет «год, не похожий на все прежние». Грянет Февральская революция. Порядок, господствовавший сотни лет, рухнет с фантастической быстротой, самодержец всея Руси будет свергнут, и весь уклад жизни мгновенно изменится.

Опередим чуть-чуть время — скажем, что в апреле 1917 года состоялась их последняя встреча. О чем говорили они на этот раз — кто знает! Скорее всего, не о Мексике и не о Мадагаскаре... Больше Гумилев писем не писал, послал две открытки с канцонами. Гафиз превратился сначала в «Н. Г.», «Н. Гумилева» и, нако-

нец, в «преданного Вам Н. Гумилева». В последней коротенькой открытке, посланной из Швеции, по дороге в Лондон, он пишет: «Развлекайтесь, но не занимайтесь политикой».

...Волшебница, я не случайно
К следам ступней твоих приник,
Ведь я тебя увидел тайно
В невыразимый этот миг.

Ты розу белую срывала
И наклонялась к розе той,
А небо над тобой сияло
Твоей залито красотой.

И вот перед нами — последнее письмо Рейснер Гумилеву:

«...В случае моей смерти, все письма вернутся к Вам. И с ними то странное чувство, которое нас связывало и такое похожее на любовь.

И моя нежность — к людям, к уму, поэзии и некоторым вещам, которая благодаря Вам — окрепла, отбросила свою собственную тень среди других людей — стала творчеством. Мне часто казалось, что Вы когда-то должны еще раз со мной встретиться, еще раз говорить, еще раз все взять и оставить. Этого не может быть, не могло быть. Но будьте благословенны Вы, Ваши стихи и поступки. Встречайте чудеса, творите их сами. Мой милый, мой возлюбленный. И будьте чище и лучше, чем прежде, потому что действительно есть Бог. *Ваша Лери*».

Из дневника Лукницкого

10.02.1926

В 1916 году АА была в «Привале комедиантов» (единственный раз, когда она была там), было много народу. В передней, уходя, АА увидела Ларису Рейснер и попрощалась с ней; та, чрезвычайно растроганная, со слезами на глазах, взволнованная, подошла к АА и стала ей говорить, что она никак не думала, что АА ее заметит и тем более заговорит с ней... (Она имела в виду Николая Степановича и поэтому была поражена.) «А я и не знала».

12.01.1926

АА: «Меня удивило, что Лозинский прошлый раз говорил о Рейснер...» Я: «А вы знаете, какова она на самом деле?» АА: «Нет, я ничего не знаю. Знаю, что она писала стихи, совершенно безвкусные. Но она все-таки была настолько умна, что бросила писать их».

8.04.1926

После разговора с АА о разводе (1918 г. — *В. Л.*) Николай Степанович и АА поехали к Шилейко, чтобы поговорить втроем. В трамвае Николай Степанович, почувствовавший, что АА совсем уже эмансипировалась, стал говорить «по-товарищески»: «У меня есть, кто бы с удовольствием пошел за меня замуж. Вот Лариса Рейснер, например... Она с удовольствием бы...» (Он не знал еще, что Лариса Рейснер уже замужем.)

...Ларисе Рейснер назначил свидание на Гороховой в доме свиданий. Л. Р.: «Я так его любила, что пошла бы куда угодно» (рассказывала в августе 1920 г.).

По всей вероятности, здесь Ахматова ошиблась в месяцах, потому что в другой записи дневника Лукницкого от 10.04.1926 обозначен сентябрь. «1920, сентябрь. У АА была Лариса Рейснер. Много говорили о Гумилеве». А про август 1920-го записано так:

Из дневника Лукницкого

17.04.1925

Летом (в августе) 1920-го было критическое положение: Шилейко во Вс. Лит. (изд-во «Всемирная литература». — *В. Л.*) ничего не получал. Всем. лит. совсем перестала кормить. Не было абсолютно ничего. Жалованья за месяц Шилейко хватало на 1/2 дня (по расчету). В этот момент неожиданно явилась Н. Павлович с мешком риса от Л. Рейснер, приехавшей из Баку. В Ш. Д., где жила АА, все в это время были больны дизентерией. И АА весь мешок раздала всем живущим — соседям. Себе, кажется, раза два всего сварила кашу. Наступило прежнее голодание. Тут приехала Нат. Рыкова и увезла АА на 3 дня в Ц. С. АА верну-

лась в Шер. Дом. Снова голод. Тут (зав. Рус. музеем) со своего огорода подарил АА несколько корешков, картофелинок молодых — всего, в общем, на один суп. Варить суп было не на чем и нечем — не было ни дров, ни печки, ни машинки (?), и АА пошла в Училище правоведения, где жил знакомый, у которого можно было сварить суп. Сварила, завязала кастрюльку салфеткой и вернулась с ней в Шер. Д. Вернулась — застала у себя Л. Рейснер — откормленную, в шелковых чулках, в пышной шляпе... Л. Рейснер пришла рассказывать о Николае Степановиче... Она была поражена увиденным, и этой кастрюлькой, и видом АА, и видом квартиры, и Шилейко, у которого был ишиас и который был в очень скверном состоянии. Ушла. А ночью, приблизительно в половине двенадцатого, пришла снова с корзиной всяких продуктов... А Шилейко она предложила устроить в больницу, и действительно — за ним приехал автомобиль, санитары, и его поместили в больницу.

...Николай Степанович по примеру Т. Б. Лозинской, служившей в детском доме и туда же поместившей своих детей (Т. Б. Лозинская всегда преподавала — и в мирное время), хотел, потому что у него, вероятно, тоже острый момент пришел и не было никаких продуктов, чтобы Анна Ивановна тоже поступила в детский дом и взяла туда Леву. АА это казалось непригодным для Левы, да и для А. И. — старой и не сумевшей бы обращаться с фабричными детьми. АА рассказала об этом Л. Рейснер. Лариса предложила отдать Леву ей. Это, конечно, было так же бессмысленно, как и мысль Николая Степановича, и АА, конечно, отказалась...

О Николае Степановиче (Рейснер. — *В. Л.*) говорила с яростным ожесточением, непримиримо враждебно[1], была — «как раненый зверь». Рассказала все о своих отношениях с ним, о своей любви, о гостинице и о прочем...

9.06.1925

...Правда, потом он предлагал Ларисе Рейснер жениться на ней, и Лариса Рейснер передает АА последо-

---

[1] По настоянию Л. М. Рейснер, приехавшей в Петроград в августе (?) 1920 года, Гумилев был лишен пайка, выдававшегося ему в Балтфлоте (П. Н. Лукницкий. Труды и дни, т. 2, с. 227. Записано со слов Ахматовой).

вавший за этим предложением разговор так: она стала говорить, что очень любит АА и очень не хочет сделать ей неприятное. И будто бы Николай Степанович на это ответил ей такой фразой: «К сожалению, я уже ничем не могу причинить Анне Андреевне неприятность».

АА говорит, что Лариса Рейснер, это рассказывая, помнила очень всю обиду на Николая Степановича и чувство горечи и любви в ней еще было...

Записка Ахматовой — Ларисе Рейснер: «Дорогая Лариса Михайловна! Пожалуйста, опустите в Риге это письмо. Оно написано моей племяннице, о которой семья давно не имеет вестей. Отправив это письмо, Вы окажете мне очень большое одолжение. Желаю Вам счастливого пути, возвращайтесь к нам здоровой и радостной. Вольдемар (Шилейко. — *В. Л.*) Вам кланяется. *Ваша Ахматова»*.

Из дневника Лукницкого

25.04.1928

Получил от Л. Горнунга письма Гумилева к Ларисе Рейснер. Читал письма, вижу, что они неискренни, что Гумилев играет в любовь, письма несерьезны и надуманны.

Письма эти несомненно — вещественное доказательство их романа.

Пьесу «Завоевание Мексики» он собирался писать, но, кажется, он сам не верил, что напишет ее.

1920. Август или сентябрь. Л. Рейснер в разговоре с АА о Гумилеве сказала ей, что считала себя невестой Н. С., что любила его, а он обманул ее. Говорила о Н. С. с ненавистью.

АА: «Почему Лариса Михайловна в 20 году отзывалась о нем с ненавистью? Ведь она его любила крепкой любовью до этого. Не верно ли предположение о том, что эта ненависть ее возникла после того, как она узнала о романе Н. С. с А. Н. Энгельгардт в 1916 году параллельно его роману с ней? А не узнать она, конечно, не могла.

Весьма вероятно, были и другие причины, которых я не знаю, но не эта ли была главной?»

17.04.1925

Потом Лариса Рейснер уехала (в 21-м, кажется, в марте или до марта) и уже никакого общения с АА не было. Было только письмо, после смерти Блока, — из Кабула, в 21 году.

24 ноября Лариса Рейснер послала письмо АА из Кабула. Писала, что узнала из газет о смерти Блока, что хочется написать об этом АА, только с ней говорить. Называет Блока — колонной, упавшей около другой колонны — АА... Очень много восхвалений АА. О Гумилеве — нет, но, несомненно, Лариса, не упоминая его, имела его в виду. Посылает посылку. Письмо это АА получила уже в январе 1922 года. Ей принес его Колбасьев.

А в 1916—1917 годах АА было безразлично кто — Л. Р., Адамович или еще кто-нибудь, поэтому Л. Р. могла смело рассказывать о себе, зная, что «супружеские чувства» АА не будут задеты.

АА тогда, в 21-м, не знала о Л. Р. ничего, что узнала теперь. Отнеслась к ней очень хорошо. Со стороны Л. Р. АА к себе видела только хорошее отношение. И ничего плохого Л. Р. ей не сделала...

9.02.1926. Вторник

На столе моем лежала вырезка из газеты — извещение о смерти Ларисы Рейснер от брюшного тифа. АА поразилась этим известием и очень огорчилась, даже расстроило оно ее. «Вот уж я никак не могла думать, что переживу Ларису!» АА много говорила о Ларисе — очень тепло, очень хорошо, как-то любовно и с большой грустью. «Вот еще одна смерть. Как умирают люди!.. Ей так хотелось жить, веселая, здоровая, красивая... Вы помните, как сравнительно спокойно я приняла весть о смерти Есенина... Потому что он сам хотел умереть и искал смерти. Это — совсем другое дело... А Лариса!..» И АА долго говорила, какой жизнерадостной, полной энергии была Лариса Рейснер. Вспомнила о ней... «„Возьмите меня за руку — мне страшно“, — сказала 16-летняя Лариса Рейснер АА на встрече (в Тенишевском?), — рассказывала АА о выступлении (кажется, первом) Ларисы Рейснер... — Бедная — о ней будут нехорошо говорить, нехорошо вспоминать ее за

границей за то, что она так быстро перешла на сторону Советской власти».

Гумилев — Ахматовой. 1.10.1916. «Дорогая моя Анечка, больше двух недель от тебя нет писем — забыла меня. Я скромно держу экзамены, со времени последнего письма выдержал еще три; остаются еще только четыре (из 15-ти), но среди них артиллерия — увы! Сейчас готовлю именно ее. Какие-то шансы выдержать у меня все-таки есть.

Лозинский сбрил бороду, вчера я был с ним у Шилейко — пили чай и читали Гомера.

Адамович с Г. Ивановым решили устроить новый Цех, пригласили меня. Первое заседание провалилось, второе едва ли будет. Я ничего не пишу (если не считать двух рецензий для Биржи), после экзаменов буду писать (говорят, мы просидим еще месяца два). Слонимская на зиму остается в Крыму, марионеток не будет [1].

После экзаменов попрошусь в отпуск на неделю и, если пустят, приеду к тебе. Только пустят ли?

Поблагодари Андрея (брата АА. — *В. Л.*) за письмо. Он пишет, что у вас появилась тенденция меня идеализировать. Что это так вдруг?

Целую тебя, моя Анечка, кланяйся всем. *Твой Коля.*

Вексель я протестовал, не знаю, что делать дальше.

Адрес А. И. неизвестен.

Курры и гусси!»

В течение 1916 года написано:

16 января. На экземпляре сборника «Колчан», подаренном Г. И. Чулкову, написано четверостишие «У нас пока единый храм...».

В январе — «Ты жаворонок в горней высоте...».

Февраль. В Ц. С. заканчивает пьесу «Дитя Аллаха».

К 30 августа, ко дню праздника 5-го Александрийского полка,— стихотворение «В вечерний час, на небосклоне...», посвященное командиру полка.

Напечатано:

Стихотворения: «Деревья», «Андрей Рублев» и «Змей» (Аполлон, № 1); «Всадник ехал по дороге» (приложение к жур. «Нива», № 1); «Рабочий» (Одесский листок, 10 апреля, без заглавия); «Я не прожил, я протомился...» (альм. «Полон», Пг.); «И год второй к концу склоняется...» (Нива, № 9); «Городок» (Солнце России, № 3); «Я ребенком любил большие...» (Нива, № 13).

---

[1] То есть не будет идти пьеса «Дитя Аллаха», написанная по заказу Слонимской для театра марионеток.

Драматическая сцена «Игра» (Альманах муз. К-во «Фелана», Пг.).

Рассказ «Африканская охота» — из путевого дневника (приложение к жур. «Нива», № 8).

«Записки кавалериста» (Биржевые ведомости. Утренний выпуск, 8, 11 января).

Переводы стихотворений Мопассана: «Как ненавижу я плаксивого поэта...» из рассказа «Сестры Рондоли» и «Благословен тот хлеб...» из рассказа «Проклятый хлеб» (Г. Мопассан. Сестры Рондоли. Рассказы. Перев. С. Ауслендера. Университетская библиотека. № 942. М., 1916).

«Письмо о русской поэзии» — «Георгий Адамович. Облака. „Гиперборей", Пг.»; «Георгий Иванов. Вереск. „Альциона", Пг.»; «М. Лозинский. Горный ключ. „Альциона", Пг.»; «О. Мандельштам. Камень. „Гиперборей", Пг.» (Аполлон, № 1).

О Гумилеве:

Б. Еникальский. Неведомые. Заметка (Журнал журналов, № 8, 9). Упоминания о выходе сб. «Колчан» и влиянии на «Облака» Г. Адамовича.

А. Свентицкий. Рецензия на «Вереск» Г. Иванова. (Журнал журналов). Упоминания о влиянии Н. Гумилева.

Рецензии на «Колчан»: А. Полянина (Сев. записки, № 4); К. Ликсперова (Русские ведомости, 13 апр.); Н. Венгерова (Летопись, № 1); И. Оксенова (Новый журнал для всех, № 2, 3); И. Гурвич. Ласкающие стрелы. Библиограф. заметка (Вестник литературы. Изд. к-ва М. О. Вольф, № 2); Л. Скромного. Изданье распроданное (Журнал журналов, № 23). Фельетон. З. Б. (Е. Зноско-Боровского) (Ежемесячное приложение к жур. Нива, № 7); Б. Эйхенбаума (Русская мысль, № 11); В. Жирмунского. Преодолевшие символизм (Русская мысль, № 12). И. Оксенова. Литературный год (Новый журнал для всех, 1916). Упоминания о Н. Гумилеве.

1917

В скольких земных океанах я плыл...

Война изматывала. Незаметно все человеческие чувства превращались в чувства нечеловеческие; сострадание, сочувствие оказывались бессильными. Люди перестали видеть рядом с собой людей — только врагов, и единственное сильное желание было — убить врага и остаться самому живым.

В победу уже никто не верил, и никто больше не хотел платить жизнью за иллюзию силы, национальной гордости. Слова, раньше значившие так много для русского человека: «Родина, Честь, Отвага» — сейчас утратили смысл, от них остался лишь звон. Война убивала все человеческое в человеке...

Философ Николай Бердяев писал в это время то, о чем думал и тосковал далекий от политики Гумилев:

«Доктринерская, отвлеченная политика всегда бездарна — в ней нет исторического инстинкта и исторической прозорливости, нет чуткости и пластичности. Она подобна человеку, который не может поворачивать шею и способен смотреть лишь по прямой линии в одну точку. Живая реакция на жизнь невозможна.

Отвлеченная и максималистская политика всегда оказывается изнасилованием жизни».

Результатом такой политики и была война.

Еще в конце октября 1916 года Гумилев, не выдержав экзамена по фортификации, возвратился в полк и, с перерывом в несколько дней, — на фронте до конца января.

В конце декабря Гумилев приезжал по поручению командования в Петроград, там получил предписание в длительную командировку. И с конца января до середины марта 1917 года находился в Окуловке, где вместе со своим командиром заготавливал сено для полковых коней. Февральская революция прошла мимо, Гумилев ее «не заметил».

Каждый свой выходной день он стремился в Петербург, благо Окуловка недалеко. «Петербург, — говорил Гумилев, — лучшее место земного шара». Службой был вполне удовлетворен, так как, поняв бессмысленность войны, разочаровавшись в ней еще на фронте, все свободное время старался уединиться: по-прежнему читал философию.

Из дневника Лукницкого

4.04.1925

В дни февральской революции АА бродила по городу одна («убегала из дому»). Видела манифестации, пожар охранки, видела, как князь Кирилл Владимирович водил присягать полк к Думе, не обращая внимания на опасность, ибо была стрельба, — бродила и впитывала в себя впечатления.

...Николай Степанович отнесся к этим событиям в большой степени равнодушно... 26 или 28 февраля он позвонил АА по телефону, сказал: «Здесь цепи, пройти нельзя, а потому сейчас поеду в Окуловку». «Он очень

об этом спокойно сказал — безразлично... Все-таки он в политике мало понимал...»

22 декабря 1917 года в журнале «Русская мысль», № 1, была напечатана пьеса «Гондла».

Гумилев назвал «Гондлу» драматической поэмой, и этим он все объяснил. Что главное для него? Непримиримость зла и добра, но и невозможность лишить человека единственного его оружия, его защиты — чести, гордости, достоинства. И еще — то, что у человека всегда есть выход и надежда -- уйти в мир иной. Но «та жизнь» будет чиста, светла и прекрасна настолько, насколько человек был чист и светел в жизни этой. И такой выход, такой уход — торжество победы над злом и несправедливостью.

Совершилось, я в царской порфире,
Три алмаза в короне горят,
О любви, о прощеньи, о мире
Предо мною враги говорят...

По весне у Гумилева возобновился процесс в легких. Поместили его в городской лазарет на Английской набережной (ныне наб. Красного Флота), 48.

В лазарете написал несколько стихотворений и начал большую повесть «Подделыватели».

Бывал на собраниях у С. Э. Радлова.

Из дневника Лукницкого

1925

В. Шилейко: «У Радловых. Сережа был универсальный человек. Женился. Жена (Анна Радлова. — *В. Л.*) начала писать стихи. Надо было создавать обстановку, и всяких литературных людей они звали к себе. У них был определенный день, кажется в субботу. Там читали стихи, затем шли чай пить. Потом разъезжались по домам...»

После лазарета апрель и половину мая Гумилев жил некоторое время у М. Л. Лозинского и недолго — в меблированных комнатах «Ира». Его возмущение разладом, несобранностью, анархией в войсках — вооб-

ще военными делами и рутинным мышлением российского командования — росло. Постоянно повторял, что без дисциплины воевать нельзя. Решил хлопотать о переводе на союзный, южный фронт, где, как ему казалось, еще была дисциплина, — на Салоникский. Воспользовался содействием своего знакомого по прошлому петербургскому лазарету М. А. Струве, служившего в штабе, чтобы получить место специального корреспондента в газете «Русская воля», выходящей в Париже, с окладом 800 франков в месяц.

Ахматова рассказывала, что, когда она его провожала, он на вокзале был особенно оживлен, взволнован и, очевидно, доволен тем, что покидает надоевшую ему застойную армейскую обстановку, говорил, что, может быть, попадет в Африку...

20 мая прибыл в Стокгольм, затем в Христианию и Берген, оттуда пароходом — в Лондон.

По рекомендации петербургского знакомого, близкого друга Ахматовой, художника Бориса Васильевича Анрепа Гумилев остановился у английского писателя Бекгофера и в течение двух недель знакомился с Лондоном, встречался с писателями Честертоном, Йейтсом, Гарднером. Дал интервью английскому журналу, получил предложение написать о русской поэзии, запланировал большую антологию русской поэзии для издания в Лондоне. Занимался английским языком.

Борис Анреп, специализировавшийся на мозаике, был единственным знакомым Гумилева в Лондоне. В 1912 году Анреп организовал русский отдел на Второй постимпрессионистской выставке в Лондоне и написал вступление к русскому разделу каталога; он был также автором обзорной статьи по выставке в «Аполлоне». Имея доступ к элитарным художественно-литературным кругам Лондона, Анреп ввел и Гумилева в этот мир. Через него Гумилев познакомился с Роджером Фрайем, известным английским критиком и художником, статьи которого печатал «Аполлон». Анреп возил Гумилева к леди Оттолине Мортел в деревню, где собирались известные писатели О. Хаксли, Д. Х. Лоуренс и другие.

Когда Гумилев прибыл в Париж, оказалось, что в газете он не очень нужен, и его оставили в распоряжении комиссара Временного правительства. Поселился на rue Cambon, 59.

Часто, практически постоянно, встречался с русскими художниками Натальей Гончаровой и Михаилом

Ларионовым. Посвятил Гончаровой рассказ «Черный генерал», написал им обоим шуточное стихотворение — «Пантум». В Париже писал трагедию «Отравленная туника», поэму «Два сна» и стихи «Фарфорового павильона», изучал предметы восточного искусства, к которому его всегда влекло. Его интересовало не только искусство Востока, но и философия. Повторял слова Конфуция: «Кто не признает судьбы, тот не может считаться благородным мужем. Благородный муж думает о долге, а мелкий человек — о выгоде. Ученик спросил учителя: «Можно ли одним предложением выразить правило, которому необходимо следовать всю жизнь?» Учитель ответил: „Можно. Чего не желаешь себе, того не делай и другим“».

В Париже Гумилев страстно влюбился. Юная красавица, полурусская-полуфранцуженка, из обедневшей интеллигентной семьи — Елена Карловна Дюбуше. Гумилев называл ее Голубой звездой. Всю зиму он добивался взаимности, пленял своей страстью «без меры», любовью-«безумием», писал ей в альбом любовные объяснения в стихах. Некоторые вошли в посмертный сборник, изданный в 1923 году и названный составителем «К Синей звезде».

Елена оказалась вполне «земной». Поэту она предпочла американского богача и уехала с ним в Америку.

Вот девушка с газельими глазами
Выходит замуж за американца.
Зачем Колумб Америку открыл?..

Наверное, все же стоит «поблагодарить Колумба»: мы имеем возможность читать прекрасную лирику, учиться красоте высокой любви, благородных разлук и расставаний.

Еще не раз вы вспомните меня
И весь мой мир, волнующий и странный,
Нелепый мир из песен и огня,
Но меж других единый необманный.

Он мог стать вашим тоже и не стал,
Его вам было мало или много,
Должно быть, плохо я стихи писал
И вас неправедно просил у Бога.

Но каждый раз вы склонитесь без сил
И скажете: «Я вспоминать не смею,
Ведь мир иной меня обворожил
Простой и грубой прелестью своею».

Из воспоминаний С. Маковского: «...независимо даже от силы его чувства к «Синей звезде» эта неудача была для него не только любовным поражением, она связывалась с его предчувствием близкой и страшной смерти.

Да, я знаю, я вам не пара,
Я пришел из другой страны...

И еще:

И умру я не на постели,
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели,
Утонувшей в густом плюще...

...Любовная неудача больно ущемила его самолюбие, но, как поэт, как литератор прежде всего, он не мог не воспользоваться горьким опытом, дабы подстегнуть вдохновение и выразить в гиперболических признаниях не только свое горе, но горе всех, любивших неразделенной любовью.

В течение 1917 года написано:

6 февраля на открытке, посланной Л. М. Рейснер в Петроград, написал шуточное стихотворение «Взгляните: вот гусары смерти...».

23 февраля на открытке, посланной в Петроград Л. М. Рейснер, написано стихотворение «Канцона» («Лучшая музыка в мире нема...»), являющееся первым вариантом стихотворения «В скольких земных океанах я плыл...».

Вторая половина марта, апрель — в лазарете написаны стихотворения: «Мужик», «Ледоход», «В скольких земных океанах я плыл...», начата повесть из русского быта — «Подделыватели».

От 15 мая до начала июня — в дороге написаны стихотворения: «Стокгольм», «Швеция», «Норвежские горы», «Так вот и вся она, природа...» (окончено в Лондоне), «На Северном море».

С июля 1917 года до половины марта 1918-го, кроме стихотворений сборника «К Синей звезде», в Париже написана трагедия «Отравленная туника», поэма «Два сна» и стихи «Фарфорового павильона».

Во вторую половину года в Париже написан пантум «Гончарова и Ларионов».

Июль — в Париже написан рассказ «Черный генерал», посвященный Н. С. Гончаровой.

Напечатано:

Стихотворения: «Перед ночью северной, короткой...» (альм. «Творчество», кн. 1, Пг.); «Ледоход» и «Оранжево-красное небо...» (сб. «Тринадцать поэтов». Пг.).

Отрывок из поэмы «Мик и Луи» (жур. «Аргус», № 9—10).

Пьеса: «Дитя Аллаха» — арабская сказка в трех картинах с рисунками П. Кузнецова (Аполлон, № 6—7). Вскоре вышла отдельным оттиском в «Аполлоне».

«Гондла» — драматическая поэма в четырех действиях (Русская мысль, № 1).

О Гумилеве:

М. Тумповская. «Колчан» Н. Гумилева (Аполлон, № 6—7).

Д. Выгодский. Поэзия и поэтика. Обзор (Летопись, № 1). Упоминания о «Колчане».

Л. Рейснер. Рецензия на «Гондлу» (Летопись, № ?).

1918

И совсем не в мире мы, а где-то...

После свершения Октябрьской революции союзники отказались от наступления в Эгейском море. Салоникский фронт был ликвидирован. Гумилев, не разобравшись в происходящих событиях, решил проситься на Персидский фронт. Но в начале января управление русского военного комиссариата в Париже было расформировано. Рапорт о переводе в Персию остался неудовлетворенным. Гумилев попросил командировать его в Англию, чтобы получить назначение от военных властей на Месопотамский фронт.

В Англию Гумилева командировали, но выдали ему аттестат и денежное довольствие только до апреля месяца 1918 года...

Оставив в Париже свои вещи и часть коллекции по искусству Востока, папку с бумагами, книги, Гумилев на пароходе прибыл в Лондон.

На фронт он, естественно, не попал...

Снова встретился с Анрепом, попытался было через него устроиться на временную службу в отдел Русского правительственного комитета, но из этого ничего не вышло. Неуверенность в том, что он будет продолжать участвовать в военных действиях, привела его к решению возвратиться в Россию. Это было нелегко — получить по паспорту Временного правительства разрешение на въезд в Советскую Россию. Но Гумилев вернулся.

Оставив в Лондоне у Анрепа часть вещей и бумаг, он 4 апреля сел на пароход и кружным путем, через Мурманск, выехал домой.

Перед возвращением все же не выдержал — заехал еще раз в Париж...

Вспоминает М. Ф. Ларионов: «Мы с Николаем Степановичем виделись каждый день почти до его отъезда в Лондон. Затем он приезжал в Париж на 1—2

дня перед отъездом в Петербург, куда отправлялся через Лондон же. Подобный альбом им был переписан и подарен Елене Карловне Дебуше (Дюбуше) (дочь известного хирурга), в замужестве мадам Ловель (теперь американка). Вначале многие стихи, написанные во Франции, входили в сборник, называемый «Под голубой звездой» — название создалось следующим образом. Мы с Николаем Степановичем прогуливались почти каждый вечер в Jardin des Tueleries. В Париже, знаете, помните, недалеко от Parc de Carroussel, на дорожке, чуть-чуть вбок от большой аллеи, стояла статуя голой женщины — с поднятыми и сплетенными над головой руками, образующими овал. Я, проходя мимо статуи, спросил у Н. С., нравится ли ему эта скульптура? Он меня отвел немного в сторону и сказал:

— Вот отсюда.

— Почему, — спросил я, — ведь это не самая интересная сторона?

Он поднял руку и указал мне на звезду, которая с этого места как раз приходилась в центре овала переплетенных рук.

— Но это не имеет отношения к скульптуре.

— Да! Но ко всему, что я пишу сейчас в Париже «под голубой звездой».

Как образовалось «К голубой» (М. Ф. хотел сказать «К синей...», имея в виду название сборника Н. Г. «К Синей звезде». — *В. Л.*), мне не ясно. Как мне кажется, это произошло под внезапным впечатлением одного момента... потом осталось так, но означает то же стремление — к г о л у б о й з в е з д е — н а с т о я щ е й. Не думаю, чтобы кто бы то ни было мог бы быть для него такой звездой. Почти всегда самое глубокое чувство, какое у Николая Степановича создавалось в любви к женщине, обыкновенно обращалось в ироническое отношение и к себе, и к своему чувству.

Н. С. был знаком близко с Честертоном и с группой английских писателей этого времени, а в Париже дружил с Вильдраком. Жил он, Н. С., на rue Galilée, в отеле того же имени. А последний раз в hotel Castille, на rue Cambon, где в то время и я жил. Самой большой его страстью была восточная поэзия, и он собирал все, что этого касается. Одно время он поселился внизу, в сквере, под станцией метро, у некоего г. Цитрона. Вообще он был непоседой. Париж знал хорошо — и отличался удивительным умением ориентироваться.

Половина наших разговоров проходила об Анненском и о Жераре де Нервале. Имел странность в Тюильри садиться на бронзового льва, который одиноко скрыт в зелени в конце сада почти у Лувра...

...Я думаю, что, когда Николай Степанович приезжал на короткое время в Париж перед самым окончательным отплытием в Россию и потом в Петербург, он приехал в Париж, чтобы увидеться с кем-то. С Еленой Карловной? Может быть, и с нею, но еще с кем-то — это наверное. Знаю, что он приезжал устраивать оставшиеся здесь кое-какие вещи и дела (это официально)...»

Из статьи Б. Филиппова: «У него (Гумилева. — *В. Л.*) было, по-видимому, серьезное намерение отправиться на Месопотамский фронт и сражаться в английской армии. В Лондоне он запасся у некоего Арунделя дель Ре, который позднее был преподавателем итальянского языка в Оксфордском университете, письмами к итальянским писателям и журналистам (в том числе к знаменитому Джованни Папини) — на случай, если ему придется по пути задержаться в Италии... Возможно, что к отправке Гумилева на Ближний Восток встретились какие-то препятствия с английской стороны, вследствие того что к тому времени Россия выбыла из войны».

Вспоминает Б. Анреп: «Гумилев иногда любил представлять себя важным супругом. Вся тирада в разговоре по поводу «Муж хлестал меня узорчатым, вдвое сложенным ремнем» и дальнейшее заявление, что «из-за этих строк он прослыл садистом», и его возмущение и упреки возможны, как и нелепы. Мне вспоминается день, когда он уезжал из Англии в Россию после революции. Я хотел послать маленький подарок Анне Андреевне. И, когда он уже укладывал свой чемодан, передал ему большую редкую серебряную монету Александра Македонского и несколько ярдов шелкового материала для нее. Он театрально отшатнулся и сказал: «Борис Васильевич, как вы можете это просить, ведь она все-таки моя жена!» Я рассмеялся: «Не принимайте моей просьбы дурно, это просто дружеский жест». Он взял мой подарок, но я не знаю, передал ли он его по назначению, так как я больше ничего об этом не слыхал. С другой стороны, мы, конечно, много

раз говорили о стихах А. А. Я запомнил одну фразу его: «Я высоко ценю ее стихи, но понять всю красоту их может тот, кто понимает глубину ее прекрасной души». Мне, конечно, эти слова представились исповедью. Понимал ли он «всю красоту ее души» или нет, осталось для меня вопросом...

Гумилев говорил: „Ахматова вызывала всегда множество симпатий. Кто-кто не писал ей писем, не выражал восторгов. Но так как она всегда была грустна, имела страдальческий вид, думали, что я тиранический муж, и меня за это ненавидели. А муж я был самый добродушный и сам отвозил ее на извозчике на свидание“».

Из дневника Лукницкого

19.04.1925

Когда Николай Степанович узнал, что Анреп увез кольцо АА, он сказал ей полушутя: «Я тебе отрежу руку, а ты отвези ее Анрепу — скажи: если вы кольцо не хотите отдавать, то вот вам рука к этому кольцу...»

Когда Николай Степанович вернулся из-за границы в 1918 году, он позвонил к Срезневским. Они сказали, что АА у Шилейко, Николай Степанович, не подозревая ничего, отправился к Шилейко. Сидели вместе, пили чай, разговаривали.

Потом АА пошла к нему — он остановился в меблированных комнатах «Ира». Была там до утра. Ушла к Срезневским. Потом, когда Николай Степанович пришел к Срезневским, АА провела его в отдельную комнату и сказала: «Дай мне развод». Он страшно побледнел и сказал: «Пожалуйста...» Не просил ни остаться, ничего не расспрашивал даже. Спросил только: «Ты выйдешь замуж? Ты любишь?». АА ответила: «Да». — «Кто же он?» — «Шилейко». Николай Степанович не поверил: «Не может быть! Ты скрываешь, я не верю, что это Шилейко».

Вскоре после этого АА с Николаем Степановичем уехали в Бежецк.

Я: «После объяснения у Срезневских как держался с вами Николай Степанович?»

АА: «Все это время он очень выдержан был... Никогда ничего не показывал, иногда сердился, но всегда

это было в очень сдержанных формах (расстроен, конечно, был очень)».

АА говорит, что только раз он заговорил об этом. Когда они сидели в комнате, а Лева разбирал перед ними игрушки, они смотрели на Леву.

Николай Степанович внезапно поцеловал руку АА и грустно сказал ей: «Зачем ты все это выдумала?»

О том, о первом... Н. С. помнил, по-видимому, всю жизнь, потому что уже после развода с АА он спросил ее: «Кто был первый?» и «Когда это было?»

Я: «Вы сказали ему?»

АА тихо: «Сказала...»

...Развод не был принуждением. Отношения с ней прекратились задолго до 18 года. Развод был очень мирным — ведь в 18 году, уже после того как развод был решен, они ездили в Бежецк, Николай Степанович был очень хорошо настроен к АА, да и тот разговор в Бежецке: «Зачем ты все это выдумала?» — происходил с грустью, но без всякой неприязни. АА предполагает, что в теории Николай Степанович хотел развода с ней. Так, в Париже, думая о Синей звезде, он мог говорить себе, если бы рассчитывал на взаимность со стороны Синей звезды: «Вот разведусь с Ахматовой и... тут должны были быть планы в будущем...» Но на практике оказалось несколько иначе. Обида самолюбию, несомненно, была, психологически объяснимо, что все свои последующие неудачи, даже такой неудачный брак с Анной Николаевной, Николай Степанович мог относить на счет АА. АА сказала: «Развод вообще очень тяжелая вещь... Это с каждым десятилетием становится легче. Теперь — совсем легко...»

АА говорит про лето 18 года: «Очень тяжелое лето было... Когда я с Шилейко расставалась — так легко и радостно было, как бывает, когда сходишься с человеком, а не расходишься. А когда с Н. С. расставалась — очень тяжело было. Вероятно, потому, что перед Шилейко я была совершенно права, а перед Н. С. чувствовала вину».

АА говорит, что много горя причинила Н. С., считает, что она отчасти виновата в его гибели — нет, не гибели, АА как-то иначе сказала, и надо другое слово, но сейчас не могу его найти (смысл — «нравственный»).

АА говорит, что Срезневская ей передавала такие слова Н. С. про нее: «Она все-таки не разбила мою жизнь». АА сомневается в том, что Срезневская это не фантазирует...

АА грустит о Н. С. очень и то, в чем невольно была виной, рассказывает как бы в наказание себе.

По воспоминаниям людей, хорошо знавших Гумилева, он был человеком очень сдержанным, редкой дисциплины, сосредоточенной воли, выдержки. Никогда никому не показывал своих чувств: ни гнев его, ни отчаянье, ни боль никогда не были видны и никогда не отражались ни на его работе, ни на его отношении с людьми. Он стойко выдержал известие о разрыве — продолжал работать.

Поселился Гумилев на Ивановской (ныне Социалистической) улице, 25, кв. 15, в квартире С. К. Маковского, который в это время жил в Крыму. Вместе с Лозинским возобновил издательство «Гиперборей». Средств не было, потому решили печатать книги в кредит, а по продаже их оплачивать типографию.

13 мая в Тенишевском зале участвовал в «Вечере петербургских поэтов». Организаторы вечера не знали, что Гумилев вернулся из-за границы. Он был приглашен уже после того, как были расклеены афиши, поэтому имя его вписали от руки.

Читал стихотворение «Франция»:

Франция, на лик твой просветленный
Я еще, еще раз обернусь
И как в омут погружусь бездонный
В дикую мою, родную Русь...

Еще перед войной у Лозинского Шилейко читал отрывки из ассиро-вавилонского эпоса «Гильгамеш». Это побудило Гумилева заняться поэтическим переводом поэмы. Вскоре он бросил работу, хотя сделал по шилейковскому подстрочнику около ста строк. Теперь, в 18 году, взявшись вторично за перевод, он просидел над ним все лето и перевел все заново. По свидетельству Шилейко, ни разу не обратился к нему за консультацией или содействием. Шилейко увидел перевод уже напечатанным.

Из дневника Лукницкого

19.04.1925

АА рассказывала о «Гильгамеше»: «Хотели в «Русской мысли» напечатать... Они ходили туда с Володей

(Шилейко.— *В. Л.*), в «Русскую мысль». Но Струве пожадничал тогда».

Я говорю, что 1918 год был особенно плодотворным для Николая Степановича. АА объясняет, что этот год для Николая Степановича был годом возвращения к литературе. Он надолго от нее был оторван войной, а в 1917 году уехал за границу, тоже был далек от литературы. В 1918 году он вернулся, и ему казалось, что вот теперь все для него идет по-старому, что он может работать так, как хочет,— революции он еще не чувствовал, она еще не отразилась на нем.

Вскоре после развода с Ахматовой Гумилев сделал предложение Анне Николаевне Энгельгардт и получил согласие.

Вспоминает А. Н. Энгельгардт (брат второй жены Гумилева.— *В. Л.*): «Сестра Аня, закончив гимназию, окончила также курсы сестер милосердия и стала работать в военном госпитале, находившемся на нашей же улице. Она очень похорошела, и ей очень шел костюм сестры милосердия с красным крестом на груди. Она любила гулять в Летнем саду или в этом костюме, или в черном пальто и шляпке, с томиком стихов Анны Ахматовой в руках, привлекая взоры молодых людей. Она тогда еще не знала, что в будущем ее будут называть соседи в Доме искусств: «Анна вторая»...

Весной 1915 года вернулся из Парижа К. Д. Бальмонт и поселился на 24-й линии Васильевского острова. Брат наш Коля впервые познакомился с ним и, ввиду нашего тяжелого семейного положения, переехал к нему. Отцу он понравился.

В семье у нас стало еще тяжелей, материальное положение пошатнулось, и Аня стала вести более самостоятельную жизнь. В этот период, весной 1915 года, она познакомилась с Николаем Степановичем Гумилевым... Впервые увидел Н. С. Гумилева, который зашел за сестрой, чтобы куда-то идти с ней. Он был одет в гвардейскую гусарскую форму, с блестящей изогнутой саблей. Он был высок ростом, мужественный, хорошо сложен, с серыми глазами, смотревшими открыто ласковым и немного насмешливым взглядом. Я расшаркался (гимназист III класса), он сказал мне несколько

ласковых слов, взял сестру под руку, и они ушли, счастливые, озаренные солнцем. Вторично я видел Николая Степановича летом того же (1915) года, когда мы с сестрой гостили у тети и дяди Дементьевых в Иваново-Вознесенске. Тетя Нюта была сестрой моей матери, а ее муж, дядя, врачом. Жили они в собственном доме с чудесным садом, утопающем в аромате цветов, окруженном старыми ветвистыми липами.

Николай Степанович приехал к нам как жених сестры познакомиться с ее родными и пробыл у нас всего несколько часов. Он уже снял свою военную форму и одет был в изящный спортивный серый костюм, и все его существо дышало энергией и жизнерадостностью. Он был предельно вежлив и предупредителен со всеми, но все свое внимание уделял сестре, долго разговаривая с ней в садовой беседке. Вероятно, тогда был окончательно решен вопрос об их свадьбе.

Сестра моя уехала домой и вскоре обвенчалась с Н. С. Гумилевым... [1]»

Из записок Ю. Оксмана: «В. М. Жирмунский очень убедительно рассказывал 14.IV.67 г. у меня о том, что роман Гумилева с А. Н. Энгельгардт начался до отъезда за границу, примерно ранней осенью 1917 г. Он познакомил Гумилева и Анну Ник. на своем докладе в Пушкин. Общ. о Брюсове и «Египет. ночах» (ведь нетрудно установить эту дату). На этом докладе якобы была и А. А. Ахматова с Шилейко.

Анна Ник. — была глупа и капризна. Ее мать была первым браком замужем за Бальмонтом.

Значит, Гумилев спешил вернуться в феврале 1918 г. не к Анне Андр., а к А. Н. Энг.

Роман с Ларисой Рейснер был у Гумилева еще в 1916 г. Лариса показана в «Гондле».

Анна Ахматова рассказывала: «Второй брак его тоже не был удачен. Он вообразил, будто Анна Ник. воск, а она оказалась — танк... Вы ее видели?»

Я сказал, что видел: очень хорошенькая, с кротким нежным личиком и розовой ленточкой вокруг лба.

— Да-да, все верно, нежное личико, розовая ленточка, а сама танк. Ник. Степанович прожил с ней ка-

---

[1] А. Н. Энгельгардт ошибается в датах. Знакомство Гумилева и Анны Николаевны Энгельгардт на самом деле произошло в 1916 году, так же как и поездка в Иваново-Вознесенск.

кие-нибудь три месяца и отправил к своим родным. Ей это не понравилось, она потребовала, чтобы он вернул ее. Он ее вернул — и сам сразу уехал в Крым. Она очень недобрая, сварливая женщина, а он-то рассчитывал, наконец, на послушание и покорность...

8.VI.1940: <Ахматова>: «У меня в молодости был трудный характер. Я очень отстаивала свою внутреннюю независимость и была очень избалована. Но даже свекровь моя ставила меня потом в пример Анне Николаевне. Это был поспешный брак. Коля был очень уязвлен, когда я его оставила, и женился как-то наспех, нарочно, назло. Он думал, что женится на простенькой девочке, что она — воск, что из нее можно будет человека вылепить. А она железобетонная. Из нее не только нельзя лепить — на ней зарубки, царапины нельзя провести».

Из дневника Лукницкого

19.04.1925

Я говорю, что все, что говорит АА, только подтверждает мое мнение — то, что Николай Степанович до конца жизни любил АА, а на А. Н. Энгельгардт женился исключительно из самолюбия.

АА сказала, что во время объяснения у Срезневских Николай Степанович сказал: «Значит, я один остаюсь?.. Я не останусь один... Теперь меня женят!»

АА составила «донжуанский» список Николая Степановича. Показывает мне.

До последних лет у Н. С. было много увлечений, но не больше в среднем, чем по одному на год... А в последние годы женских имен — тьма. И Николай Степанович никого не любил в последние годы.

АА: «Разве и Одоевцеву?»

Я: «И ее не любил... Это не любовь была...»

АА не спорит со мной.

Я: «В последние годы в нем шахство было...»

АА: «Да, конечно, было... В последние годы — студий, «Звучащих раковин», институтов — у Н. С. целый гарем девушек был... И ни одну из них Н. С. не любил. И были только девушки — женщин не было...»

Я: «Чем это объяснить? Может быть, среди других причин было и чувство некоторой безответственности, которым был напоен воздух 20—21 года?..»

АА: «Это мое упорство так подействовало... Поду-

майте: 4 года, а если считать с отказа в 5-м году — 5 лет! Кто к нему теперь проявлял упорство? Я не знаю никого... Или, может быть, советские барышни не так упорны?»

22.02.1926

В частности — об Анне Николаевне. АА вспоминала разговор с человеком, «которого я бесконечно люблю и мнение которого для меня бесконечно ценно», — о Наталии Гончаровой: «Если бы Пушкин не был Пушкиным, и если разбираться в этом браке, то, может быть, нельзя было бы винить ее. Она просто была другим человеком, чуждым интересам своего мужа... Ее интересовали платья, балы, а мужа — какие-то строфы, какие-то издатели, какие-то непонятные и чуждые ей дела...» Мысль АА я продолжил тут уже в отношении Анны Николаевны. Это просто был человек, совершенно не подходящий Николаю Степановичу. Да и несомненно этому есть достаточно примеров в воспоминаниях разных лиц — Николай Степанович не был безупречным мужем. Она его любила — это бесспорно, а ведь известно, какое количество романов Николая Степановича укладывается в рамки 18—21 годов, и он не скрывал от нее. И известны его презрительные отзывы об Анне Николаевне. Конечно, она была «козлом отпущения». «Физически» ведь на нее сваливалось все тяжелое состояние Николая Степановича последних лет...

А ведь АА избрала, казалось бы, наиболее благоприятное для Николая Степановича положение: она замкнулась и нигде не бывала, ни на литературных собраниях, где могли быть встречи с Николаем Степановичем, ни у общих знакомых... Казалось бы, Николаю Степановичу это могло быть только приятно, а оказалось наоборот — он ее упрекал в такой замкнутости, в нежелании ничего делать, в отчужденности. В одну из встреч, в последние годы, Николай Степанович сказал такую фразу: «Твой туберкулез — от безделья...»

АА говорит, что, конечно, и она отчасти, какими-нибудь неосторожными фразами, переданными Николаю Степановичу, могла вызывать такое отношение. А больше всего виноваты в этом сплетни. Были люди, которые всячески домогались ссоры между Николаем Степановичем и АА и старались вызвать в них взаимную вражду. АА не хочет называть фамилий. Я, получив от АА фразу, что фамилий она называть не хочет,

не стал спрашивать, но некоторые мысли у меня возникли...

28 июня вышел из печати «Мик», 11 июля — «Костер», 13 июля — «Фарфоровый павильон». Были переизданы «Жемчуга» и «Романтические цветы». Начал писать стихи «Шатра».

Иногда встречался с Ахматовой, она приходила к нему на Ивановскую. Бывал он и у Срезневских, где жила Ахматова и где по случаю выходивших книг Гумилева устраивались маленькие вечеринки.

В конце лета Гумилев вошел в число членов редакционной коллегии нового издательства «Всемирная литература» под руководством Горького и принял участие во всей организационной работе, выработке плана изданий, а впоследствии — во всей текущей работе издательства.

В течение трех лет — 1918—1921 годы — Гумилев был членом редколлегии, заведовал отделом французской литературы параллельно с Блоком, ведущим немецкий отдел, был редактором переводной литературы.

Кроме того, Горький ввел Гумилева в комиссию по «инсценировкам истории культуры», которую он сам возглавлял.

Создавая свое издательство, Горький задался благородной целью дать народу самые высокие образцы всемирной литературы в самых профессиональных переводах. Для этого он собрал в издательстве крупнейших деятелей культуры Петрограда. Работать там было честью для Гумилева, тем более что взгляды Горького на этот предмет он разделял полностью.

Для Горького «Всемирная литература» была еще возможностью подкормить голодающую питерскую интеллигенцию.

Из дневника Лукницкого

1925

Шилейко: «Были получены деньги на написание 5000 драм, в которых должна была быть вся история. Образчиком такой драмы, единственно напечатанной,

был «Рамзес» Блока. А продолжением были «Носорог» — Гумилева. Амфитеатров продал не то «Стеньку Разина», не то «Пугачева». Я какие-то вещи продавал.

Горькому он (Гумилев. — *В. Л.*) удивлялся в хорошем смысле этого слова и очень уважал его как поэта. У него была какая-то мечта — он хотел поставить «Мужицкие цари» — Горького. Я никогда не слышал, чтобы он плохо говорил о Горьком. Кажется, Горький тоже его любил».

Март 1925

Шилейко: «Его пожирал голод (и всех нас). Во всех смыслах голод. И физический, и духовный...

Вся организационная работа делалась для денег, но у Николая Степановича был принцип — всему, что он делает, придавать какую-то субъективно-приятную окраску, и уж если приходится что-нибудь делать, то нужно, чтоб это было веселее. С Блоком они как-то вместе старались не оставлять [этот принцип] с самого начала. Разница была конечно в пользу Николая Степановича, потому что он Блока ставил очень высоко...»

Вспоминает К. И. Чуковский: «Как-то он (Гумилев. — *В. Л.*) позвал меня к себе. Добрел я до него благополучно, но у самых дверей упал: меня внезапно сморил голод. Очнулся я в великолепной постели, куда, как потом оказалось, приволок меня Николай Степанович, вышедший встретить меня у лестницы черного хода (парадные были везде заколочены).

Едва я пришел в себя, он с обычным своим импозантным и торжественным видом внес в спальню старинное, расписанное матовым золотом, лазурное блюдо, достойное красоваться в музее. На блюде был тончайший, почти сквозной, как папиросная бумага, — не ломтик, но скорее лепесток серо-бурого, глиноподобного хлеба, величайшая драгоценность той зимы.

Торжественность, с которой еда была подана, показалась мне в ту минуту совершенно естественной. Здесь не было ни позы, ни рисовки. Было ясно, что тяготение к пышности свойственно не только поэзии и что внешняя сторона бытовых отношений для него важнейший ритуал.

Братски разделив со мной свою убогую трапезу, он столь же братски торжественно достал из секретера оттиск своей трагедии «Гондла» и стал читать ее вслух при свете затейливо-прекрасной и тоже старинной лампады.

Но лампада потухла. Наступила тьма, и тут я стал свидетелем чуда: поэт и во тьме не перестал ни на миг читать свою трагедию, не только стихотворный текст, но и все ее прозаические ремарки, стоявшие в скобках, и тогда я уже не впервые увидел, какая у него необыкновенная память».

Из дневника Лукницкого

Март 1925

Вторая половина 1918 года. Предлагал издать поэму «Два сна» в детском издательстве, передав рукопись К. И. Чуковскому. Поэма напечатана не была, а рукопись затерялась.

Зиму 1918/19 года Гумилев прожил на Ивановской с семьей — матерью, женою, сыном, братом и его женой. Временами из Бежецка приезжала сестра. Весной переехал вместе с семьей на новую квартиру, на Преображенскую ул. (ныне — Радищева), 5/12, и вскоре, 14 апреля 1919 года, у Гумилевых родилась дочь — Елена.

Во «Всемирную литературу» привлек Шилейко. Поручил ему перевод «Comédie de la mort» — дословно «Комедии смерти» — Теофиля Готье.

Шилейко: «Я туда начал ходить зимой 1918—1919. Николай Степанович потащил меня во «Всемирную литературу» и там очень долго патернировал меня. Я около года считался его человеком».

В июне открылась студия «Всемирной литературы» на Литейном, 24, в доме Мурузи. По плану занятия распределялись по трем основным отделам: поэтического искусства — под руководством Н. Гумилева и М. Лозинского, искусства прозы — под руководством В. Шкловского и Е. Замятина, критики — под руководством К. Чуковского.

Гумилев принялся за работу с большим энтузиазмом. И неудивительно: первое в Петрограде художест-

венно-педагогическое учреждение! В течение всего лета аккуратно читал лекции и руководил практическими занятиями. Лекции и семинары Гумилева были самыми посещаемыми.

Шилейко: «В период существования студии на Литейном в доме Мурузи мы много смеялись на переменах. Прятали шляпы...

Я там читал ритмику — началась студия в июне и осенью 1919 года кончилась. Когда он уезжал (Гумилев. — *В. Л.*), я всегда брал на себя его курсы... Он, кажется, раз или два уезжал за это лето...

У него были красивые руки, он это знал, и у него было громкое имя. И он садился за стол, высоко закидывая ногу. Все слушали его голос, и до того, что он говорил, всем было все равно, как и ему самому (он чувствовал это). И нам это быстро наскучивало. Он нашел выход, которым мы воспользовались. Он давал темы, и все писали стихи. А сам мог сидеть в уголке и молчать... В первые дни все очень горячо увлеклись. И тогда он читал... Не знаю, как в других студиях, а здесь его очень любили».

19 ноября по инициативе М. Горького был торжественно открыт Дом искусств. Бывший особняк купца Елисеева на Мойке, угол Невского, в это тяжелое время принял под свой кров писателей, художников, актеров. Жители его прозвали ДИСКом. Диск — объединение людей творческого труда Петрограда. Ольга Форш назвала его — «Сумасшедший корабль». Там были дрова, можно было получить горячий чай... Управлялась эта коммуна советом. В совете состояли: Н. С. Гумилев, А. А. Ахматова, К. И. Чуковский, Б. М. Эйхенбаум, М. М. Зощенко, М. В. Добужинский, К. С. Петров-Водкин и многие другие. Гумилев принимал живое участие в создании журнала «Дом искусств», состоял в совете по литературному отделу. Первый номер журнала вышел в феврале 1920 года.

При Доме искусств открылась и литературная студия. Гумилев вел там курс по драматургии и практические занятия по поэтике.

Помимо работы в издательстве «Всемирная литература», в «Институте живого слова», литературной студии Дома искусств, Гумилев преподавал в студиях Про-

леткульта и в 1-й культурно-просветительной коммуне милиционеров.

Из воспоминаний А. Левинсона: «Он делал свое поэтическое дело и шел всюду, куда его звали: в Балтфлот, в Пролеткульт, в другие советские организации и клубы, название которых я запамятовал. Помню, что одно время осуждал его за это. Но этот «железный человек», как называли мы его в шутку, приносил и в эти бурные аудитории свое поэтическое учение неизменным, свое осуждение псевдопролетарской культуре высказывал с откровенностью совершенной, а сплошь и рядом раскрывал без обиняков и свое православное исповедание. Разумеется, Гумилев мог пойти всюду, потому что нигде не потерял бы себя».

Гумилев любил эти занятия — они помогали ему чувствовать себя значительным, нужным человеком, который знает, как помочь таланту раскрыть себя, поверить в свои силы. Он любил хвалить своих учеников. От щедрой похвалы вырастают крылья — вот, пожалуй, основное правило человеческих отношений.

В разговоре с друзьями Гумилев говорил, что работа в студии важна для него потому, что он учит своих слушателей быть счастливыми. В самые жестокие исторические времена поэзия, искусство помогают людям не ожесточиться, не растерять свое достоинство, не отчаяться... Он писал когда-то давно, в юности: «Искусство является отражением жизни страны, суммой ее достижений и прозрений, но не этических, а эстетических. Оно отвечает на вопрос, не как жить хорошо, а как жить прекрасно».

Гумилев был убежден: общение людей друг с другом — духовное донорство, и чем искренней и добрее твои чувства, тем спокойнее, лучше будет человеку с тобой и вообще в жизни.

Он никогда не умел щадить себя, экономить силы для собственного творчества — он любил раздаривать себя. Вот почему на его лекции всегда собиралось много народа. Он знал: есть обиды свои и чужие, чужие страшнее. Творить — это всегда уходить к обидам других, плакать чужими слезами и кричать чужими устами, чтобы научить свои уста молчанию и свою душу благородству.

Вспоминает Н. Оцуп: «Никогда Гумилев не старался уловить благоприятную атмосферу для изложения своих идей. Иной бы в атмосфере враждебной смолчал, не желая «метать бисер», путаться с чернью, вызывать скандал и пр. А Гумилев знал, что вызывал раздражение, даже злобу, и все-таки говорил не из задора, а просто потому, что не желал замечать ничего, что идеям его враждебно, как не желал замечать революцию.

Помню, в аудитории, явно почитавшей гениями сухих и простоватых «формалистов», заговорил Гумилев о высоком гражданском призвании поэтов-друидов, поэтов-жрецов. В ответ он услышал грубую реплику; ничего другого, он это отлично знал, услышать не мог и разубедить, конечно, тоже никого не мог, а вот решил сказать и сказал, потому что любил идти наперекор всему, что сильно притяжением ложной новизны.

Тогда такие выступления Гумилева звучали вызовом власти. Гумилев даже пролеткультовцам говаривал: «Я монархист». Гумилева не трогали, так как в тех условиях такие слова принимали за шутку...

Рассказывали, что на лекции в литературной студии Балтфлота кто-то из сотни матросов в присутствии какого-то цензора-комиссара спросил Гумилева:

— Что же, гражданин лектор, помогает писать хорошие стихи?

— По-моему, вино и женщины, — спокойно ответил гражданин лектор.

Тем, кто знает сложное поэтическое мировоззрение Гумилева, конечно ясно, что такой ответ мог иметь целью только подразнить «начальство»...

По окончании лекции комиссар попросил Гумилева прекратить занятия в студии Балтфлота.

Кто из петербуржцев не помнит какой-то странной, гладким мехом наружу, шубы Гумилева с белыми узорами по низу (такие шубы носят зажиточные лопари). В этой шубе, в шапке с наушниками, в больших тупоносых сапогах, полученных из КУБУ (Комиссии по улучшению быта ученых), важный и приветливый Гумилев, обыкновенно окруженный учениками, шел на очередную лекцию в «Институт живого слова», Дом искусств, Пролеткульт, Балтфлот и тому подобные учреждения. Лекции он, как и все мы, читал, почти никогда не снимая шубы, так холодно было в нетопленых аудиториях. Пар валит изо рта, руки синеют, а Гумилев читает о новой поэзии, о французских символистах,

учит переводить и даже писать стихи. Делал он это не только затем, чтобы прокормить семью и себя, но и потому, что любил, всем существом любил поэзию и верил, что нужно помочь каждому человеку стихами облегчить свое недоумение, когда спросит он себя: зачем я живу? Для Гумилева стихи были формой религиозного служения...

— Я вожусь с малодаровитой молодежью, — говорил Гумилев, — не потому, что хочу сделать их поэтами. Это, конечно, немыслимо — поэтами рождаются, — я хочу помочь им по-человечески. Разве стихи не облегчают, как будто сбросил с себя что-то. Надо, чтобы все могли лечить себя писанием стихов...»

Из дневника Лукницкого

16.04.1925

Про учеников Николая Степановича АА говорила ему: «Обезьян растишь».

Вспоминает К. Чуковский: «...в обывательской среде к Гумилеву почему-то очень долго относились недоверчиво и даже насмешливо. Кроме как в узких литературных кругах, где его любили и чтили, его личность ни в ком не вызывала сочувствия. Этим его литературная судьба была очень непохожа на судьбу... Анны Ахматовой. Критики сразу признали ее, стали посвящать ей не только статьи, но и книги. Он же — и это очень огорчало его — был долгое время окружен каким-то злорадным молчанием. Помню: стоит в редакции «Аполлона» круглый трехногий столик, за столиком сидит Гумилев, перед ним груда каких-то пушистых, узорчатых шкурок, и он своим торжественным, немного напыщенным голосом повествует собравшимся, сколько пристрелил он в Абиссинии разных диковинных зверей и зверушек, чтобы добыть ту или иную из этих экзотических шкурок. Вдруг встает редактор «Сатирикона» Аркадий Аверченко, неутомимый остряк, и, заявив, что он внимательно осмотрел эти шкурки, спрашивает у докладчика очень учтиво, почему на обороте каждой шкурки отпечатано лиловое клеймо петербургского городского ломбарда. В зале поднялось хихиканье — очень ехидное, ибо из вопроса сатириконского насмешника следовало, что все африканские похожде-

ния Гумилева — миф, сочиненный им здесь, в Петербурге.

Гумилев ни слова не сказал остряку. На самом деле печати на шкурках были поставлены отнюдь не ломбардом, а музеем Академии наук, которому пожертвовал их Гумилев.

Тогда я не понимал, но впоследствии понял, что его надменное отношение к большинству окружающих происходит у него не от спеси, но от сознания своей причастности к самому священному из существующих искусств — к поэзии, к этой (как он был уверен) высшей вершине одухотворенной и творческой жизни, какой только может достигнуть человек.

Слово «поэт» в разговоре Гумилев произносил каким-то особенным звуком — ПУЭТ, и чувствовалось, что в его представлении это слово написано огромными буквами, совсем иначе, чем все остальные слова.

Эта вера в волшебную силу поэзии, когда «солнце останавливали словом, словом разрушали города», никогда не покидала Гумилева, в ней он никогда не усомнился. Отсюда, и только отсюда, то чувство необычайной почтительности, с которым он относился к поэтам, и раньше всего к себе самому, как к одному из носителей этой могучей и загадочной силы...»

В Петрограде открылся первый Детский театр, назывался он «Коммунальный». Первая пьеса, которая была поставлена в нем, — пьеса Гумилева «Дерево превращений». Она шла в театре несколько раз.

В конце года Гумилев закончил для издательства «Всемирная литература» перевод французских народных песен, а также перевел Вольтера, Лонгфелло, Р. Броунинга, Г. Гейне, Байрона, Верлена, В. Гриффена, Леопарди, Мореаса, Эредиа, Рембо, Леконта де Лиля, Р. Соути, Р. Роллана... В это же время написал много стихов и «Поэму начала».

5 сентября 1918 года Советом Народных Комиссаров было принято постановление, разрешающее расстреливать «все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам». С этого постановления в стране фактически начался красный террор.

7 декабря 1918 года в газете «Искусство коммуны»,

№ 1, появилась заметка «Попытка реставрации»: «...с каким усилием, и то только благодаря могучему коммунистическому движению, мы вышли год тому назад из-под многолетнего гнета тусклой, изнеженно-развратной буржуазной эстетики. Признаюсь, я лично чувствовал себя бодрым и светлым в течение всего этого года отчасти потому, что перестали писать или, по крайней мере, печататься некоторые «критики» и читаться некоторые поэты (Гумилев, напр.) (Разрядка моя. — *В. Л.*). И вдруг я встречаюсь с ними снова в «советских кругах». Они не изменились за это время, ни одним волосом. Те же ужимки, те же стилистические выкрутасы и проч.; стали только еще более бесцветными и еще более робкими (но это, вероятно, от красного фона наших великих революций). Этому воскрешению я в конечном итоге не удивлен. Для меня это одно из бесчисленных проявлений неусыпной реакции, которая то там, то здесь нет, нет да и подымет свою битую голову. И конечно, такая реставрация советской России не страшна. Она задохнется, и задохнется от собственного яда, ибо слишком разряжен и чист воздух доброй половины Европы, чтобы оказаться средой, способствующей распространению заразы. Но тем не менее на этом небольшом, но характерном примере мы можем многому научиться. И прежде всего тому, что опасность реакции может исходить именно изнутри, из среды, близко стоящей к советским кругам, от лиц, пробравшихся в эти круги, по-видимому, с заранее определенной целью. Эта опасность может оставаться долго незамеченной, ибо часто даже старые советские работники не замечают своевременно попыток реакции, она проскальзывает, как червячок. Наконец, поучительна и сама форма реакционного воздействия. Политические авантюры не удались, не воскресить учредилки, так давай доймем их искусством. Как умеем и чем можем, будем действовать на их сознание. Привыкнут к нашему искусству, привыкнут и к нашим методам, а там недолго и до наших политических теорий. Так рассуждает эта притаившаяся и не мертвая, нет, нет еще не мертвая, гидра реакции»...

В течение 1918 года написано:

Весной заканчивает трагедию «Отравленная туника» (3 июля в газ. «Ирида» помещено извещение об окончании трагедии).

Май, июнь (?) — стихотворение «Франция» («Франция, на лик твой просветленный...»),

Летом написана детская пьеса в прозе «Дерево превращений» и проредактирована написанная А. С. Сверчковой детская пьеса «Царевна-Лебедь».

До сентября — стихотворение «Галла».

Осенью — стихотворение «Экваториальный лес».

19 ноября на заседании редакционной коллегии изд-ва «Всемирная литература» написано шуточное стихотворение «Храни огонь в душе...».

Зимой 1918/19 года совместно с М. Лозинским и Н. Оцупом написал шуточную пьесу «Благовонный слон». Пьеса написана в форме пантума.

Напечатаны: «Франция» (Новый Сатирикон, № 15); «Стансы» («Над этим островом...») (Нива, № 9); «Какая странная нега...» (Нива, № 19); «Загробное мщение» (Нива, № 26); «За то, что я теперь спокойный...» (альм. «Творчество», вып. 2); «Храм твой, Господи, в небесах...» (Нива, № 30); «Застонал я от сна дурного...» и «Мы в аллеях светлых пролетали...» (еженедельник «Воля народа», № 6).

В июне вышли сборники стихов «Костер», «Фарфоровый павильон» (изд-во «Гиперборей», СПб.).

1919

Я вежлив с жизнью современною...

Еще один холодный, голодный год начинал свой путь... И один вопрос мучил людей: как выжить?

Вспоминает Н. Оцуп: «Никогда мы не забудем Петербурга периода запустения и смерти, когда после девяти часов вечера нельзя было выходить на улицу, когда треск мотора ночью за окном заставлял в ужасе прислушаться: за кем приехали? Когда падаль не надо было убирать — ее тут же на улице разрывали исхудавшие собаки и растаскивали по частям еще более исхудавшие люди.

Умирающий Петербург был для нас печален и прекрасен, как лицо любимого человека на одре».

Вопрос «как выжить?» Гумилев решил для себя однозначно: работать. При всех бедах и невзгодах спасает одно — работа. Искусству нет дела до того, какой флаг развевается на Петропавловской крепости. До тех пор, пока человек чувствует в себе силы смотреть на мир и удивляться ему, до тех пор, пока желанье творчества есть в душе его, — он жив.

По воспоминаниям современников, Гумилев был человеком добрым, простым, преданным в дружбе товарищем. Но когда надо было отстаивать свои взгляды на искусство, он становился непримирим. Его умение не робеть перед несчастиями и бедами было поразительным. Казалось, мир рушится, все привычное — гибнет, но нет в Гумилеве растерянности, нет паники... только спокойствие. Он не терял способности трезво размышлять даже в самые трудные минуты, он считал уныние самым тяжким грехом — нельзя опускаться, унижаться до отчаянья. Свято верил, что литература есть целый мир, управляемый законами, равноценными законам жизни, и он чувствовал себя не только гражданином этого мира, но и его законодателем.

Из дневника Лукницкого

26.11.1926

АА: «Гумилев заходил, сидел час приблизительно, прочел два или три стихотворения «Шатра». Судя по тому, что он говорил, было видно, что очень стеснен в средствах и с трудом достает продукты.

Весной 1919 года в мае целый ряд встреч. Он приходил, Левушку приводил два раза. Когда семья уехала — приходил один, обедал у нас».

«Отравленную тунику» Николай Степанович принес АА в 1919 году, летом (записываю это в исправление моих прежних записей, если они не такие).

АА: «В 19 году Николай Степанович часто заходил. Раз я вернулась домой и на столе нашла кусочек шоколаду... И сразу поняла, что это Коля оставил мне...»

Как руководитель группы молодых поэтов, Гумилев часто бывал на заседаниях организованного ими кружка «Арион». Весною на одном из заседаний он прочел трагедию «Отравленная туника», которая произвела глубокое впечатление на слушателей.

Мысли о любви и ревности, о страсти и предательстве, о беспощадности воспоминаний и о расплате человека за свое прошлое — вот что было главным для Гумилева в этой трагедии. Старинное предание, сухо и подробно изложенное в исторических хрониках, привлекло Николая Степановича, быть может, необычай-

ной своей жизненностью: ничто не меняется в мире — так прочны узы, связывающие людей, так безысходны их страдания и как всегда безрадостна и отчаянна борьба за любовь и вероломны преданность и счастье, так вечны желания покоя и надежности, так притягивает и манит к себе жажда тайны чужой души...

Ад, оказывается, совсем не тогда наступает, когда от человека отказывается Бог (Бог не отказывается никогда), ад наступает тогда, когда человек сам от себя отказывается, когда он не знает, что ему делать с самим собой.

Есть ангелы, но они... только положения человеческой души на пути к совершенству. В минуты отчаяния поэт вспоминает о них с какой-то глубоко интимной грустью, как о чем-то потерянном еще так недавно. Путь к совершенству — любовь, и конечно, любовь к женщине, — говорит поэт.

...Не знаю! Я еще страны не видел,
Где б звонкой птицей, розовым кустом
Неведомое счастье промелькнуло.
Я ждал его за каждым перекрестком,
За каждой тучкой, выбежавшей в небо,
И видел лишь насмешливые скалы
Да ясные, бесчувственные звезды.
А знаю я — о, как я это знаю! —
Что есть такие страны на земле,
Где человек не ходит, а танцует,
Не знает боли милая любовь.

В начале марта в издательстве «Всемирная литература» вышла брошюра «Принципы художественного перевода», состоящая из двух статей — Н. Гумилева и К. Чуковского.

К лету в издательстве З. Гржебина[1] вышел в переводе Гумилева ассиро-вавилонский эпос «Гильгамеш». Как всегда, у Срезневских состоялась по этому поводу вечеринка. Здесь на экземпляре, подаренном М. Л. Лозинскому, Гумилев сделал такую надпись:

«Над сим Гильгамешем трудились
Три мастера, равных друг другу,
Был первым Син-Лики-Уинни,
Вторым был Владимир Шилейко,

---

[1] Зиновий Исаевич Гржебин — издатель. Сотрудничал с Горьким во «Всемирной литературе». Позднее организовал «Издательство З. И. Гржебина. Берлин — Петербург».

Михал Леонидыч Лозинский
Был третьим. А я, недостойный,
Один на обложку попал.

Н. Гумилев
17 мая 1919»

Для Гумилева было важно обосновать свою давнюю мысль: перевод — не замена слов одного языка на слова языка другого, главное — понять чужую душу, открыть тайны сердца поэта, уловить мелодию, звучащую в его душе, разгадать его сны.

Для Гумилева перевод — проникновение в другого, близкого, но еще загадочного, таинственного. Слова ничего не открывают сами по себе. Но художнику, поэту слова помогают, когда души двух людей открылись друг другу.

К осени Гумилев сделал очень много переводов, среди них — «Поэма о старом моряке» Кольриджа.

Почему Гумилева привлек Кольридж? Наверное, легендой — простой, бесхитростной и мудрой.

Один путешественник XVIII века рассказал в своей книге о странном человеке. Это был помощник капитана, уже пожилой и всегда задумчивый. Он верил в призраков, когда в пути их застигали бури, он утверждал, что это возмездие за смерть альбатроса, огромной белой птицы из породы чаек, которую он застрелил ради шутки...

Человек легко и бездушно совершает грех, но как тяжко потом вспоминать свой грех, как он тяготит душу, уничтожает ее. Замолить грех трудно, мучительно и до конца освободиться от греха невозможно — воспоминания о нем покоя не дадут...

В октябре поэма вышла в свет. Гумилеву удалось передать в ней то, что всегда дорого ему — простоту и чистоту чувств. Он писал: Кольридж и его друзья — поэты Озерной школы — «выступили на защиту двух близких друг другу требований — поэтической правды и поэтической полноты. Во имя поэтической правды они отказались от условных выражений, ложной красивости языка, слишком легковесных тем, словом, всего, что скользит по поверхности сознанья, не волнуя его и не удовлетворяя потребности в новом. Их язык обогатился множеством народных речений и чисто разговорных оборотов, их темы стали касаться того вечного в

душе человека, что задевает всех и во все эпохи. Во имя поэтической полноты они пожелали, чтобы их стихотворения удовлетворяли не только воображению, но и чувству, не только глазу, но и уху. Эти стихотворения видишь и слышишь, им удивляешься и радуешься, точно это уже не стихи, а живые существа, пришедшие разделить твое одиночество...

Кольридж и его друзья полюбили мирную природу не столько ради нее самой, сколько из-за возможности постигать при помощи ее душу человека и тайну вселенной».

«...Переводчик поэта должен быть сам поэтом, а, кроме того, внимательным исследователем и проникновенным критиком, который, выбирая наиболее характерное для каждого автора, позволяет себе, в случае необходимости, жертвовать остальным. И он должен забыть свою личность, думая только о личности автора.

И обязательно надо помнить, что «у каждого мэтра есть своя душа, свои особенности и задачи: ямб, как бы спускающийся по ступеням... свободен, ясен, тверд и прекрасно передает человеческую речь, напряженность человеческой воли. Хорей, поднимающийся, окрыленный, всегда взволнован, то растроган, то смешлив, его область — пение. Дактиль, опираясь на первый ударяемый слог и качая два неударяемые, как пальма свою верхушку, мощен, торжествен, говорит о стихиях в их покое, о деяниях богов и героев. Анапест, его противоположность, стремителен, порывист, это стихии в движеньи, напряжение нечеловеческой страсти. И амфибрахий, их синтез, баюкающий и прозрачный, говорит о покое божественно-легкого и мудрого бытия...»

Несмотря на предельную загруженность в издательстве и в студиях, заработка решительно не хватало, и, чтобы поддержать большую семью, Гумилев продавал свои вещи и даже книги. Словом, все, что можно было продать.

Был даже момент, когда казалось — нужно все бросить, уехать к семье в провинциальный Бежецк, там были дрова и можно было согреться, но он взял себя в руки, овладел своим «низменным» порывом.

На заседаниях редакционной коллегии «Всемирной литературы» практически всегда присутствовал и все-

гда был в форме и благожелательном расположении духа.

Народный комиссариат просвещения издал в 1919 году «Записки Института живого слова», в которых напечатаны программы курсов лекций Гумилева: «По теории поэзии» и «По истории поэзии».

Вспоминает К. Чуковский: «...тогда было распространено суеверие, будто поэтическому творчеству можно научиться в 10—15 уроков. Желающих стать стихотворцами появилось в то время великое множество. Питер внезапно оказался необыкновенно богат всякими литературными студиями, в которых самые разнообразные граждане обоего пола (обычно очень невысокой культуры) собирались в определенные дни, чтобы под руководством хороших (или плохих) стихотворцев изучать технику поэтической речи.

Так как печатание книг из-за отсутствия бумаги в те дни почти прекратилось, главным заработком многих писателей стали эти занятия в литературных кружках. Гумилев в первые же месяцы стал одним из наиболее деятельных студийных работников, и хотя он никогда не старался подольститься к своим многочисленным слушателям, а, напротив, был требователен и даже суров, все они с первых же дней горячо привязались к нему, часто провожали его гурьбой по улице, и число их из недели в неделю росло. Особенно полюбили его пролеткультовцы. Между тем курс его был очень труден. Поэт изготовил около десятка таблиц, которые его слушатели были обязаны вызубрить: таблицы рифм, таблицы сюжетов, таблицы эпитетов... от всего этого слегка веяло средневековыми догмами, но это-то и нравилось слушателям, так как они жаждали верить, что на свете существуют устойчивые, твердые законы поэтики, не подверженные никаким изменениям, — и что тому, кто усвоит как следует эти законы, будет наверняка обеспечено высокое звание Поэта (счастье, что сам-то Гумилев никогда не следовал заповедям своих замысловатых таблиц).

Даже его надменность пришлась по душе его слушателям. Им казалось, что таков и должен быть подлинный мастер в обращении со своими подмастерьями. Гумилев с самого начала уведомил их, что он «синдик „Цеха Поэтов“», и хотя слушатели никогда не слыхали о синдиках, они, увидя его гордую осанку, услышав его

начальственный голос, сразу же уверовали, что это очень важный и многозначительный чин. В качестве синдика он, давая оценку тому или иному произведению студийца, отказывался мотивировать эту оценку: «Достаточно и того, что ваши строки одобрены мною» или «Ваше стихотворение я считаю плохим и не стану говорить „почему“».

Как это ни странно, студийцам импонировала такая методика безапелляционных оценок. Они чувствовали, что синдик — властный, волевой человек, что у него сильный и цельный характер, и охотно подчинялись ему. Ни о чем другом, кроме поэзии, поэтической техники, он никогда не говорил со своими питомцами, и дисциплина на его занятиях была образцовая.

Мне случалось бывать в том кружке молодых поэтов... Кружок назывался «Звучащая раковина», собирался он в большой и холодной мансарде фотографа (Наппельбаума. — *В. Л.*) на Невском проспекте. Там, усевшись на коврик или на груды мехов, окруженный восторженно внимавшей ему молодежью... Гумилев авторитетно твердил им об эстетических догматах, о законах поэзии, твердо и непоколебимо установленных им».

Вспоминает И. Одоевцева: «Да, учиться писать стихи было трудно. Тем более, что Гумилев нас никак не обнадеживал.

— Я не обещаю вам, что вы станете поэтами, я не могу в вас вдохнуть талант, если его у вас нет. Но вы станете прекрасными читателями. А это уже много. Вы научитесь понимать стихи и правильно оценивать их. Без изучения поэзии нельзя писать стихи. Надо учиться писать стихи. Так же долго и усердно, как играть на рояле. Ведь никому не придет в голову играть на рояле не учась. Когда вы усвоите правила и проделаете бесчисленные поэтические упражнения, тогда вы сможете, отбросив их, писать по вдохновению, не считаясь ни с чем. Тогда, как говорил Кальдерон, вы сможете запереть правила в ящик на ключ и бросить ключ в море. Теперь же то, что вы принимаете за вдохновение, просто невежество и безграмотность».

В течение 1919 года написано:

В начале года стихотворения «Дамара» и «Готтентотская космогония».

В июле написано стихотворение «Память»,

Летом написаны стихотворения: «Евангелическая церковь», «Мой час», Канцона первая («Закричал громогласно...»), «Естество», «Душа и тело», «Слово», «Если плохо мужикам...», «Подражанье персидскому», «Лес», «К***» («Если встретишь меня — не узнаешь...»).

Июнь — сентябрь. В своем семинаре в студии «Всемирной литературы» организовывал конкурсы на перевод стихотворений и сам принимал в них участие. В числе переведенных таким образом стихотворений были «Два гренадера» Г. Гейне, «Correspondances» Бодлера, «Фидиле» Леконта де Лиля, несколько стихотворений Ж. Мореаса.

Лето — осень (?). Переведены следующие произведения: баллады «Посещение Робин Гудом Ноттингама» и «Робин Гуд и Гай Гисборн»; «Поэма о старом моряке» С. Т. Кольриджа (и написано предисловие к отдельному изданию ее).

Не позднее поздней осени закончил для «Всемирной литературы» перевод четырех песен «Орлеанской девственницы» Вольтера.

20 ноября закончены переводы Лонгфелло: «Стрела и песня», «Полночное пение раба» и «День ушел...».

30 ноября сдал в издательство «Всемирная литература» исправленный экземпляр «Гильгамеша» для печатания вторым изданием.

5 декабря. В альбом К. И. Чуковского («Чукоккала») — шуточное стихотворение «Ответ».

Не позднее середины декабря переведено для «Всемирной литературы» стихотворение «Предостережение хирурга» Р. Соути.

К 20 декабря переведены для «Всемирной литературы» два стихотворения (из «Современных од») Антеро де Кентала (перевод сделан по подстрочникам Лозинского); стихотворения «Сердце Гиальмара», «Неумирающий аромат», «Слезы медведя», «Малайские пантумы» Леконта де Лиля; «Эпилог» (из Poémes Saturniens») П. Верлена, стихотворение «День 14 июля» Ромена Роллана.

Написаны предисловия к 1-му тому произведений Р. Соути; к «Дон Жуану», «Каину», «Сарданапалу», «Марио Фальеро», «Корсару» Байрона.

20 декабря сдал в издательство «Всемирная литература» для отдельного издания печатный экземпляр перевода «Пиппа проходит» Р. Броунинга.

25 декабря закончил для «Всемирной литературы» переводы «Французских народных песен», «Атты Тролл» — Гейне, четырех сонетов Эредиа («Номея», «Луперкус», «Конквистадор», «Бегство кентавров») и написал предисловие к «Французским народным песням».

К 30 декабря перевел для «Всемирной литературы» стихотворение «Кто нужен сердцу...» Ж. Мореаса.

Не позже 31 декабря перевел для «Всемирной литературы» ряд стихотворений Т. Готье и написал примечания к тому стихотворений Т. Готье в переводах русских поэтов.

К 1 января сдал в издательство «Всемирная литература» перевод «Кавалькады Изольды» Вьеле Гриффена для отдельного издания.

К концу года (к 1 января 1920) были переведены для «Всемирной литературы» стихотворение «Главные» Рембо, стихотворения Т. Готье (182 строки), написаны вступительная статья к тому стихотворений Т. Готье в переводах русских поэтов, предисловие к «Ларе» Байрона.

Напечатано:

«Экваториальный лес» (Северное сияние. Журнал для детей, № 3—4).

Перевод баллад «Посещение Робин Гудом Ноттингама» и «Робин Гуд и Гай Гисборн». В книге «Баллады о Робин Гуде». Под редакцией Н. Гумилева (Всемирная литература, № 8).

Не позже 2 марта вышла из печати в издательстве «Всемирная литература» брошюра «Принципы художественного перевода», состоящая из двух статей — Н. С. Гумилева («Переводы стихотворные») и К. И. Чуковского.

В середине мая вышел в издательстве З. И. Гржебина «Гильгамеш».

В издательстве «Всемирная литература» вышел в свет перевод Н. Гумилева «Поэмы о старом моряке» С. Т. Кольриджа с предисловием Н. Гумилева.

В брошюре «Записки Института живого слова» напечатаны программы курсов лекций Н. С. Гумилева «По теории поэзии» и «По истории поэзии».

В Коммунальном театре-студии была поставлена и шла несколько раз детская пьеса «Дерево превращений».

О Гумилеве:

Рецензия Н. Л. (Ник. Лернер) на «Гильгамеш» (Жизнь искусства, № 139—140); рецензия (чья?) на «Принципы художеств. перевода» (Вестник литературы. Вып. III); рецензия А. Л. на постановку «Дерева превращений» в Коммунальном театре-студии (Жизнь искусства, № 74); рецензия Н. Л. на «Принципы художественного перевода» (Жизнь искусства, № 94); А. Смирнов — рецензия на сб. «Фарфоровый павильон» (Творчество, № 1).

1920

Век героических надежд и совершений...

В течение всей зимы жена, сын и дочь Гумилева жили в Бежецке вместе с его матерью и сестрой — одной семьей легче было переносить трудности, а Гумилеву — заботиться о них. Живя в Петрограде, продолжал преподавать в «Институте живого слова», вел чаще других преподавателей — три раза в неделю — занятия в студии Дома искусств, читал лекции по теории поэзии, теории драмы, сочинял и переводил.

Жил Гумилев в 20 году все там же, на Преображенской, 5. Жил один до конца мая. Прокормиться стало еще труднее, чем в 19 году. Студия «Всемирной литературы», в которой преподаватели получали жалованье и пайки, прекратила свое существование. А он непременно и регулярно должен был отправлять деньги семье.

Обедать стал ходить в Дом литераторов на Бассейной (ныне ул. Некрасова).

Из дневника Лукницкого

1.04.1925

АА: «Николай Степанович Пунина не любил. Очень. В Доме литераторов, в революционные годы, баллы ставили для ученого пайка. Заседание было. Все предложили Н. Г. — 5, АА — тоже 5. Пунин выступил: «Гумилеву надо — 5 с минусом, если Ахматовой — 5». Николай Степанович был в Доме литераторов, пришел на заседание и все время до конца просидел. Постановили Н. Г. — 5 с минусом, АА — 5».

Я: «Николай Степанович помнил обиды?»

АА: «Помнил...»

12.04.1926

АА рассказала о нескольких встречах в последние годы. Так, в январе 1920 года она пришла в Дом искусств получать какие-то деньги (думаю, что для Шилейко). Николай Степанович был на заседании. АА села на диван. В первой комнате. Подошел Б. М. Эйхенбаум. Стали разговаривать. АА сказала, что «должна признаться в своем позоре — пришла за деньгами». Эйхенбаум ответил: «А я в моем: я пришел читать лекцию, и вы видите — нет ни одного слушателя». Через несколько минут Николай Степанович вышел. АА обратилась к нему на «вы». Это поразило Николая Степановича, и он сказал ей: «Отойдем...» Они отошли, и Николай Степанович стал ей жаловаться: «Почему ты назвала меня на «вы», да еще при Эйхенбауме! Может быть, тебе что-нибудь плохое передали обо мне? Может быть, ты думаешь, что на лекциях я плохо о тебе говорю? Даю тебе слово, что на лекциях я, если говорю о тебе, то только хорошо». АА добавила: «Видите, как он чутко относился ко мне, если обращение на «вы» так его огорчило. Я была очень тронута тогда».

Несмотря на житейские трудности, на бытовые неудобства, на постоянное недоедание Гумилев находил время для творчества. Много писал в те тяжелые дни. Упорно работал и тем спасал себя, так как был глубоко убежден, что только искусство дает возможность дышать в том мире, где дышать невозможно.

А. Амфитеатров[1]: «Поэзия была для него не случайным вдохновением, украшающим большую или меньшую часть жизни, но всем его существом; поэтическая мысль и чувство переплетались в нем, как в древнегерманском мейстерзингере, со стихотворским ремеслом, — и недаром же одно из основанных им поэтических «товариществ» носило имя-девиз «Цех Поэтов». Он был именно цеховой поэт, то есть поэт, и только поэт, сознательно и умышленно ограничивший себя рамками стихотворного ритма и рифмы. Он даже не любил, чтобы его называли «писателем», «литератором», резко отделяя «поэта» от этих определений в особый, магически очерченный круг, возвышенный над миром, наподобие как бы некоего амвона... Он был всегда серьезен, очень серьезен, жречески важный стихотворец — Герофант. Он писал свои стихи, как будто возносил на алтарь дымящуюся благоуханием жертву богам...»

Из воспоминаний А. Левинсона: «Помню как сейчас: кто-то принес на заседание редакционной коллегии издательства «Всемирной литературы» в Петрограде бумажку, копию письма Д. С. Мережковского, напечатанную в парижской газете. То, что называется по-советски «коллегией», была группа писателей и ученых, голодных, нищих, бесправных, отрезанных от читателей, от источников знаний, от будущего, рядов которых уже коснулась смерть, писателей, затравленных доносами ренегатов, вяло защищаемых от усиливающегося натиска власти и безоговорочно, до конца (от истощения, как Ф. Д. Батюшков, от цинги или от пули) верных литературе и науке. И вот в письме этом для этого пусть фанатического, пусть безнадежного, но высокого, но бескорыстного усилия нашлось лишь два слова: «Бесстыдная спекуляция».

Я не забуду этого дня: Гумилев, «железный человек», как прозвали его в шутку, — так непоколебимо настойчив бывал он при защите того, что считал достоинством писателя, — был оскорблен смертельно. Он хотел отвечать в той же заграничной печати. Но как доказать всю чистоту своего писательского подвига, всю меру духовной независимости своей от режима? Не значило ли это обречь на гибель и дело и людей?»

---

[1] Александр Валентинович Амфитеатров (1862—1938) — прозаик, драматург, историк.

Ответ Гумилева для обсуждения на редколлегии издательства «Всемирная литература»: «В зарубежной прессе не раз появлялись выпады против издательства «Всемирная литература» и лиц, работающих в нем. Определенных обвинений не приводилось. Говорилось только о невежестве сотрудников и неблаговидной политической роли, которую они играют. Относительно первого, конечно, говорить не приходится. Люди, которые огулом называют невежественными несколько десятков профессоров, академиков и писателей, насчитывающих ряд томов, не заслуживают, чтобы с ними говорили. Второй выпад мог бы считаться серьезнее, если бы не был основан на недоразумении.

«Всемирная литература» — издательство не политическое. Его ответственный перед властью руководитель, Максим Горький, добился в этом отношении полной свободы для своих сотрудников. Разумеется, в коллегии экспертов, ведающей идейной стороной издательства, есть люди самых разнообразных убеждений, и чистой случайностью надо признать факт, что в числе шестнадцати человек, составляющих ее, нет ни одного члена Российской коммунистической партии. Однако все они сходятся на убеждении, что в наше трудное и страшное время спасенье духовной культуры страны возможно только путем работы каждого в той области, которую он свободно избрал себе прежде. Не по вине издательства эта работа его сотрудников протекает в условиях, которые трудно и представить себе нашим зарубежным товарищам. Мимо нее можно пройти в молчании, но гикать и улюлюкать над ней могут только люди, не сознающие, что они делают, или не уважающие самих себя».

В августе состоялся творческий вечер Союза поэтов в Доме искусств. Через неделю состоялся второй вечер, и осенью Гумилев провел третий вечер Союза поэтов, в котором на этот раз среди друзей Гумилева принимал участие приехавший с Кавказа Мандельштам.

О жизни Дома искусств вспоминает Н. Оцуп: «Заведующий хозяйством Дома искусств позвал на экстренное совещание писателей и предложил им утвердить меню обеда в честь Уэллса. Накормить английского гостя можно было очень хорошо (чтобы пустить

ему пыль в глаза). «Совещание» этот план отвергло: пусть знает Уэллс, как питается русский писатель:

Ведь носящему котомки
И капуста — ананас,
Как с прекрасной незнакомки,
Он с нее не сводит глаз.
Да-с!

Принято было среднее решение: пира не устраивать, но и голодом Уэллса не морить.

Банкет, не поражавший ни обилием, ни бедностью стола, был зато очень богат странными для иностранного гостя речами.

Шкловский, стуча кулаком по столу и свирепо пяля глаза на Уэллса, кричал ему:

— Передайте англичанам, что я их ненавижу.

Приставленная к Уэллсу Бенкендорф мялась, краснела, но по настоянию гостя перевела ему слово в слово это своеобразное приветствие.

Затем один почтенный писатель, распахивая пиджак, заговорил о грязи и нищете, в которых заставляют жить русских деятелей культуры. Писатель жаловался на ужасные гигиенические условия тогдашней жизни.

Речь эта, взволнованная и справедливая, вызывала все же ощущение неловкости: равнодушному, спокойному, хорошо и чисто одетому англичанину стоило ли рассказывать об этих слишком интимных несчастьях. Гумилева особенно покоробило заявление о неделями не мытом белье писателей. Он повернулся к говорящему и произнес довольно громко: „Parlez pour vous!“ [1]»

Весною 1920 года Гумилев принял участие в организации Петроградского отдела Всероссийского Союза писателей, а в конце июня в помещении Вольной философской ассоциации состоялось заседание организационной группы Петроградского отдела Всероссийского Союза поэтов под председательством Блока, которое постановило учредить Петроградское отделение Всероссийского Союза поэтов. Гумилев был избран в приемную комиссию.

В июле Союз поэтов был официально утвержден как «Петроградское отделение Всероссийского профессионального Союза поэтов».

---

[1] Говорите о себе *(франц.)*.

В конце июня Гумилев написал статью «Поэзия Теофиля Готье», перед которым давно преклонялся и с наслаждением переводил.

«...Выбор слов, умеренная стремительность периода, богатство рифм, звонкость строки — все, что мы беспомощно называем формой произведения, находили в Теофиле Готье ярого ценителя и защитника. В одном сонете он возражает «ученому», пытавшемуся умалить значение формы:

Но форма, я сказал, как праздник пред глазами:
Фалернским ли вином налит или водой —
Не все ль равно! кувшин пленяет красотой!
Исчезнет аромат, сосуд же вечно с нами.

И это он провозгласил беспощадную формулу «L'art robuste seul á l'éternité»[1], пугающую даже самых пылких влюбленных в красоту.

Что же? Признаем Теофиля Готье непогрешимым и только непогрешимым, отведем ему наиболее почетный и наиболее посещаемый угол нашей библиотеки и будем пугать его именем дерзких новаторов? Нет. Попробуйте прочесть его в комнате, где в узких вазах вянут лилии и в углу белеет тысячелетний мрамор — между поэмой Леконта де Лиля и сказкой Оскара Уайльда, этими воистину «непогрешимыми и только непогрешимыми», и он захлестнет вас волной такого безудержного «раблеистического» веселья, такой безумной радостью мысли, что вы или с негодованием захлопнете его книгу, или, показав язык лилиям, мрамору и «непогрешимым», выбежите на вольную улицу, под веселое синее небо. Потому что секрет Готье не в том, что он совершенен, а в том, что он могуч, заразительно могуч, как Рабле, как Немврод, как большой и смелый лесной зверь.. »

Гумилев не замечает борьбы партий, классов, мировоззрений, для него искусство — вне общественных бурь и страстей, политика губит искусство, и его надо от политики уберечь... не только злоба против добра, но и злоба против зла разрушает духовный мир человека; на свете — все очень просто и очень сложно: память есть таинственно раскрывающаяся внутренняя связь истории духа с историей мира. История мира есть лишь символика первоначальной истории человеческого духа.

---

[1] Дословно: «Лишь мускулистое искусство достойно вечности» *(франц.)*.

Из дневника Лукницкого

12.04.1925

...Осип Эмильевич: «Были такие снобы после смерти Николая Степановича — хотели показать, что литература выше всего...»

АА (иронически): «И показали...»

Осип Эмильевич: «Да».

АА: «Почему это раз в жизни им захотелось показать, что литература выше всего?! Николай Степанович любил осознать себя... ну — воином... ну — поэтом... И последние годы он не сознавал трагичности своего положения... А самые последние годы — даже обреченности. Нигде в стихах этого не видно. Ему казалось, что все идет обыкновенно...»

Осип Эмильевич: «Я помню его слова: „Я нахожусь в полной безопасности, я говорю всем открыто, что я — монархист. Для них (т. е. для большевиков) самое главное — это определенность. Они знают это и меня не трогают“».

АА: «Это очень характерно для Николая Степановича. Он никогда не отзывался пренебрежительно о большевиках...»

Осип Эмильевич: «Он сочинил однажды какой-то договор (ненаписанный, фантастический договор) — о взаимоотношениях между большевиками и им. Договор этот выражал их взаимоотношения, как отношения между врагами-иностранцами, взаимно уважающими друг друга».

5.04.1925

Вспоминая свои разговоры с АА о Николае Степановиче, Осип Мандельштам:

«Вот я вспомнил — мы говорили о Франсе с Анной Андреевной. Гумилев сказал: «Я горжусь тем, что живу в одно время с Анатолем Франсом» — и попутно очень умеренно отозвался о Стендале.

Анна Андреевна тогда сказала: «Это очень смешно выходит — что в одной фразе Николай Степанович говорит об Анатоле Франсе и о Стендале, я не помню повода, почему Николай Степанович заговорил о Стендале, но помню, что повод к такому переходу был случайным».

О словах Николая Степановича: «Я трус» — Анна Андреевна хорошо сказала: «В сущности — это высшее

кокетство...» Анна Андреевна какие-то интонации воспроизвела, которые придали ее словам особенную несомненность... Николай Степанович говорил о «физической храбрости». Он говорил о том, что иногда самые храбрые люди по характеру, по душевному складу бывают лишены физической храбрости... Например, во время разведки валится с седла человек — заведомо благородный, который до конца пройдет и все, что нужно, сделает, но все-таки будет бледнеть, будет трястись, чуть не падать с седла... Мне думается, что он был наделен физической храбростью. Я думаю. Но, может быть, это было не до конца, может быть, это — темное место, потому что слишком он горячо говорил об этом... Может быть, он сомневался? К характеристике друзей. «Он говорил: „У тебя, Осип, «пафос ласковости». Понятно это или нет? Неужели понятно? Даже страшно!“»

ЦЫГАНСКИЙ ТАБОР

Нине Шишкиной [1]

Струна, и гортанный вопль, и сразу
Сладостно так заныла кровь моя,
Так убедительно поверил я рассказу
Про иные, родные мне края.

Вещие струны — это жилы бычьи,
Но горькой травой питались быки,
Гортанный голос — жалобы девичьи
Из-под зажимающей рот руки.

Пламя костра, пламя костра колонны
Красивых стволов и гики диких игр,
Ржавые листья топчет гость влюбленный,
Кружащийся в толпе бенгальский тигр.

Капли крови текут с усов колючих,
Томно ему, он сыт, он опьянел,
Слишком, слишком много бубнов гремучих,
Слишком много сладких, пахучих тел.

Ах, кто помнит его в дыму сигарном,
Где пробки хлопают, люди кричат,
На мокром столе чубуком янтарным
Злого сердца отстукивающим такт?

Девушка, что же ты? Ведь гость богатый,
Стань перед ним, как комета в ночи,
Сердце крылатое в груди косматой
Вырви, вырви сердце и растопчи!

[1] Печатается по автографу.

Шире, все шире, кругами, кругами
Ходи, ходи и рукою мани,
Так пар вечерний плавает лугами,
Когда за лесом огни и огни.

Ах, кто помнит его на склоне горном
С кровавой лилией в узкой руке,
Грозою ангелов и светом черным
На убегающей к творцу реке?

Нет уже никого в живых, кто мог бы вспомнить эту встречу. Да и был ли кто-нибудь, кто знал о ней? Когда она произошла? В 1918, 1919, 1920-м? Когда? По черновикам его стихов — возможно, и раньше. Гумилев не имел обычая рассказывать о знакомых женщинах. Да и время было не то: не девятый, не тринадцатый год. Люди разбегались, не вникая в чужую, тем паче — интимную жизнь.

Может быть, мела метель, может быть, лил дождь, или осенние листья тихо падали в аллеях Летнего сада... А они были вместе. Она была его тайной пристанью в шумном, гневном мире. Он, одержимый, утомленный, рядом с ней — отдыхал. В то тяжелое время ему было легко только у нее. Она, ничего не требуя, всегда нежно и терпеливо успокаивала его и пела ему. Она сочиняла музыку на его стихи, которые он писал на ее коленях, и пела их ему.

В 1923 году Нина Алексеевна Шишкина-Цур-Милен подарила своему близкому другу Павлу Лукницкому часть архива Гумилева и более двух десятков беловых автографов его стихотворений и черновых вариантов. Что-то он писал у нее, что-то приносил. Сохранились в памяти рассказы Лукницкого о его отношениях с Ниной Алексеевной и стихи, написанные ей Лукницким, но, поскольку Ахматовой общение это было неприятно вдвойне, то в дневниках Лукницкого почти отсутствуют подробные записи (может быть, вырезаны, выброшены?) о знаменитой певице — цыганке Нине Шишкиной и ее судьбе. Лишь отдельные, обрывочные фразы. А рассказывать по памяти... ох уж эта память! Лукницкий часто повторял, что память — великая завиральница, а Ахматова вообще рекомендовала двадцать процентов литературоведческих «цитат» по памяти подвергать непременному осуждению.

В архиве сохранились надписи на книгах.

На верстке сборника «Жемчуга» издательства «Прометей» (СПБ. 1918):

«Богине из Богинь, Светлейшей из Светлых, Люби-

мейшей из Любимых, Крови моей славянской прост(ой), Огню моей таборной крови, последнему Счастью, последней Славе Нине Шишкиной-Цур-Милен дарю я эти «Жемчуга».

Н. Гумилев,

25 сентября 1920».

На «Шатре»:

«Моему старому и верному другу Нине Шишкиной в память стихов и песен.

Н. Гумилев
21 июля 1921 г.»

Если судить только по этим двум датам и текстам — перед нами не «мимолетный роман», не «донжуанский» или «шахский» порыв, не случайная девушка из его многочисленных учениц-поклонниц. Женщина. Неизвестная, впрочем, до поры до времени в его биографии...

В конце 1920 года Гумилев уехал в Москву, читал стихи в Политехническом музее. Москва тогда его огорчила и напугала своей беспросветностью, ограниченностью. Ему не писалось и не думалось здесь. Все вокруг казалось бессмысленно-мрачным.

Из Москвы на несколько дней уехал в Бежецк к матери, жене, детям. Отдел народного образования Бежецка попросил Гумилева выступить. Гумилев сделал доклад о современном состоянии литературы в России и за границей. На встречу с ним собралось громадное для уездного города количество слушателей. Местное литературное объединение просило Гумилева походатайствовать о включении объединения в качестве подотдела во Всероссийский Союз поэтов.

Из дневника Лукницкого

04.11.1925

Я заговорил о том, что во всех воспоминаниях о последних годах Николая Степановича сквозит: организовал то-то, принял участие в организации того-то, был инициатором в том-то и т. д.

АА очень серьезно ответила, «что нельзя говорить о том, что организаторские способности появились

у Николая Степановича после революции. Они были и раньше — всегда. Вспомнить только о «Цехе», об «Академии», об «Острове», об «Аполлоне», о «поэтическом семинаре», о тысяче других вещей. Разница только в том, что, во-первых, условия проявления организаторских способностей до революции были неблагоприятными («пойти к министру народного просвещения и сказать: „Я хочу организовать студию по стихотворчеству!“»). После революции условия изменились. А во-вторых, до революции у Николая Степановича не было материальных побуждений ко всяческим таким начинаниям... Все эти студии стали предметом заработка для впервые нуждавшегося, обремененного семьей и другими заботами Николая Степановича. Они были единственной возможностью — чтобы не умереть с голоду.

Одно — когда Николай Степанович упоминает о быте, так сказать, констатирует факт, описывает как зритель. Это часто сквозит в стихах. И больше всего — в черновике канцоны... И совсем другое — осознание себя как действующего лица, как какого-то вершителя судеб».

Н. Оцуп: «...В 1918—1921 гг. не было, вероятно, среди русских поэтов никого равного Гумилеву в динамизме непрерывной и самой разнообразной литературной работы <...>.

Секрет его был в том, что он, вопреки поверхностному мнению о нем, никого не подавлял своим авторитетом, но всех заражал своим энтузиазмом».

Из дневника Лукницкого

26.05.1926

Говорили об окружении Гумилева в те последние годы. Попутно АА говорила о Блоке, считая, что Блок, вдавшись в полемику, закончившуюся статьей «Без божества, без вдохновенья»[1], поступил крайне неэтично

---

[1] С. Каплун: «1921. Апрель. Ал. Блок написал статью «Без божества, без вдохновенья». Статья эта (Н. С. читал ее в рукописи) привела к разрыву личных отношений между Н. С. Гумилевым и Ал. Блоком... Гумилев написал ответ на статью Блока, но не успел его опубликовать. Статьи этой найти не удалось». Из книги П. Н. Лукницкого «Труды и дни Н. Гумилева», т. II, с. 292.

Софья Гитмановна Каплун (1901—1962) — устроительница публичных лекций при Союзе писателей; в 20-е годы публиковалась как член Вольной философской ассоциации.

и нехорошо. А Гумилева же упрекнула в отсутствии чуткости, позволившем ему вступить в полемику с задыхающимся, отчаивающимся, больным и желчным Блоком. АА не оправдывает последних лет жизни Гумилева, причины их находит во всех условиях тогдашнего существования, считает, что если бы Гумилев не умер, то очень скоро бы сильно переменился, узнав историю с Кельсоном, он прекратил бы отношения с Г. Ивановым, Н. Оцупом; студии ему достаточно надоели (например, по словам Ф. Р. Наппельбаум, он хотел отказаться от руководства «Звучащей раковиной»)... Рассказывала о непримиримом отношении Гумилева к ней...

В самом конце года в Доме литераторов состоялся организованный Гумилевым вечер Бодлера. В первом отделении Гумилев сделал доклад о Бодлере, и все второе отделение читал свои переводы из него. Выступление проходило в переполненном зале и с большим успехом.

«Бодлер к поэзии отнесся, как исследователь, вошел в нее, как завоеватель. Самый молодой из романтиков, явившийся, когда школа уже наметила свои вехи, он совершенно сознательно наметил себе еще не использованную почву и принялся за ее обработку, создав для этого специальные инструменты...

Странно было бы приписывать Бодлеру все те переживания, которые встречаются в его стихах. Чем тоньше артист, тем дальше его мысль от воплощения ее в действие. Веками подготовлявшийся переход лирической поэзии в драматическую в девятнадцатом веке наконец осуществился. Поэт почувствовал себя всечеловеком, мирозданьем даже, органом речи всего существующего и стал говорить не столько от своего собственного лица, сколько от лица воображаемого, существующего лишь в возможности, чувств и мнений которого он часто не разделял. К искусству творить стихи прибавилось искусство творить свой поэтический облик, слагающийся из суммы надевавшихся поэтом масок. Их число и разнообразие указывает на значительность поэта, их подобранность — на его совершенство. Бодлер является перед нами и значительным, и совершенным. Он верит настолько горячо, что не может удержаться от богохульства, истинный аристократ духа, он видит своих равных во всех обиженных жизнью, для него, знающего ослепительные вспышки красоты, уже не от-

вратительно никакое безобразье, весь позор повседневных городских пейзажей у него озарен воспоминаниями о иных, сказочных странах. Перед нами фигура одинаково далекая и от приторной слащавости Ростана, и от мелодраматического злодейства юного Ришпена. Зато и влиянье его на поэзию было огромно».

В 1920 году написано:

В начале года — по заказу издательства «Всемирная литература» для «Серии исторических картин» написана пьеса «Охота на носорога».

9 января закончен перевод «Фитули-Пуули» (первые 156 строк были переведены 1 января) и к 20 января закончен перевод «Бимини» Гейне.

В феврале пишет стихотворение «Сентиментальное путешествие»; посвящает О. Н. Арбениной.

В марте написано стихотворение «Заблудившийся трамвай».

Не позже 5 мая закончен для «Всемирной литературы» перевод четырех сонетов Антеро де Кентала.

В июне написана Канцона вторая («И совсем не в мире мы, а где-то...»).

Летом написаны стихотворения: «Слоненок» и «Шестое чувство».

6 июля. Первая постановка пьесы «Гондла» в Ростове-на-Дону.

Не позже 30 июля переведены для «Всемирной литературы» «Баллада о темной леди» — Кольриджа и стихотворение «Эрнфила» Ж. Мореаса.

Не позже 18 августа переведены стихотворения Ж. Мореаса — «Воспоминанья», «Ага-Вели», «Посланье», «Вторая элегия».

Не позже 3 сентября переведены, по подстрочнику А. В. Ганзен, четыре скандинавские народные песни: «Брингильда», «Гагбард и Сигне», «Лагобарды», «Битва со змеем».

Сентябрь — октябрь — написана «Поэма начала» (Песнь первая).

Не позже 10 октября закончен перевод стихотворений Д. Леопарди (220 строк).

В октябре написано стихотворение «У цыган», с посвящением Н. А. Шишкиной.

Не позже 25 октября переведены для издательства «Всемирная литература» стихотворения «Без названья» и «Распутник» Ж. Мореаса.

18 октября или 1 ноября в студии поэзотворчества «Института живого слова» коллективно, но с преобладающим участием Н. Гумилева написано стихотворение «Наш хозяин щурится как крыса...».

В ноябре написаны стихотворения «Эльга, Эльга!..» и «Пьяный дервиш».

25 октября или 15 ноября в студии поэзотворчества «Института живого слова» коллективно, но с преобладающим участием Н. Гумилева написано стихотворение «Суда стоят, во льдах зажаты...».

В декабре написано стихотворение «Звездный ужас».

6 декабря в студии поэзотворчества «Института живого слова» коллективно, с преобладающим участием Н. Гумилева написано пять вариаций стихотворения «Внимали равнодушно мы...»

Не позже 25 декабря переведены для издательства «Всемирная литература» две французские народные песни: «Вечный Жид» и «Адская машина».

В декабре написаны стихотворения: «Звездный ужас», «Индюк», «Нет, ничего не изменилось...», «Поэт ленив...», «Ветла чернела...», «С тобой мы связаны одною цепью...»

В течение года отредактированы следующие переводы: «Эндимион» Китса (в январе — апреле); «Соловей», «Страх в одиночестве» (в январе — феврале), «Гимн перед восходом солнца», «Франция» — Кольриджа (к 29 октября); английские народные баллады (несколько в январе — феврале, шесть баллад к 20 мая, одна к 20 июля); «Гяур» (к 24 апреля), «Дон-Жуан» (часть в январе, песнь первая к 19 мая, песнь вторая к 20 июля, конец второй песн. • к 18 сентября) Байрона; стихи к романам «Морской волк» и «Когда боги смеются» Дж. Лондона (к 18 сентября); «Вер-Вер» Грассе (к 5 января), «Орлеанская девственница» Вольтера (песнь 8 к 24 апреля, песни 9, 10 к 30 июня, песни 6, 7, 9 к 18 августа); «Теофиль Готье» Бодлера (к 8 июня); «Смерть любовников» и «Путешествие» Бодлера (к 15 июля); «Авель и Каин» Бодлера (к 27 мая), «Эринии» (к 18 августа), «Притчи Брата Гюи» Леконта де Лиля (к 26 ноября); «Сирано де Бержерак» Ростана (с 20 июля по 30 июля); «Хмельной гимн» Мюссе (к 19 сентября); рассказ «Ами и Амиль» Мореаса (к 15 ноября); «Антология французских поэтов-символистов и эстетов» (к 26 ноября); «Утешение Одина» (к 10 мая): 23 избранные баллады Дана (к 5 января); «Шведские народные песни» (часть в январе, 5 песен к 24 августа, 5 песен к 26 августа); «Ирод и Мириамна» и «Генофева» Геббеля (к 11 февраля); «Агасфер в Риме» Гамерлинга (к 18 февраля); «Веселый ужин шутников» Бенелли-Сема (к 19 марта), «Счастье и конец короля Оттокара» Грильперцера (к 23 апреля); несколько стихотворений Фердинанда фон Заара (к 18 сентября); «Нелле Завоеватель» и «Канун св. Агнесы» Нексё (к 20 июля); «Заложница императора Карла» Гауптмана (к 30 июля); «Стихотворения» Вордсворта (5 стихотворений к 20 июля, 2 стихотворения к 30 августа, 2 стихотворения к 18 сентября`; «Пикколомини» Шиллера (к 28 ноября) и другие.

Напечатано:

Вышла в свет (вторым, дополненным изданием) брошюра «Принципы художественного перевода» со статьями Ф. Батюшкова, К. Чуковского и статьей Н. Гумилева — «Переводы стихотворные» (Пг., Госиздат, 1920).

1921

И Господь воздаст мне полной мерой
За недолгий мой и горький век...

Из дневника Лукницкого

3.03.1925

АА говорила о том ужасе, который она пережила в 1921 году, когда погибли три самых близких ей духовно, самых дорогих человека — А. Блок, Николай Степанович и Андрей Андреевич Горенко.

«Через несколько дней после похорон Блока я уехала в Царское Село, в санаторию. Рыковы[1] жили в Царском тогда, на ферме, и часто меня навещали — Наташа и Маня. Я получила письмо от Владимира Казимировича из Петербурга, в котором он сообщал мне, что виделся с А. В. Ганзен[2], которая сказала ему, что Гумилева увезли в Москву (письмо это у меня есть). Это почему-то все считали хорошим знаком.

Ко мне пришла Маня Рыкова, сидели на балконе во втором этаже. Увидели отца, Виктора Ивановича Рыкова, который подходил, — вернулся из города и шел домой к себе на ферму».

Он увидел дочь и позвал ее. Та встает, идет. Он ей что-то говорит, и АА видит, как та вдруг всплескивает руками и закрывает ими лицо. АА, почувствовав худое, ждет уже с трепетом, думая, однако, что несчастье случилось в семье Рыковых. Но когда М. В., возвращаясь, направляется к ней... (М. В. подходит и произносит только: «Николай Степанович...») — АА сама уже все поняла.

«Отец прочел в вечерней „Красной газете"».

Я жила в комнате, в которой было еще пять человек и среди них одна (соседка по кровати — член совдепа). Она в этот день ездила в город, в заседание, которым подтверждалось постановление. Вернулась и рассказывала об этом другим больным.

Утром поехала в город, на вокзале увидела «Правду» на стене. Шла с вокзала пешком в Мраморный дворец к Вольдемару Казимировичу. Он уже знал.

Говорили по телефону с Алянским[3], который сказал о панихиде в Казанском соборе: «Казанский собор...» Я поняла. Была на панихиде и видела там Анну Николаевну, Лозинского, были Георгий Иванов, Оцуп, Адамович, Любовь Дмитриевна Блок была и очень много народу вообще».

Последний год его жизни начинался обыкновенно, буднично, без предчувствий и тревог. Была такая же, как и прошлые две, трудная, холодная, голодная зима — надо было выживать.

---

[1] Рыковы — семья ближайших друзей А. А. Ахматовой.

[2] Анна Васильевна Ганзен (1869—1942) — переводчица произведений скандинавских писателей. Переводила для «Всемирной литературы».

[3] Самуил Миронович Алянский (1891—1974) — владелец издательства «Алконост».

Вспоминает поэтесса И. Наппельбаум: «Сейчас я уже не помню, как мы с сестрой узнали о Доме искусств, о поэтической студии при нем... Для меня этот дом на Мойке стал любимейшим местом души моей. Сами стены этого елисеевского особняка, внутренняя, узкая, скрипучая, из темного дерева лестница, Белый зал — все запущенное, холодное, неживое и в то же время населенное пульсирующей новой жизнью; сами запахи этого здания — волновали, звали, манили к себе. Я не могла дождаться вечера, когда нужно будет идти на занятия в поэтическую студию.

Поэтической студией при Доме искусств руководил Николай Степанович Гумилев... Мы занимались в узкой, длинной, ничем не примечательной комнате. За узким длинным столом. Николай Степанович сидел во главе стола, спиною к двери. Студийцы располагались вокруг стола. Как-то так получилось, что места наши закрепились за нами сами по себе. Я сидела слева от мэтра первою...

...Мы читали стихи по кругу. Разбирали каждое, критиковали, судили. Николай Степанович был требователен и крут. Он говорил: если поэт, читая свои новые стихи, забыл какую-то строку, значит, она плоха, ищите другую.

Гумилев мечтал сделать поэзию точной наукой. Своеобразной математикой. Ничего потустороннего, недоговоренного, никакой мистики, никакой зауми. Есть материал — слова, найди для них лучшую форму и вложи их в эту форму и отлей форму, как стальную. Только единственной формой можно выразить мысль, заданную поэтом. Беспощадно бороться за эту исключительную точность формы, ломать, отбрасывать, менять.

...Вторая часть наших студийных занятий проходила во всевозможных литературных играх. Так мы часто играли в буримэ. Были заданы рифмы, и каждый из студийцев сочинял строку по кругу, должно было создаться цельное, смысловое стихотворение. Николай Степанович сам принимал активное участие в этих работах.

Наши поэтические игры продолжались на ковре уже в гостиной; примыкали к нам и уже «взрослые» поэты из «Цеха Поэтов»: Мандельштам, Оцуп, Адамович, Георг. Иванов, Одоевцева, Всеволод Рождественский — и разговор велся стихами. Тут были и шутки, и шара-

ды, и лирика, и даже настоящее объяснение в любви, чем опытный мастер приводил в смущение своих молодых учениц...

...Трудные, еще неустроенные, полуголодные — для всех нас одинаково — 20-е годы! Но это не мешало нам всем быть счастливыми. Новые люди, новые отношения, стихи, стихи, свои и чужие, вечера в предоставленном новым правительством для искусства — Доме. А поздние прогулки по пустынной набережной реки Мойки! Здесь каждый камень, каждая плита под ногами, узор парапета, осенняя зелень деревьев, свисающих над водой, — все напоминало здесь Достоевского, Гоголя, Добужинского, Остроумову-Лебедеву! И рядом с тобой настоящий поэт и его чеканные стихи, которые он щедро дарит тебе в этот незабываемый вечер...»

Гумилев не сделал ни одного жеста против революции, ни единого поэтического слова не сказал ни о революции, ни о гражданской войне. Он не соглашался и не бунтовал. Он не желал вмешиваться в реальность, он как будто шел сквозь нее и она его не касалась...

Из дневника Лукницкого

18.02.1968

В 1921 г. Гумилев в Доме искусств читал лекции по теории поэзии начинающим стихотворцам. У меня имеется несколько листков записей, написанных столь бегло, карандашом, что разобрать их почти невозможно. Кем из студентов сделаны эти записи на предоставленных мне в 20-х годах этих листках, я не помню. Но на одном из этих листков я разобрал следующее объяснение той формы стихотворения, которая называется «пантумом»:

«...Повторения в стихах (плясового? — *П. Л.*) характера вначале. Позже повторы употребляются для оттенения одной мысли с разных сторон. Французские баллады, сложные секстины, рондо... Сл. с... (неразборчиво. — *П. Л.*) — ...рифмовать одно слово в... (?) видах. Секстины с переплетениями — стихотворение кончается первою строчкой; две темы (.......?) — 3, 5, 2—4—6. Знач. втор. стр.......1. Малайский пантум.

(Следует пример пантума, трудно разбираемое стихотворение. — *П. Л.*):

Какая смертная тоска
Нам приходить и ждать напрасно.
А если я попал в Чека?
Вы знаете, что я не красный!
Нам приходить и ждать напрасно,
Пожалуй, силы больше нет.
Вы знаете, что я не красный,
Но и не белый — я поэт!
Пожалуй, силы больше нет
Читать стихи, писать доклады.
Но и не белый я поэт.
Мы все политике не рады.
Писать стихи, читать доклады,
Рассматривать частицу «как» —
Путь к славе медленный, но верный:
Моя трибуна— Зодиак!
Высоко над земною скверной
Путь к славе медленный, но верный.
Но жизнь людская так легка! (Или: там легка? — *П. Л.*)
Высоко над земною скверной
Такая смертная тоска!

Это стихотворение, в котором знаки препинания (кроме тире) мною расставлены произвольно, — весьма характерно для настроений Гумилева в 1921 году.

Он, как я не раз слышал от знавших его людей, проповедовал ту «истину», что поэт должен стоять над политикой и не вмешиваться в нее...

Зимою Гумилев начал писать курс «Теории поэзии». Написал вступление и несколько страниц первой части курса — «Фонетики».

С. Маковский: «Когда зимой 1920 года жизнь стала невыносимой в квартире на Ивановской от холода, Николаю Степановичу удалось переехать в Дом искусств, бывший дом Елисеева, на углу Невского и Мойки, где судьба соединила писателей, литературных и художественных деятелей, многих из состава сотрудников «Аполлона». За время пребывания Гумилева на фронте репутация его, как писателя, значительно выросла; он не чувствовал себя, вернувшись в русский литературный мир, одиноким. Почти вся группировавшаяся вокруг него в «Аполлоне» талантливая молодежь осталась при новой власти привилегированным меньшинством. Многие не связанные политикой сотрудники «Аполлона» могли служить власти, не вызывая особых подозрений, в то время как большинство сотрудников других журналов примыкали так или иначе к политическим партиям. Большевикам нужны были люди европейски образованные. Этим объясняется, что в Доме

искусств оказалось немало аполлоновцев или примыкавших к ним художественных деятелей.

В 1921 году только малое меньшинство эмигрировало, рискуя жизнью (в первую очередь — Мережковские и Философов), не допускавшие никаких компромиссов с большевиками.

Гумилев менее всего думал куда-нибудь «бежать», он продолжал упорно свою поэтическую линию, борясь с символистами и всякими «декадентами», вроде Маяковского, Хлебникова и пр.»

В начале 1921 года на Рождество еще раз съездил на несколько дней в Бежецк к семье.

Вскоре Гумилева выбрали председателем Петроградского отделения Всероссийского Союза поэтов. После этого он сразу же поехал к Блоку.

Н. Павлович: «На следующих выборах Блока «за неспособность» забаллотировали, как председателя, и выбрали Гумилева. Отстаивать свое председательское место — ничего более чуждого Блоку и вообразить себе нельзя. Когда он ушел, с ним ушло большинство членов президиума; Рождественский, Лозинский. Бразды правления он передал Гумилеву не без чувства облегчения. Когда через некоторое время к нему явилась делегация союза во главе с Гумилевым (сколько я помню, в нее входили Георгий Иванов и Нельдихен), Блок наотрез отказался вернуться».

В ту зиму был создан 3-й «Цех Поэтов».

Из дневника Лукницкого

18.12.1924

Была (Ахматова. — *В. Л.*) на Пушкинском вечере. Николай Степанович пришел позже, был во фраке («что тогда было совершенно необычно — никто фраков не надевал») и там сказал АА, что «Цех Поэтов» опять существует. «Сказал в форме извещения, а не приглашения. Я тогда нигде не бывала!»

Чтобы заработать немного денег, Гумилев составлял, как и некоторые другие поэты — Ф. Сологуб,

М. Кузмин, М. Лозинский, Г. Иванов, рукописные сборники своих ненапечатанных стихотворений и продавал их в книжном магазине издательства «Петрополис». Составил несколько сборников: «Fantastica», «Китай», «Французские песни», «Персия», «Канцоны», «Стружки», тетрадь, состоявшую из двух стихотворений: «Заблудившийся трамвай» и «У цыган».

Сборники писал в одном экземпляре и иллюстрировал собственными рисунками.

Из дневника Лукницкого

22.12.1925

О. Мандельштам: «К рукописным книгам, которые Гумилев продавал в Доме искусств, принадлежат «Огненный столп» (с виньетками), „Персия“».

По инициативе Гумилева «Цехом Поэтов» был издан рукописный журнал «Новый Гиперборей» в пяти экземплярах. Стихи сопровождались рисунками авторов. После выпуска рукописного, «Цех Поэтов» издал в 23 экземплярах гектографированный журнал под тем же названием, также иллюстрированный. В нем участвовали: Гумилев — стихотворением «Перстень», О. Мандельштам, М. Лозинский, В. Ходасевич, И. Одоевцева, Г. Иванов, Н. Оцуп, В. Рождественский и А. Оношкович-Яцина. Журналы продавались в книжном магазине издательства «Петрополис».

В первой половине февраля Гумилев написал по поручению редакционной коллегии издательства «Всемирная литература» проект письма в иностранные газеты по поводу появившихся в заграничной печати нападок на издательство.

Гумилев, как председатель Петербургского Союза поэтов, принимал самое деятельное участие в работе союза, стремился к улучшению правового и материального положения его членов, добывал для них от распределяющих органов продовольствие, дрова, одежду, отстаивал их квартирные и имущественные права, давал членам союза командировки в провинцию и т. д. Вместе с тем старался использовать все скудные возможности, чтобы выявить художественные силы союза, устраивал литературные вечера, содействовал печатанию стихотворений.

В феврале в Доме искусств Гумилев провел вечер, посвященный творчеству Теофиля Готье. Прочел доклад о нем и свои переводы.

В начале марта сделал доклад «Современность в поэзии Пушкина», на 2 Пушкинском вечере, состоявшемся в Доме литераторов.

В марте организовал издание первого альманаха «Цеха Поэтов» — «Дракон».

В конце марта уехал в Бежецк; там провел вечер в двух отделениях. Сделал доклад о литературе и читал стихи, свои и членов «Цеха Поэтов».

20 апреля участвовал в открытии вечера стихов «Цеха Поэтов» в Доме искусств. Произнес вступительное слово о творчестве участников вечера и прочел стихотворения, в том числе «Звездный ужас» и «Молитву мастеров».

Ссылаясь на слова Гумилева, некоторые слушатели студии Дома искусств, и Ахматова тоже, говорили Лукницкому, что стихотворение Гумилева «Молитва мастеров» было вызвано яростными нападками со стороны К. И. Чуковского на вышедший из печати «Подорожник» Ахматовой.

Из дневника Лукницкого

14.11.1926

АА помнит такой случай (кстати, он подтверждает и то, что, несмотря на вражду с Блоком, Николай Степанович вел с ним иногда беседы, встречаясь во «Всемирной литературе»).

Весной 1921 года (в марте) АА пришла во «Всемирную литературу», чтобы получить членский билет Союза поэтов, который нужен был для представления не то управдому, не то куда-то в другое место. В. А. Сутугина[1] написала билет и пошла за Николаем Степановичем. Вернулась и сказала, что он занят, сейчас придет и просит его подождать. АА села на диван. Ждала 5—10 минут. Подошел Г. Иванов, подписал ей за секретаря. Через некоторое время открывается дверь кабинета А. Н. Тихонова, и АА видит — через комнату — Николая Степановича и Блока, оживленно о чем-то

[1] Вера Александровна Сутугина — секретарь издательства «Всемирная литература».

разговаривающих. Они идут вместе, останавливаются, продолжая разговаривать, потом опять идут. Блок расстается с Николаем Степановичем, и Николай Степанович входит в комнату, где его ждет АА, здоровается с ней и просит прощения за то, что заставил ее ждать, объясняя, что его задержал разговор с Блоком. АА отвечает ему: «Ничего... Я привыкла ждать!..» — «Меня?» — «Нет, в очередях». Николай Степанович подписал билет, холодно поцеловал ей руку и отошел в сторону.

Последняя поездка 18 мая в Бежецк. Приезжал на один день за женой и дочерью. Мать Гумилева рассказывала, что жена посылала «ужасные письма о том, что она повесится или отравится, если останется в Бежецке...».

Родные Гумилева рассказывали Лукницкому, что в этот приезд Николай Степанович был очень расстроенным. Эта встреча его с матерью, сыном и сестрой оказалась действительно последней.

Весной съездил с женой и дочерью в Парголово, чтобы поместить дочь Елену в детский дом, так как А. Н. Гумилева считала для себя обременительным уход за дочерью.

Заключил договоры на издание своих произведений с издательствами «Петрополис», «Мысль» и «Библиофил».

На очередном заседании редакционной коллегии издательства «Всемирная литература» Гумилев предложил возобновить лекции «Всемирной литературы». Заседание поручило Гумилеву представить программу лекций.

В конце мая Гумилев получил от В. А. Павлова приглашение совершить вместе с ним поездку в Севастополь.

Павлов взял на себя оформление всех необходимых документов, так как занимал ответственный официальный пост при командующем Черноморским флотом адмирале Немитце и, приехав в апреле в Петербург, жил в адмиральском вагоне на Николаевском (ныне Московском) вокзале. С Гумилевым его познакомили О. Мандельштам и Н. Оцуп; Павлов писал стихи, и на этом основании Гумилев, после знакомства, несколько

раз принимал его вместе с Мандельштамом и Оцупом. Кроме того, все они считали Павлова, имевшего возможность доставать спирт, полезным человеком...

Гумилев охотно принял приглашение. Конечно, он — странник по душе и по призванию — после трех «неподвижных» лет загорелся, увлекся предложением поездки. Ему казалось, новое странствие по местам молодости подарит ему новые силы.

Из дневника Лукницкого

12.12.1924

«Сказку о Золотой Свинке» Н. С. читал О. Мандельштаму в морском автомобиле Павлова, во дворе Смольного, куда Павлов завез, обещая достать спирт. «Спирта он, конечно, не достал, а мы (Гумилев и Мандельштам. — *В. Л.*), чтоб занять время, вот занялись „сказкой“». Читал на память.

В поезде командующего Гумилев отправился из Петрограда в Севастополь. Весь месяц прошел в поездке. В Севастополе жили в вагоне. Познакомился там с поэтом Сергеем Колбасьевым, служившим на флоте. Колбасьев предложил Гумилеву пройти на катере в Феодосию. Поездка заняла два дня; тогда Гумилев и встретился с Волошиным.

В Севастополе он сумел издать сборник стихов «Шатер» и даже привезти несколько готовых экземпляров в Петроград. Весь тираж доставил позже С. Колбасьев.

Из дневника Лукницкого

22.12.1924

О. Мандельштам: «В Севастополе, в военно-морской типографии, во время стоянки поезда, широким жестом главнокомандующего или же пронырливостью услужливого Павлова, было приказано в одну ночь напечатать книжку, и она была напечатана в 50 экземплярах...»

ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ «НИГЕР»

...А вокруг города, точно горсть виноградин,
Это — Бусса, и Гомба, и царь Тимбукту,

Самый звук этих слов мне, как солнце, отраден,
Точно бой барабанов, он будит мечту.

Видя девушек смуглых и гибких, как лозы,
Чье дыханье пьяней бальзамических смол,
И фонтаны в садах и кровавые розы,
Что венчают вождей поэтических школ...

Сердце Африки пенья полно и пыланья,
И я знаю, что если мы видим порой
Сны, которым найти не умеем названья,
Это ветер приносит их, Африка, твой!

ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ «САХАРА»

И быть может, немного осталось веков,
Как на мир наш, зеленый и старый,
Дико ринутся хищные стаи песков
Из пылающей юной Сахары.

Средиземное море засыпят они,
И Париж, и Москву, и Афины,
И мы будем в небесные верить огни,
На верблюдах своих бедуины.

И когда наконец корабли марсиан
У земного окажутся шара,
То увидят сплошной, золотой океан
И дадут ему имя: Сахара.

24.12.1924

И. Бунина[1]: «По дороге из Севастополя в Петроград Гумилев во время пребывания в Ростове-на-Дону (несколько часов) зашел в театр, где были артисты, и спросил, с кем бы мог поговорить. Ему ответили: «Мы все здесь». Гумилев: «Я автор пьесы „Гондла!"» Все повскакали, бросились к нему».

О том, что в Ростове-на-Дону шла «Гондла», Гумилев прочитал на афише у вокзала и, зная, что поезд простоит несколько часов, отправился в театр.

На обратном пути Гумилев на несколько дней остановился в Москве — был в Московском Союзе поэтов. Ночевал во Дворце искусств у А. Адалис[2], встречался с бывшим хозяином «Бродячей собаки» и «Привала

---

[1] И. Бунина — актриса Ростовского драматического театра.
[2] Аделина Ефимовна Адалис (Эфрон) (1900—1969) — поэтесса, переводчица.

комедиантов» Борисом Прониным, был у него вместе с Н. А. Бруни, О. Мочаловой, Ф. Сологубом. Читал там шуточную поэму о петербургских поэтах. На следующий день уехал в Петроград.

Вспоминает Г. Лугин[1]: «В июле приехал в Москву Гумилев. Гумилев читал свои стихи в «Кафе поэтов» и вышел из этого испытания с честью. Читал, как обычно, — чуть глуша голос, придавая ему особую торжественность. Скрестив руки, вернее, обхватив локти и чуть приподняв плечи, бросал он с эстрады свои строки. Стихи врезались в память, подчиняли себе, смиряли буйную вольницу презентистов, эгоцентристов, евфуистов и ничевоков, разбивших в этом кафе свое становье.

Толпившиеся на этом проходном дворе богемы литературные школяры, хоть и были отрицателями, но достигли определенного возраста и Гумилева слушали внимательно. Гумилев читал «Молитву мастеров»:

...Храни нас, Господи, от тех учеников,
Которые хотят, чтоб наш убогий гений
Кощунственно искал все новых откровений...

...Что создадим мы впредь, на это власть Господня,
Но что мы создали, то с нами по сегодня.

Прочтя «Молитву», Гумилев сухо отклонил приглашение послушать ничевоков и направился к выходу. Ему и его спутникам следовало подумать об ином — где ночевать?

Беседуя о слышанном, перебрасываясь словами, пробирались мы к выходу под необычный аккомпанемент. Кто-то неподалеку — должно быть, «про себя», но вслух — читал стихи Гумилева. Одно стихотворение сменялось другим. Набегавшие валы лирической пены казались декламационной фантасмагорией.

Стихи Гумилева читал не бледный юноша, не литературный денди, не истомленная ночными бдениями девушка. Стихами Гумилева опьянялся мужчина в кожаной куртке и в галифе казенного сукна. Крепко пришитая к плечам голова, крупные черты лица, обрамленного черной бородой, чуть кривоватые под тяжестью тела, мускулистые, в обмотках, ноги. Лицо библейского склада.

---

[1] Г. Лугин (псевд. Г. А. Левина). В 20-е годы эмигрировал в Ригу.

— Это что за Самсон? — вырвалось у Гумилева.

— Вас не удивляет, что я читаю ваши стихи? — спросил незнакомец.

— Нет, — церемонно ответил Гумилев.

— Мне запомнились все ваши стихи, — расплылся в улыбке незнакомец.

— Это меня радует. — И Гумилев, прощаясь, протянул незнакомцу руку.

Тот по-прежнему просто, пожимая протянутую руку, называет себя:

— А я Блюмкин [1]...

Стаяла чуть торжественная напыщенность Гумилева. По-юношески непосредственно вырвалось:

— Вы — тот самый?

— Да, тот самый.

И снова рукопожатия и слова Гумилева, чуть напыщенные и церемонные:

— Я рад, когда мои стихи читают воины и сильные люди».

Ночевать предстояло у Бориса Пронина. Путь лежал по бесчисленным московским переулкам — кривоколенным, с тупичками, выгибами, площадками. Гумилеву был чужд этот «город вязевый». Он не понимал его, не любил. Всю дорогу Гумилев говорил о Блюмкине, вспоминая и других своих читателей — «сильных, злых и смелых» воинов и охотников, любивших его стихи. «Это все потому, что я не оскорбляю их неврастенией и не унижаю душевной теплотой».

Человек, среди толпы народа
Застреливший императорского посла,
Подошел пожать мне руку,
Поблагодарить за мои стихи...

Эти строки — о той московской ночи, о встрече двух будущих смертников».

Из дневника Лукницкого

11.11.1925

...Николай Степанович последние годы все хуже относился к АА. Чем хуже становились дела с А. Н., тем хуже к АА — считая ее виновницей...

[1] Яков Григорьевич Блюмкин (1898—1929) — крупный чекист, начальник личной охраны Троцкого. 6 июля 1918 года убил германского посла Мирбаха. Расстрелян в 1929 году.

АА рассказывает, что Н. С. был у нее в последний раз в 21 году, приблизительно за 2 дня до вечера «Петрополиса». АА жила тогда на Сергиевской (ныне ул. Чайковского), во 2-м этаже. АА сидит у окна и вдруг слышит голос: «Аня!» (Когда к АА приходили, всегда звали ее со двора, иначе к ней не попасть было, потому что АА должна была, чтоб открыть дверь, пройти внутренним ходом в 3-й этаж и пропустить посетителя через квартиру 3-го этажа). АА очень удивилась, она знала, что Шилейко в Царском Селе, а больше кто ее мог так звать? Никто. Взглянула в окно — увидела Н. С. и Г. Иванова. Впустила их к себе. Н. С. (это была первая встреча с АА после приезда Н. С. из Крыма) рассказал АА о встрече в Крыму с матерью и сестрой АА, сообщил о смерти брата — А. А. Горенко, звал на вечер в доме Мурузи. АА отказалась, сказала, что она вообще не хочет выступать, потому что у нее после известия о смерти брата совсем не такое настроение. Что в вечере «Петрополиса» она будет участвовать только потому, что обещала это, а зачем ей идти в дом Мурузи, где люди веселиться будут и где ее никто не ждет... Н. С. был очень сух и холоден с АА... Упрекал ее, что она нигде не хочет выступать... А АА обиделась на него, что он с Жорой пришел. Потом АА уже после сообразила, что он, может быть, пришел не один, а с Г. Ивановым, потому что он не знал об отсутствии Шилейко.

АА говорила Н. С. о Гржебине, жаловалась на него. (АА тогда судилась с Гржебиным.) Н. С. ответил про Гржебина: «Он прав». Даже Г. Иванов заступился тогда за АА, сказав: «Он не прав уже потому, что он Гржебин...» О Гржебине говорили уже прощаясь. АА повела Н. С. и Г. Иванова не через 3-й этаж, а к темной (потайной — прежде) винтовой лестнице, по которой можно было прямо из квартиры выйти на улицу. Лестница была совсем темная, и когда Николай Степанович стал спускаться по ней, АА сказала: «По такой лестнице только на казнь ходить...»

Г. Иванов в эту встречу очень льстил АА. АА: «Он вообще очень фальшивый человек, вы знаете...»

Позже АА узнала, что говорил Н. С. в Крыму Инне Эразмовне.

«Маме он так рассказал, там, в Крыму, что я вышла замуж за замечательного ученого и такого же замечательного человека и вообще все чудно»...

АА не отрицает, что была несправедлива иногда в разговоре с Н. С., не была в «примирительном» настроении к нему, огрызалась на него и т. д.

АА вспоминала опять приход Н. С. с Г. Ивановым к ней перед вечером «Петрополиса». Подробности этого у меня уже записаны раньше. АА добавила только, что она была очень тогда расстроена смертью брата и что она совершенно не понимает, как мог Н. С. усиленно звать ее пойти с ним в дом Мурузи — в веселое место и обижаться, что она отказалась. Должен же он был понять, что, получив такую печальную весть, веселиться не ходят. АА добавляет: что, конечно, разговор велся бы в иной форме, если б не присутствовал Г. Иванов. Присутствие Г. Иванова и очень стесняло разговор, и очень раздражало АА.

А на вечер «Петрополиса» 11 июля АА пришла, но Н. С. ушел оттуда до ее прихода. Она помнит, что к ней подошла группа девочек — учениц Гумилева (кто именно, АА не помнит — может быть, среди них были и Наппельбаумы). Девочки сказали ей, что Гумилев обещал их познакомить с ней сегодня, но вот его нет, и поэтому они решили сами познакомиться.

АА шутила по поводу «девушек», удивлявшихся в 1921 году воспитанности Н. С. «Они никогда не видели вежливых людей! И до сих пор они удивляются Лозинскому: им странной кажется его воспитанность. Они недоумевают: что он, нарочно такой? Неужели нарочно так держится?!»

АА думает, что Н. С., так ясно чувствуя враждебное отношение к себе блоковской компании, вероятно, подсознательно относил к этой компании и АА. В действительности, конечно, этого не было, АА не была ни в каких «компаниях» вообще, держалась очень обособленно от всех и вела очень замкнутый образ жизни.

Ко всем этим разговорам нужно поставить в примечании то, что Николай Степанович боялся АА — всегда как-то боялся ее...

22.12.1924

АА: «Волошин рассказывает, что он встретился в Крыму с Николаем Степановичем и помирился. Оставим это под вопросительным знаком...

Оттуда вывез с собой, собственно, спас от смерти (какая-то перестрелка), инженера Микридина, он был в Цехе Поэтов...»

14.11.1925

Я у К. И. Чуковского. Переписывал... Он отрывался от своей работы, давал пояснения.

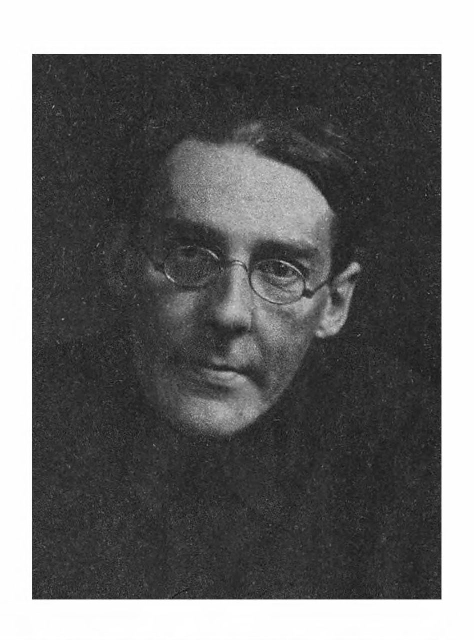
Рассказал такой случай: «Николай Степанович должен был редактировать собрание сочинений А. К. Толстого... Гумилев, большой поэт, был в то же время совершенно неспособен к прозе, в частности к какой бы то ни было историко-литературной работе. Я не знаю ни одного поэта, кроме, впрочем, Анны Ахматовой, который был бы более неспособен к такой работе. Когда собрание было им проредактировано, он дал его мне на просмотр...» Дальше Чуковский рассказал, как ужасно оно было отредактировано. Некоторые стихотворения были помечены датой немыслимой, потому что Толстой за два года до этих дат умер. Чуковский говорит, что все ошибки такие он исправил и при встрече сказал о них Николаю Степановичу... Тот сделал сердитое лицо и сказал: «Да... Я очень плохой прозаик... Но я в тысячу раз лучше вас пишу стихи!» Оба рассмеялись, а потом Николай Степанович благодарил Чуковского за «спасенье».

Я польстил Чуковскому, сказал, что его сообщения будут мне очень ценны, потому что самыми близкими Николаю Степановичу людьми в последние годы были Лозинский и он. Чуковский честно ответил: «Я нисколько не претендую на какую бы то ни было близость или дружбу с Николаем Степановичем... Нет... Это было бы совершенно неверно... Наши встречи были чисто «физические»... Мне очень много приходилось с ним встречаться и разговаривать, много ходили вместе. Но это и все...»

3.11.1925

Черновик Канцоны («Бывает в жизни человека...»), который я дал АА вчера, натолкнул ее на целую систему мыслей о Бодлере. Она снова стала «изыскивать» в Бодлере. И сегодня, положив на стол принесенную ею из Мр. дв. книгу «Les fleurs du mal» («Цветы зла». — *В. Л.*), стала мне рассказывать все свои соображения. А они такие: в последние годы Николай Степанович снова испытывает влияние Бодлера, но уже другое, гораздо более тонкое. Если в 7—8 годах его прельщали в стихах Бодлера экзотика, гиены и прочее, то теперь то, на что тогда он не обращал никакого внимания — более глубокие мысли и образы Бодлера.

В. К. Шилейко.
Фото конца 20-х годов.



шестую / одиннадцатую
Первую, и ~~[illegible]~~ таблицы слѣдуетъ дополнить по моему подлиннику, 2, 5, 7, 10 и 12 таблицы — передѣлать по моему подлиннику.

В. Шилейко

Автограф В. К. Шилейко.

Каждый изъ этихъ отдѣловъ незамѣтно переходитъ въ другой
а эйдологія непосредственно примыкаетъ къ поэтической
психологіи. Разграничительныхъ линій провести нельзя, да
и не надо. Въ дѣйствительно великихъ произведеніяхъ поэзіи
всѣмъ четыремъ частямъ удѣлено равное вниманье, они вза-
имно дополняютъ одна другую. Таковы поэмы Гомера,
такова Божественная Комедія. Крупныя поэтическія напра-
вленія обыкновенно устремляютъ особое вниманіе на два какіе
будь отдѣла объединяя ихъ между собой и оставляя въ
тѣни два другихъ. Меньшія воздѣлываютъ лишь одинъ отдѣлъ
иногда даже одинъ какой нибудь пріемъ входящій въ его
составъ. Ниже я привожу чертежъ показывающій устрем-
ленія этихъ теченій. Укажу, кстати, что возникшій въ послѣд-
ніе годы акмеизмъ выставляетъ основнымъ требованіемъ
равномѣрное вниманье ко всѣмъ четыремъ отдѣламъ.
Этого же требованія придерживаются и французскіе
поэты, составившіе распавшуюся нынѣ группу Abbaye.

Фонетика
Стилистика
Композиція
Эйдологія
символизмъ
романтизмъ
греческая поэзія
европейскій классицизмъ
парнасская шк.
стилизація

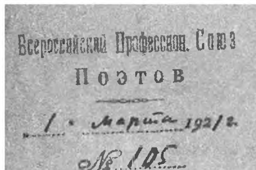
§ V Попробуемъ произвести опытъ такого четвернаго разбора
на матеріалѣ взятомъ изъ области конденсированной
поэзіи, которой является богослуженье. Діонисій Ареопагитъ
разсказываетъ, что ангелы, славословя Бога, восклицаютъ,
аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Василій Великій объяс-
няетъ, что это на человѣческомъ языкѣ означаетъ: Слава
тебѣ, Боже. Наши старообрядцы поютъ: Аллилуйя,

Автограф Н. С. Гумилева,
иллюстрирующий метод его работы в студиях.

Автограф Н. С. Гумилева
(фрагменты чернового варианта стихотворения «Цыганский табор»).

Автограф надписи, сделанной Н. С. Гумилевым Н. А. Шишкиной на титульном листе книги «Шатер».

Автограф надписи на корректуре книги «Жемчуга», сделанной Н. С. Гумилевым Н. А. Шишкиной.



Всероссийский Професснон. Союз
Поэтов
1 марта 1921 г.
№ 105
г. Петроград.

Петроград, I Марта 192

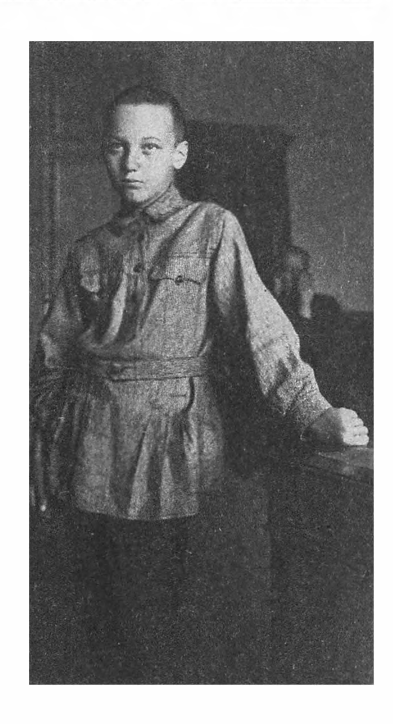
УДОСТОВЕРЕНИЕ.

Настоящим удостоверяется, что Председ тель Петроградского Отделения Всероссий ского Союза Поэтов Н. С. ГУМИЛЕВ команди руется Союзом в г. Бежецк, для чтения ле ций.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ М. Лозинский

Секретарь Георг. Иванов

Фото удостоверения, выданного Н. С. Гумилеву. Подписи М. Л. Лозинского и Георгия Иванова.



Фотография Л. Н. Гумилева, сделанная П. Н. Лукницким в 1926 году.



Российская Коммунистическ

Пролетари

ПЕТРОГРАДСКАЯ

ПРАВДА

Орган Петрогр. Губерн. [illegible] 13-й год изд.

Реда
Прием

№ 181. Четверг.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА

28) Перинкова. Ал-дра. Модестовна, 24 л., дочь жандарма, учительница, беспартийная, участница П. Б. О., переписывала на машинке сведения и прокламации организации а разносила письма по поручению членов организации; сознательно предоставляла свою квартиру для членов организации.

29) Гимельфабр, Семен Григорьевич, 47 л., б. владелец Павильон-де-пари, беспартийный, зав. хоз. цементного завода; участник П. Б..О., дал согласие на снабжение оружием курьеру финской разведки и члену организации Толь; вербовал членов организации; изыскивал денежные средства для организации.

30) Гумилев, Николай Степанович, 33 л., б. дворянин, филолог, поэт, член коллегии „Из-во Всемирной Литературы", беспартийный, б. офицер. Участник П. Б. О., активно содействовал составлению прокламаций к.-револ. содержания, обещал связать с организацией в момент восстания группу инте лигентов, которая активно примет участие в восстании, получал от организации деньги на технические надобности.

31) Ястребов, Николай Иванович, 32 г., кр-н Воронежской губ., член коллегии Мурманского Железкома, член правления Петрогр., центр. раб. кооператива, член С. Д. Р. П. с 1905 г. до начала 18 г. Имел сношения с главой П. Б. О. Таганцевым на предмет знакомства его, как предста-

ДОМ ИСКУССТВ

ПРИ НАРКОМПРОСЕ

Угол Мойки и Невского (вход с Мойки, д. 59).

В Понедельник, 29 Декабря с. г.,

СОСТОИТСЯ

ВЕЧЕР

ПЕТРОГРАДСКИХ ПОЭТОВ

УЧАСТВУЮТ: **А. Блок, Н. Гумилев, Зоргенфрей, Г. Иванов, М. Кузмин, Н. Оцуп, В. Пяст, В. Рождественский** и др.

Начало в 8 час. вечера.

ПОМЕЩЕНИЕ ОТАПЛИВАЕТСЯ.

Билеты по **80, 60 и 40** руб. продаются в **Доме Искусств** и в помещении **Издательства Всемирной Литературы** (Моховая ул., д. 36).

В ближайшие Понедельники в 6 ч. в. в **Доме Искусств** состоятся следующие лекции и вечера: 5-го Января—лекция **М. Горького о ТОЛСТОМ**, 12-го Января—лекция **К. Чуковского о НЕКРАСОВЕ**, 19-го Января—лекция **Андрея Белого о ПОЭТИКЕ**, 26-го Января—вечер **памяти Леонида Андреева.**

Билеты и все справки там же.

Отдел Реклам. №4847.

Афиша вечера петроградских поэтов в Доме искусств.

←

Газета «Петроградская правда», в которой сообщалось о расстреле Н. С. Гумилева.

Девятнадцатый век.

Трагикомедiей названьем человек
Был девятнадцатый смешной и страшный век

Век страшный потому что в полном цвете силы
Смотрел он на небо как смотрят в глубь могилы
И потому смешон что думал он найти
В непостижимые дремучие пути.
Век героических надежд и совершенiй

На далекой звезде Венере
Солнце пламенней и золотистей
На Венере, ах, на Венере
У деревьев синие листья
Всюду вольные звонкие воды
Реки гейзеры водопады
Распевают в полдень песнь свободы
Ночью пламенеют как лампады

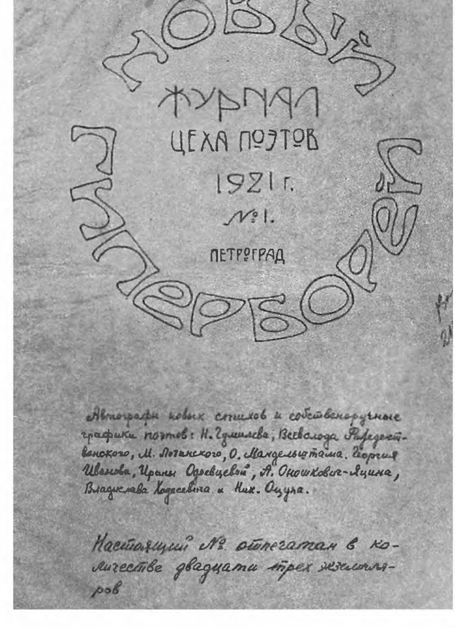
На Венере, ах, на Венере
Нету слов обидных или властных
Говорят ангелы на Венере
Языком из одних только гласных

Если скажут еа и аи
Это радостное обещанье
Уо ао о древнем рае
Золотое воспоминанье

На Венере ах на Венере
Нету смерти терпкой и душной
Если умирают на Венере
превращаются в пар воздушный
И блуждают золотые дымы
В синих, синих вечерних кущах
Иль как радостные пилигримы
навещают еще живущих.

Автограф Н. С. Гумилева.

Автограф стихотворения Н. Гумилева «На далекой звезде Венере» (1921 г.).



Обложка журнала «Новый Гиперборей», основанного Н. С. Гумилевым в 1921 году.

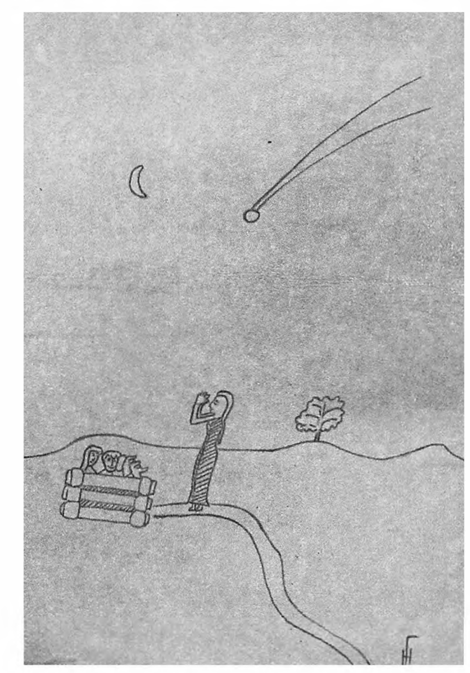


Рисунок Н. С. Гумилева в «Новом Гиперборее».

ДРАКОН

АЛЬМАНАХ
СТИХОВ

I-ый ВЫПУСК

ПЕТЕРБУРГ
1921

Обложка альманаха 3-го «Цеха Поэтов» «Дракон», основанного Н. С. Гумилевым в 1921 году.

Членский билет Вс. А. Рождественского, подписанный Н. С. Гумилевым.



Профессіональный Союзъ

ДѢЯТЕЛЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Членъ Союза Рождественский Всеволод Александрович

Председатель Совѣта П. С. Д. Х. Л. Н. Гумилев

Секретарь

1919 г. марта 3 дня. №

ПЕТРОГРАДЪ.



Афиша постановки «Гондлы» в Петрограде.

Титульный лист посмертного издания книги Н. С. Гумилева «Огненный столп» с пометками П. Н. Лукницкого, сделанными в 1925 году.

Чёрная книжка

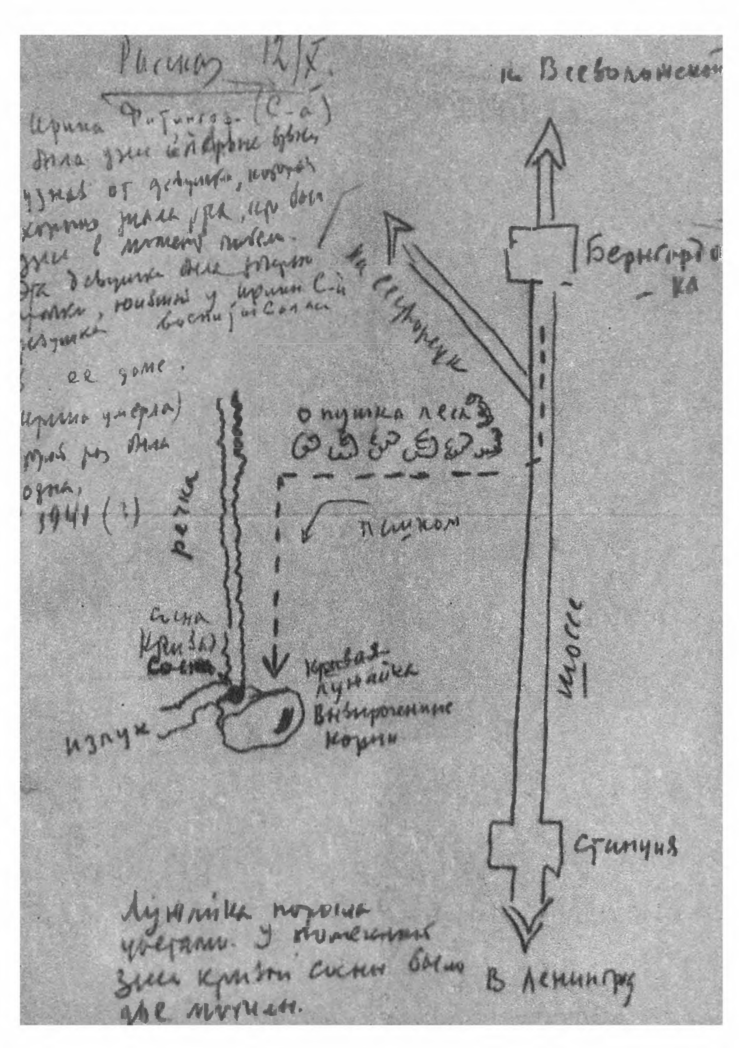
Тема о смерти — узел (смерть-любовь) совершенно развязан

Но это не то отношение к женщине, какое в „Чужом небе", но хотя оно кажется близким ему, на 1й взгл

ОГНЕННЫЙ СТОЛП



Обложка посмертного издания книги Н. Гумилева «Шатер» в Таллинне.



План места, где был расстрелян Н. С. Гумилев.
Записан П. Н. Лукницким по рассказам А. А. Ахматовой.

Автограф
П. Н. Лукницкого
о посещении
А. А. Ахматовой
места гибели
Н. С. Гумилева.
Записано
со слов Ахматовой
в конце 50-х годов.

Н. ГУМИЛЕВ

Павлу Николаевичу
Лукницкому
который заслужил

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

эту книгу

В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

своим великим

Под редакцией проф. Г. П. Струве
и Б. А. Филиппова

трудом

ТОМ ПЕРВЫЙ

Ахматова

Стихи 1903—1915 гг.

Путь конквистадоров — Романтические цветы — Жемчуга —
Чужое небо — Колчан

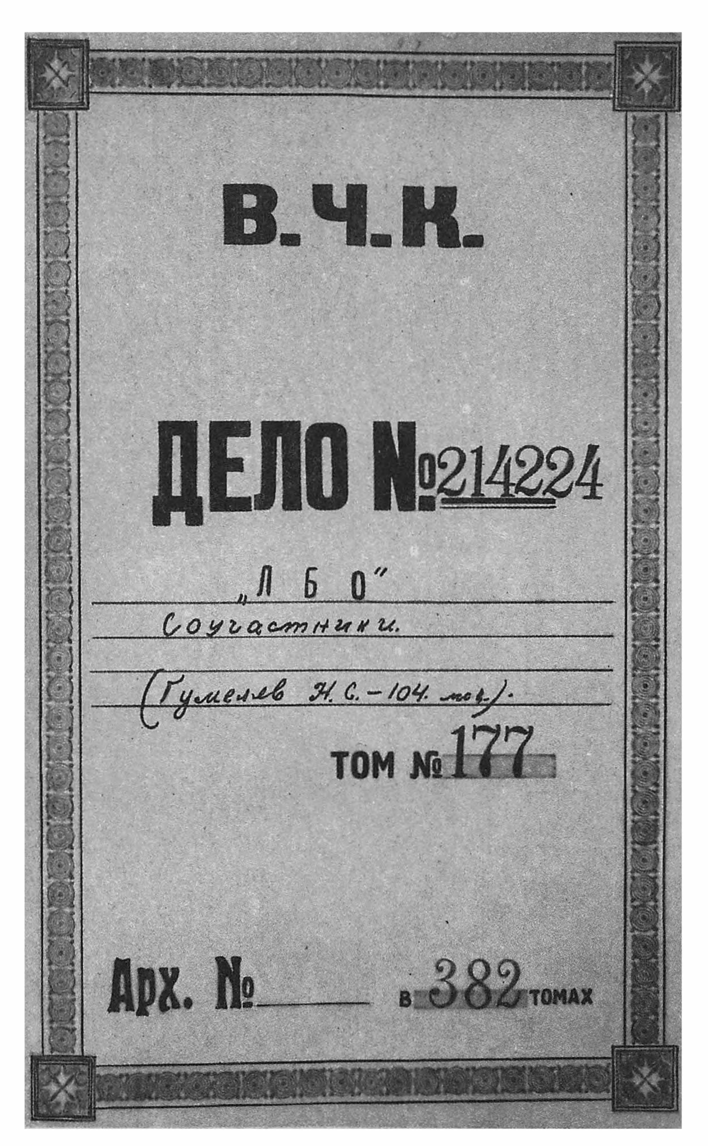
5 июня
1963
Москва

Издательство книжного магазина Victor Kamkin, Inc.
Вашингтон
1962

Титульный лист
1-го тома
четырехтомного
собрания сочинений
Н. С. Гумилева,
изданного в США
и подаренного
П. Н. Лукницкому
А. А. Ахматовой.



Предполагаемое место погребения Н. С. Гумилева
в Бернгардовке, под Ленинградом.
Фото С. П. Лукницкого.



В.Ч.К.

ДЕЛО №214224

„ЛБО"

Соучастники.

(Гумелев Н. С. – 104. лов.).

ТОМ №177

Арх. №______ в 382 томах

Обложка «Дела» Н. С. Гумилева.

То, что у Бодлера дается как сравнение, как образ, у Николая Степановича выплывает часто как данность... Это именно и есть влияние поэтическое, а не «эпигонское слизывание»...

По-видимому, в последние годы Н. С. читал Бодлера, как АА читает его сейчас...

11.11.1925

...АА просила дать ей «Огненный столп». Разговор о стихах Н. С. и о влиянии Бодлера на стихи из «Огненного столпа». Я прочитал ей первый вариант «Леопарда», АА заметила, что Н. С. хорошо сделал, сократив это стихотворение, что в сокращенном виде оно страшнее, потому что нет ненужных отвлечений, и подробностей, вроде:

Раб бежавший возвратился,
И поправился твой мул...

Я дал АА листок с названиями ненаписанных (или пропавших) стихотворений Н. С., все его списки и планы периода «Огненного столпа». АА долго их штудировала, сопоставляла, устанавливала последовательность написания стихотворений, чтобы уловить момент максимального — во времени — сближения Н. С. с Бодлером. Ей это удалось. «Канцона» и «Заблудившийся трамвай» стоят рядом всюду. По-видимому, это есть разыскиваемая точка. Ее порадовала эта находка...

АА сидела в кресле, подложив под себя ногу, так, что носок туфли едва виднелся...

Мысль ее работала быстро, с каким-то внутренним энтузиазмом... Она просила меня дать ей то одно, то другое, так, что я не успевал и путался в материалах по Н. С. Не прерывая разговора и отказавшись от второй чашки чая, АА встала, подошла к печке и прислонилась к ней спиной, выпрямившись во весь рост. На ярко-белом, блестящем белизною фоне — еще стройнее, еще изящнее казалась ее фигура в черном шелковом новом платье... Руки, за спиной, она приложила к жарко натопленной печке. Чувствовалось, что АА радуется теплу, так непривычному для нее...

...Села опять к столу, разбирала опять материалы... Подчеркнула некоторые строчки в моем экземпляре «Огненного столпа».

Это те, в которых сказывается влияние Бодлера. Много говорила о «Заблудившемся трамвае». АА не

считает его лучшим, вообще не причисляет его к лучшим стихотворениям Н. С. Считает его попыткой, вполне оправданной и понятной, но не удавшейся. И конечно, оно биографическое. Больше даже, чем все другие...

«Через Неву, через Нил и Сену...» — все три названия рек выбраны из знакомых ему, из его жизни.

Про строфу «В красной рубашке...» и т. д. АА вскользь говорит: «Вот здесь смерть... А здесь — уже слабое воспоминание» — и АА указала на следующую строфу: «Голос и тело...». Строку «Только оттуда бьющий свет...» АА подчеркнула, упомянув, что есть то же самое у Блока. Отчеркнула слева: «И сразу ветер...».

АА: «Это смерть».

И, перелистав несколько страниц, заметила, что у Н. С. не однажды в «Огненном столпе» смерть является в виде ветра. «И повеет с неба ветер странный». И там — как и здесь — рядом: «Зоологический сад планет», там — «Это Млечный Путь расцвел нежданно садом ослепительных планет...»

...И, читая последнюю строфу, АА сказала: «И этот трудный голос свидетельствует о болезни сердца, о сдавленности дыхания человека, сжатого жизнью, каким был Н. С. в последние годы».

Я спросил АА: какое же стихотворение Н. С., по ее мнению, лучшее в «Огненном столпе»? АА ответила, что очень любит третье стихотворение «Души и тела» — стихотворение «подлинно высокое»... И заметила о том, как характерно для Н. С. последних лет это разделение души и тела... Тело, которое предается земной любви, тело с горячей кровью, — и враждующая с телом душа.

Заговорила о Бодлере... Обратила мое внимание на то, что Н. С. не перевел ни одного из экзотических стихотворений Бодлера, что доказывает, что экзотика Бодлера в эти годы не трогала Н. С.

Я говорю АА, что ей не следует ограничиваться такими изысканиями — только для себя. Что она должна, во всяком случае, написать хоть конспект статьи, если не самую статью. «Не ограничивайтесь одним сравнением схожих мест у Бодлера и у Н. С.»

АА на это возразила: «Я не для того и делаю это. Это было бы слишком неинтересно. Такое сравнение каждый может в течение двух часов сделать!..»

27.11.1925

АА стала мне показывать новые свои изыскания по Н. С. — читала и дала мне читать, переводила и срав-

нивала со стихами Николая Степановича — Ронсара. Доводы ее были убедительны, и я не мог не согласиться с ней. Поговорив таким образом (а больше всего общего с Ронсаром — в сборнике «К Синей звезде»), АА перешла к Бодлеру, опять... Сказала, что вся ее работа по Бодлеру уже приведена в систему сейчас, сделан план статьи с точным распределением, куда какой материал относится, со всеми обозначениями и т. д. «А будете писать статью?» АА заговорила о трудностях, о том, что наиболее ее интересующего выразить ей не удастся (о том, как Н. С. в те же переживания, что и у Бодлера, вводит свою фабулу), о том, что у нее нет опыта, а такая статья требует большого опыта... и т. д.

Говорила о «поэтической кухне» Н. С.: «Он всегда говорил: кухня, кухня. А я как дура повторяла: кухня, кухня. Теперь только я вижу, что такое кухня. У меня никакой кухни никогда не было».

6.12.1925

...Я заговорил о том, как хорошо было бы, если б биографию Н. С. писал не я, а АА. На это она мне ответила, что она даст себе другое задание — написать 2—3 статьи (об Анненском одну, другую о Бодлере, третью — обо всех остальных поэтах, влиявших на Гумилева), и что, если бы ей это удалось, она была бы вполне удовлетворена. «А писать о том, какие у него были романы, — пошутила АА, — подумайте, как это мне, по меньшей мере, неудобно...»

После сборника «Огненный столп» Гумилев составил план книги новых стихов «Посередине странствия земного». Стихи не сохранились. В бумагах поэта есть листок, озаглавленный: «Планы стихов», со следующим списком: 1) Девятнадцатый век, 2) Голубой зверь, 3) Эльга (зачеркнуто и сверху написано: «Леопард». Тоже зачеркнуто и сверху: «Верена» (аэроплан), 4) Наказ художнику, иллюстрирующему Апокалипсис, 5) Как летают поэты (Пегас, Гриф, Орел и пр.), 6) Ангел Хаиль, 7) Улица кабатчиков (зачеркнуто и сверху написано: «Религия деревьев»), 8) Земля — наследье кротких, 9) Знаки зодиака (зачеркнуто и сверху написано и потом также зачеркнуто: «Читатель»), 10) Обводный канал, 11) Вероника (развитие?) (зачеркнуто и сверху

написано: «Дом Бога» (человек), 12) Великий предок. Ниже, под чертой, другой список: 1) Венера, 2) Полеты, 3) Ред. дер. 4) Чит. (? зачеркнуто), 5) Д. Бога, 6) Вел. Предок, 7) Земля насл. кр. Еще ниже написано: «Статьи» — и следует список: 1) О коллективном творчестве, 2) Об акмеизме, 3) Медальоны, 4) О школах, 5) О переводах Гомера, 6) Нов. рен. (?). Внизу написано: «Новые стихи» — и следует список: 1) Перстень (сверху цифра 32), 2) Молитва мастеров (сверху цифра 18), 3) Леопард (сверху цифра 48), 4) Звездный ужас, 5) Птица.

В конце июля Гумилев председательствовал на общем собрании членов Союза поэтов. Собрание постановило передать руководство клубом поэтов — «Цеху Поэтов». В это время в Петроград приехал режиссер Ростовского театра С. М. Горелик и пришел к Гумилеву за помощью. Он хотел перевести свою ростовскую труппу артистов в Петроград. Гумилев взял на себя все хлопоты по этому делу. Написал официальное письмо в театральный отдел о полезности создания в Петрограде театра, который бы осуществлял постановки пьес современных русских авторов, работал бы с ними в тесном контакте, и предложил театральному отделу перевести в Петроград труппу Государственного Ростово-Донского театра под названием «Театральная мастерская». Целую неделю потратил на Рабис и другие учреждения, наталкиваясь на целый ряд препятствий со стороны официальных лиц.

В течение 1921 года написано:

Зимой 1920/21 года написано стихотворение «Перстень». Н. Гумилев читал его в Доме искусств.

В 1920—1921 году задумал написать курс «Теория поэзии». Написаны вступление к курсу и несколько страниц первой части курса («Фонетика»).

В 1920—1921 году делает заметки для составления раздела курса — «Драматургия».

12 февраля на заседании семинара студии Дома искусств написано коллективное стихотворение (пантум) «Какая смертная тоска...». (Одну линию пантума вел Н. Гумилев, другую — студенты).

В начале 1921 года составляет, как и некоторые другие поэты — Ф. Сологуб, М. Кузмин, М. Лозинский, Г. Иванов, рукописные сборники своих ненапечатанных стихотворений для продажи их в книжном магазине издательства «Петрополис». Составил следующие сборники: 1) «Fantastica», 2) «Китай», 3) «Французские песни», 4) «Персия», 5) «Канцоны», 6) «Стружки», 7) Тетрадь, состоявшая из двух стихотворений: «Заблудившийся трамвай» и «У цыган»,

Сборники иллюстрировались собственными рисунками Н. Гумилева.

Примечание. В составе сборника «Fantastica» было стихотворение «Ольга» («Эльга, Эльга!..»). Сборник написан в одном экземпляре. Сборник «Персия» написан 14 февраля: состоял из стихотворений: «Персидская миниатюра», «Пьяный дервиш», «Подражание персидскому» и четырех рисунков.

В апреле пишет стихотворение «Молитва мастеров».

В начале июля «Мои читатели».

В конце июля написано стихотворение «На далекой звезде Венере...».

1—2 августа (?) — стихотворение «Я сам над собой насмеялся...».

Напечатано:

По инициативе Н. Г. «Цехом Поэтов» издан в пяти экземплярах рукописный журнал «Новый Гиперборей», со стихами Н. Гумилева, М. Лозинского, Г. Иванова и др. Стихи сопровождались собственноручными рисунками авторов. После выпуска рукописного «Цех Поэтов» издал в 23 экземплярах гектографированный журнал под тем же названием (в следующем составе участников: Н. Гумилев (стихотворение «Перстень»), О. Мандельштам, М. Лозинский, В. Ходасевич, И. Одоевцева, Г. Иванов, Н. Оцуп, Вс. Рождественский и А. Оношкович-Яцина) и так же иллюстрированный. Журналы продавались в книжном магазине издательства «Петрополис».

В марте вышел из печати тиражом в 5000 экземпляров первый альманах «Цеха Поэтов» «Дракон». Издание альманаха было организовано Гумилевым. Гумилев поместил в альманахе «Поэму начала», стихотворения «Слово» и «Лес» и статью «Анатомия стихотворения».

Напечатаны ответы Н. Гумилева на предложенную К. Чуковским анкету о Некрасове («Летопись Дома литераторов». Вып. III).

Стихотворение «Заблудившийся трамвай» (жур. «Дом искусств»).

Канцона «И совсем не в мире мы...» и стихотворение «Молитва мастеров» (Вестник литературы, вып. IV—V).

Стихотворения: «Перстень», «Дева-птица», «На далекой звезде Венере...», «Я сам над собой насмеялся...», поэма «Звездный ужас» (Альманах «Цеха Поэтов», кн. 2-я, Пг.).

Вышел сборник стихов «Шатер» под маркой «Цеха Поэтов» (Севастополь).

О Гумилеве:

А. Свентицкий. Стихомания наших дней. Рецензия на альманах «Дракон» (Вестник литературы, № 6—7).

Edo (Голлербах). Путеводитель по Африке. Рецензия на сборник «Шатер». (жур. «Жизнь искусства», № 806).

Б. Эйхенбаум. Миг сознания (Книжный угол, 1921, № 7). Упоминание об Н. Гумилеве и цитаты.

А. Свентицкий: Болезнь русской поэзии. Рецензия на «Альманах Цеха Поэтов» (Вестник литературы, № 11). Упоминание о влиянии Гумилева на Адамовича.

В. Брюсов. Рецензия на «Альманах „Цех Поэтов"» (Печать и революция, кн. 3). Упоминание об Н. Г.

Г. Иванов. О поэзии Н. Гумилева. Статья (Летопись Дома литераторов, № 1).

Е. Голлербах. Рецензия на «Огненный столп» (Вестник литературы, № 10).

А. Адамович. Рецензия на «Шатер» (Альманах «Цеха Поэтов»),

А дальше было начало августа 1921 года.

Из дневника Лукницкого

22.12.1924

...Дом искусств. Вернулись с А. Н. с вечера. Стлали постель. Николай Степанович уже постелил А. Н. и стлал свою. Хотел почитать Жуковского...

Приход с Гомером.

Гомера отобрали.

Письма: Анне Николаевне — две открытки, Вольфсону — одна открытка, которую он обнаружил после. Слухи о переводе в Москву (думали в Союзе). Хлопоты Союза. Волынский: «Мне лицо его не понравилось». Оцуп: «Освободят в воскресенье». Горький — сидел запершись и никого не принимал. А. Н. говорит, что Садофьев хлопотал.

21.10.1972

У меня сохранился листок, бегло исписанный карандашом, записки рассказанного мне Анной Николаевной Энгельгардт. Это все из записи ее воспоминаний, пропавших вместе с записями воспоминаний близких и друзей, примерно полусотня тетрадок в четверку стандартного листа бумаги. Сохранившийся листок — черновик переписанной тогда же записи, точнее, части этой записи, сделанной со слов А. Н. Энгельгардт (помнится — в 1925 году). (А. Н., очевидно, ошибается в дате.— *В. Л.*).

Вот эта запись:

«6 августа н. стиля — 25 июля по ст. стилю — в день Анны. В этот день он читал лекцию в Доме искусств, а с ними играл в разные игры. Накануне он ночевал у Оцупа...

...Леночку...

Встала в 10 часов утра. Я должна была уехать за город к дочери. Я сказала, что приеду только в 11—12 ночи. Я оставила ему записку, уезжая. Когда я приехала, в 11 часов вечера я была дома, мы сидели и думали: стоит нам кипятить чай или нет. Чая не пили. Он стал ложиться, попросил Жуковского... (Перед тем он принес от Ефима (служителя в Доме искусств.— *В. Л.*) две бутылки лимонаду.)»

И. Наппельбаум: «Я бывала в большой, полутемной, холодной комнате в Доме искусств, где поселился Николай Степанович. Большей частью он сидел в своей длинной, но уже потрепанной дохе. А вот на занятия студии, несмотря на холод в здании, он всегда появлялся в костюме, в сорочке с жестким воротничком и маленькими отворотами.

К тому времени уже приехала (кажется, из Бежецка) его вторая жена Анна Николаевна Энгельгардт. Молоденькая, тоненькая, с узким личиком, хихикающая красотка. Птичка. Очень беспомощная, ребячливая. Где была их маленькая дочь — Лена, не помню. Возможно, у родителей Анны Николаевны.

Николай Степанович был небрежным мужем. Он не очень-то стремился, чтоб его семья находилась поблизости. Помню, в этот период писателям выдали ордера на получение со склада чего-нибудь из одежды. И большим событием оказалось, что Николай Степанович взял на складе шерстяной материал на платье для жены. Об этом говорилось как о большом, непривычно-широком его жесте.

Когда Николая Степановича не стало среди нас, мы все, как могли, заботились об его жене. Она стала часто приходить ко мне домой. Однажды она сказала: «Знаете, Николаю Степановичу разрешили принести передачу. Но я не могу пойти. Это может плохо отразиться на мне. А вот вы, это другое дело, вам можно носить ему передачу!..»

Г. Иванов: «Вернулся Гумилев (из Крыма. — *В. Л.*) в Петербург загорелый, отдохнувший, полный планов и надежд. Он был доволен и поездкой, и новыми стихами, и работой с учениками-студистами. Ощущение полноты жизни, расцвета, зрелости, удачи, которое испытывал в последние дни своей жизни Гумилев, сказалось между прочим в заглавии, которое он тогда придумал для своей «будущей» книги: «Посередине странствия земного». «Странствовать» на земле, вернее, ждать расстрела в камере на Шпалерной, ему оставался неполный месяц...

Гумилев в день ареста вернулся домой около двух часов ночи. Он провел этот последний вечер в кружке преданно влюбленной в него молодежи. После лекции Гумилева было, как всегда, чтение новых стихов и разбор их по всем правилам акмеизма — обязательно «с

придаточным предложением», т. е. с мотивировкой мнения: «Нравится или не нравится, потому что...», «Плохо, оттого что...» Во время лекции и обсуждения стихов царила строгая дисциплина, но когда занятия кончались, Гумилев переставал быть мэтром, становился добрым товарищем. Потом студисты рассказывали, что в этот вечер он был очень оживлен и хорошо настроен, потому так долго, позже обычного, и засиделся. Несколько барышень и молодых людей пошли Гумилева провожать. У подъезда Дома искусств на Мойке, где жил Гумилев, ждал автомобиль. Никто не обратил на это внимания — был нэп, автомобили перестали быть, как в недавние времена «военного коммунизма», одновременно и диковиной и страшилищем. У подъезда долго прощались, шутили, уславливались «на завтра». Люди, приехавшие в стоявшем у подъезда автомобиле с ордером Чека на обыск и арест, ждали Гумилева в его квартире.

Двадцать седьмого августа 1921 года, тридцати пяти лет от роду, в расцвете жизни и таланта, Гумилев был расстрелян. Ужасная, бессмысленная гибель? Нет — ужасная, но имеющая глубокий смысл. Лучшей смерти сам Гумилев не мог себе пожелать. Больше того, именно такую смерть, с предчувствием, близким к ясновидению, он себе предсказывал:

И умру я не на постели,
При нотариусе и враче».

В. Ходасевич: «В конце лета я стал собираться в деревню на отдых. В среду, 3 августа, мне предстояло уехать. Вечером накануне отъезда я пошел проститься кое с кем из соседей по Дому искусств. Уже часов в десять постучался к Гумилеву. Он был дома... Прощаясь, я попросил разрешения принести ему на следующий день кое-какие вещи на сохранение. Когда наутро, в условленный час, я с вещами подошел к дверям Гумилева, мне на стук никто не ответил. В столовой служитель Ефим сообщил мне, что ночью Гумилева арестовали и увели. Итак, я был последним, кто видел его на воле...»

Г. Иванов: «Однажды Гумилев прочел мне прокламацию, лично им написанную. Это было в Кронштадтские дни. Прокламация призывала рабочих поддержать восставших матросов, говорилось в ней что-то

о «Гришке Распутине» и «Гришке Зиновьеве». Написана она была довольно витиевато, но Гумилев находил, что это как раз язык, „доступный рабочим массам“...»

Далее Г. Иванов пишет, что прокламации эти пропали, Гумилев долго искал их дома...

Из записок П. Н. Лукницкого

...8/II 1968, днем мне на городскую квартиру звонил зам. Генерального прокурора М. П. Маляров (разговаривал с Верочкой, и она тут же по телефону сообщила мне на дачу), что переписка по делу Н. Гумилева находится у него, — он просит меня связаться с ним, позвонить ему по телефону Б9-68-42 завтра (9/II) до 11.30 или после 1 часа, — хочет повидаться...

...А 1-й заместитель Генерального прокурора СССР, после рассмотрения поданного мною заявления о посмертном восстановлении имени Гумилева и после изучения «дела» Н. Г., затребованного из архивов КГБ в прокуратуру, а также представленных мною материалов, сказал мне: «Мы убедились в том, что Гумилев влип в эту историю случайно... А поэт он — прекрасный... Его «дело» даже не проходит по делу Таганцевской Петроградской «боевой организации», а просто приложено к этому делу».

И показал мне тоненький скоросшиватель[1] и, в частности, письмо, ходатайствующее об освобождении Н. Гумилева «на поруки» с подписями М. Горького, Маширова-Самобытника и многими другими, — это письмо сохранилось в «деле».

Маляров также сказал мне, что «состав преступления» Н. Г. настолько незначителен, что «если б это произошло в наши дни, то вообще никакого наказания Н. Г. не получил бы...»

[1] Видимо, П. Н. Лукницкому, судя по «тоненькому скоросшивателю», показали не само дело, а надзорное производство по нему. Не знакомились с делом ни Федин, ни Смирнов, ни Луконин, ни Наровчатов, ни другие, кто любил намекать на то, что с ним знакомился. К. М. Симонов с делом не знакомился также, но, несмотря на это, считал возможным утверждать участие Гумилева в контрреволюционном заговоре: «...некоторые литераторы предлагали чуть ли не реабилитировать Гумилева через органы советской юстиции, признать его, задним числом, невиновным в том, за что его расстреляли в двадцать первом году. Я лично этой позиции не понимаю и не разделяю. Гумилев участвовал в одном из контрреволюционных заговоров в Петрограде — это факт установленный... Примем этот факт как данность. История есть история».

На мой вопрос Малярову, «проходит» ли по «делу» Гумилева где-либо имя В. И. Ленина, Маляров ответил «нет».

На вопрос, упоминаются ли имена Павлова и Колбасьева в числе тех, кто писал заявление на Н. Г., Маляров ответил: «Есть два заявления. Но имена — другие».

Я не счел удобным спрашивать...

Из записок Сергея Лукницкого

17.10.1989

Летом 1973 года мой отец, лежа на больничной койке со смертельным инфарктом, набросал что-то на маленьком листке своей слабой уже рукой и, передав листок мне, сказал, что это план места гибели Гумилева и что в кармашке одной из записных книжек его фронтового дневника хранится подробный чертеж. Этот он нарисовал, чтобы я не ошибся, ища тот, который он составил вместе с А. А. Ахматовой вскоре после ее второго, тайного, посещения скорбного места в 1941 году. Составил, веря, что Правда Гумилева явится России. Составил и заучил его на память навсегда.

С тех пор я поставил себе цель — завершить идею моего отца, рассказать о деле Гумилева, об идее, владевшей им с середины двадцатых годов до последней минуты его жизни.

Из дневника П. Н. Лукницкого

21.06.1973

Температура 35,5, пульс 40 ударов, два медленных, очень сильных, за ними мелкие, едва уловимые, такие, что, кажется, вот замрут совсем... давление продолжает падать... дышать трудно. Жизнь, кажется, висит на волоске. А если так, то вот и конец моим неосуществленным мечтам... Гумилев, который нужен русской, советской культуре; Ахматова, о которой только я могу написать правду благородной женщины-патриотки и прекрасного поэта... А сколько можно почерпнуть для этого в моих дневниках! Ведь целый шкаф стоит. Правду! Только правду! Боже мой! Передать сокровища политиканам, которые не понимают всего вклада в нашу культуру, который я должен был внести,— преступление.

Все мои друзья перемерли или мне изменили, дойдя до постов и полного равнодушия... Вчера душевная беседа с милым Сережей. Он все понимает, умница, и слушал меня внимательнейше. «Ничего, Капа[1], тебе все надо выдержать, сейчас главное — тебе поправиться. А все, что ты не успел или не успеешь доделать, сделаю за тебя я». Он мой надежнейший друг. Он никому и ничего не простит, выйдя на большую арену жизни... И конечно, сделает все зависящее от его сил, ума, сердца, таланта и уважения ко мне...

Из записок Сергея Лукницкого

18.10.1989

Гумилев — судьба нашей семьи. И я, конечно, пошел судьбе навстречу. Пошел... через Прокуратуру СССР, МВД СССР, Советский фонд культуры.

Моя роль в занятии Гумилевым ограничена тем, что я люблю его поэзию, а определена тем, что именно я, в память об отце, в знак преклонения перед его бескорыстным подвижническим трудом, должен был поставить последнюю точку.

Отец начал заниматься Гумилевым в 20-х годах. После смерти отца моя матушка стала продолжать его дело: стала публиковать материалы архива отца. И я тоже оказался причастным к Гумилеву...

Мне понадобился 21 год, если считать с того дня, когда первый заместитель Генерального прокурора СССР Маляров, положив на стол ноги, отдавая походя подчиненным распоряжения, принимал в своем кабинете моего отца, коренного петербуржца П. Н. Лукницкого, с заявлением о реабилитации его любимого поэта Гумилева. В 1982 году Терехов, в бытность Малярова состоявший в должности начальника отдела по надзору за следствием в органах госбезопасности, рассказал мне, что Маляров присвоил тогда несколько книг Гумилева для своей дочери — «горячей поклонницы» поэта. Все прижизненные издания гумилевских сборников отец принес в Прокуратуру для изучения и доказательства невиновности Гумилева, все еще наивно и доверчиво оглядываясь на «оттепель». Рассказывал это тот самый Терехов, который позже выступил в «Новом мире», сообщив, что Гумилева «наказали» за «недоно-

[1] Так сын называл по-домашнему отца.

сительство», а не за участие в заговоре. Доносительство Терехов считал еще в 1987 году нормой нравственности.

Отец поверил словам Малярова о том, что для реабилитации Гумилева надо лишь, чтобы Союз писателей СССР обратился с ходатайством в ЦК, и что если Прокуратура получит указание от ЦК, то вопрос решится. Отец на радостях даже оставил «в подарок» одну из тех «задержанных» Маляровым книг. Остальные попросил вернуть.

Союз писателей не захотел...

После моего знакомства с «делом» и двух публикаций материалов в газете «Московские новости» мы смотрели «дело» уже вместе с матушкой.

В том, как все произошло, не оказалось ничего сверхъестественного.

Из сотен тысяч, быть может и больше, — обычная, как и все другие, папка... Стандартность ситуации в том, что когда мы пришли читать «дело», то его долго-долго искали, и здесь не было «злых сил», препятствовавших нашим намерениям. Совсем нет. Просто «дело Гумилева» — именно одно из многих-многих дел в коричневой папке с длинным архивным номером. Количество цифр этого номера, стоявшего над 1921 годом, в 1990-м не могло не произвести на нас впечатления.

Работа с «делом» как бы спрессовалась во времени. Желание скопировать документы все в точности с подлинников — безмерно, документов много, а перед столом — пожилой человек, ни разу не присев, терпеливо, стоя, ждет, когда мы закончим и вернем «дело» из наших рук в его руки. А нам кажется, что мы только начали, и он, этот терпеливый, приветливый прокурор, пытается, нагнувшись над нами, даже помогать нам расшифровывать очередную бумажку. А двое других сидят за другими столами, занимаются своими очень важными, ответственными делами, и они тоже приветливы и благожелательны, но им нельзя мешать: нельзя вслух предполагать, тем паче спорить, неловко начитывать громко на диктофон...

А время бежит, обгоняет нас, уже объявлено партсобрание, и мы знаем, что остались мгновения этого последнего, третьего, свидания с «делом». А дальше

оно уйдет, спрячется, может быть, теперь Бог даст, не навсегда, может быть, теперь недолго ждать его рассмотрения...

А пока перед нами впервые в истории: «Дело Н. С. Гумилева». Точнее — листы уголовного дела по обвинению Николая Степановича Гумилева в участии в Боевой Петроградской (контрреволюционной) организации — в заговоре, во главе которого стоял профессор В. Таганцев (1886—1921).

В процессе работы с «делом» возникали проблемы, которые мы по мере сил пытались преодолеть. Преодолели, естественно, не все.

Пытались воспроизвести не зафиксированные во время первых просмотров порядковые номера листов, документов, но могли ошибиться в нумерации, ибо листы часто повторяются (к делу Гумилева возвращались не раз). Повторяются (перепечатаны) — и потому, что желтеет бумага, выцветают чернила, блекнут карандашные записи, стареют почерки. И кроме того, документы расположены не всегда хронологически.

Часть «дела» прочесть невозможно совсем. Время стерло текст. Может быть, условия хранения или перманентная эвакуация архивов НКВД? Как бы то ни было, незначительные документы, какие-нибудь типа квитанций, могли выпасть из поля зрения.

На многих документах — справках из адресных столов, от домуправа, ордерах на арест, на обыск, а также на бумагах, изъятых у Гумилева при аресте, т. е. на письмах, квитанциях, записках, — отсутствуют либо даты, либо подписи (или они неразборчивы), либо фамилии, либо имена. Это при коротком знакомстве с документами пока невосполнимо.

Орфография и синтаксис даны так, как они есть в подлиннике.

Представляем «дело» в том виде, в котором оно расшифровано после последнего просмотра. Но перед этим — два отступления.

Мы благодарны всем, кто помогал нам, даже тем, кто стоял на пути к «делу».

Все же мы остаемся при своем мнении, что Гумилева надо простить. Именно простить. За то, что, вступив под своды ВЧК, он ошибся, поверив, что находится в органе, где закон, пусть и закон революции, — есть вершина справедливости...

(Коричневая картонная обложка, глянцевая, штамп. — *В. Л.*) «Дело взято на тематический учет»
Министерство государственной безопасности СССР
Центральный архив
Общий следственный фонд
Дело по обвинению Гумилева Николая Степановича
Н-1381
Арх. № (неразборчиво. — *В. Л.*)
Кол. томов 382 том 177
(Обложка дела, голубой картон. — *В. Л.*)
Н-1381
В. Ч. К.
Дело № 214244
«Петроградская боевая организация»
Соучастники
(Гумелев Н. С. — 104 стр.) (Так! — *В. Л.*)
том 177
Арх. № в 382 томах
(Лист № 1 отсутствует. — *В. Л.*)

ЛИСТ № 2

(На маленьком листке. — *В. Л.*)

Справка. В этом томе первый лист — фотокарточка, которая из дела изъята и находится в альбоме 25.II. 1935 г.

(Без подписи. — *В. Л.*)

ЛИСТ № 3

(Рука Н. Гумилева. — *В. Л.*).

Фамилия Гумилев
Имя и отчество Николай Степанович
звание дворянин
время рождения 1886
ближ. родственники жена, дочь
национальность русский
подданство русское
документы о личности трудовая книжка
жительство Петроград
был ли за границей да
место службы Всемирная литература
род занятий член коллегии
принадлежность к партии нет

привлекался ли ранее нет
арестован 3.8
по ордеру 1071
по инициативе Ка... (неразборчиво. — *В. Л.*) [1].

ЛИСТ № 4

(На маленьком бланке. — *В. Л.*)

Засада (рукою, чернилами. — *В. Л.*)

Произвести обыск и арест

Гумилев Николай Степанович, проживающ. по Преображенской ул., д 5/7, кв. 2
по делу № 2534 3 авг. 1921

ЛИСТ № 5

Петроградская Чрезвычайная комиссия
секретно-оперативный отдел
талон ордера 1071

(Незаполненный бланк с подписью и печатью. — *В. Л.*)

ЛИСТ № 6

к делу 2534 [2]

Петроградская Чрезвычайная комиссия
секретно-оперативный отдел
на двое суток
Ордер 1071

3 авг. 1921

Выдан сотруднику Мотивилову (? — *В. Л.*)
Производство обыска и ареста
Гумилева Николая Степановича
и по усмотрению в пред... (неразборчиво. — *В. Л.*)
Петрограда
по адресу Преображенская 5/7 кв. 2
Все должностные лица и граждане
обязаны оказывать указанным сотрудникам
полное содействие

Председатель комиссии (подписи нет. — *В. Л.*)
(печать)
Зав. секр. опер. отделом (подписи нет. — *В. Л.*)
2 экз. протокола

[1] Здесь и далее подчеркнутое набрано типографским шрифтом.
[2] Вероятно, под этим номером было возбуждено дело Петрогубчека.

ЛИСТ № 6 (продолжение)

Протокол

На основании ордера Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией при Союзе Комун. Северной области, за № 1071 от 3.8.1921 произведен обыск д № 14, кв. 34, по ул. Морской.

Согласно данным указаниям, задержаны: гражданин Гумилев Николай Сергеевич (! — *В. Л.*). Взято для доставления в Чрезвычайную Комиссию следующее (подробная опись).

Переписка, другого ничего не обнаружено.

Оставлена засада до выяснения.

Заявления на неправильности, допущенные при производстве обыска нет.

Расписался Н. Гумилев

(рука Н. Гумилева. — *В. Л.*)

Добавления

Все заявления и претензии должны быть занесены в протокол. После подписания протокола никакие заявления не принимаются. Комиссия отвечает только за то, о чем упомянуто в протоколе.

Обыск производил сотрудник для поручений

Мои....... (неразборчиво. — *В. Л.*)

Все указанное ь протоколе удостоверяем

Представители домового комитета И. Гусев

дворник (подписи нет. — *В. Л.*)

Кроме того подписали (подписей нет. — *В. Л.*)

Примечание. Один экземпляр протокола должен быть оставлен под расписку представителей Домового комитета

ЛИСТ № 7

Петроградская Чрезвычайная комиссия

секретно-оперативный отдел

талон ордера 1096

(Незаполненный бланк с подписью и печатью! — *В. Л.*)

ЛИСТ № 8

Ордер на обыск от 5.8.21

(Чистый бланк. — *В. Л.*)

ЛИСТ № 9

Цена 3 коп. 1917

Справка адресного стола

Гумелев Александр Васильевич (так! — *В. Л.*)
урожд. Арханг. губернии, Шелкур. уезда

Усть... (неразборчиво. — *В. Л.*) волости 23 лет, православный.

По сведениям адресного стола на жительстве в Петрограде значится в доме под № 39/24, кварт. № 134,

Рождественской улице

4.8.21

ЛИСТ № 10

Цена 3 коп. 1917

Справка адресного стола

Гумилев Дмитрий Степанович [1]

гражданин РСФСР 34 года православный

д. 20/65 кв. 15

Ивановская ул. Московской части участка

4.8.21

ЛИСТ № 11

(На маленьком бланке. — *В. Л.*)

Петроградская чрезвычайная комиссия

секретно-оперативный отдел

ордер 1096

5 авг 21

сотр. Богранову и Сомедову (фамилии написаны иным почерком, чем все остальное. — *В. Л.*)

Произв. обыск у гр-на

по адресу Преобра. д. 5/7 кв. 2

(Печать, подпись. — *В. Л.*)

ЛИСТ № 12

(Серая бумага, без шапки учреждения. — *В. Л.*)

Произвести обыск у гр. Гумилева Н. С.

Преображенская 5/7 (чернила. — *В. Л.*)

по делу 2531

5.8.21 (красный карандаш. — *В. Л.*)

Зав. отделом (роспись, похоже Серов. — *В. Л.*)

Следователь (роспись, похоже Гольденко. — *В. Л.*)

Богданов (чернила. — *В. Л.*)

---

[1] Брат Н. С. Гумилева; возраст указан неверно.

ЛИСТ № 13

6413 Талон квитанции к делу

Денег советских 16 000 р.

старинных монет, гривенник (фраза прочитывается не полностью. — *В. Л.*)

1 зол. 48 у. (или д. — *В. Л.*) [1]

ЛИСТЫ № 14—19

(Копии протоколов допросов, задержаний. — *В. Л.*)

ЛИСТ № 20

Доклад

В Петроградскую губернскую Ч. К.

Ввиду того, что д. № 11 по Пантелеймоновской ул. содержит 142 квартиры, из коих несколько не занятых и домовые книги ведутся крайне безпорядочно, точно установки в такой краткий срок, сделать нет ни какой физической возможности, тем более, что заведывающий дом. и домовой книгой за свое кратко-временное пребывание в этой должности еще не успел ораентироваться.

2.8.21

Коркий или Корский (неразборчиво. — *В. Л.*)

ЛИСТЫ № 21—24

(Квитанции, записки управдомов, почти все — неразборчиво. — *В. Л.*)

ЛИСТ № 25

В Петроградскую Чрезвычайную Комиссию (отпечатано на машинке фиолетовым шрифтом. — *В. Л.*).

Доклад

По установке про г-на Гумилева Дмитрия Степановича выяснено только по домовой книге, по Ивановской ул. д. № 26/65 следующее:

С 3-го мая 1918 был прописан прибывший из Лондона через Мурман Гумилев Николай Степанович, русский, писатель и так же была прописана г-жа Анна Степановна Гумилева 23 лет, русская, прибыла в этот дом в кв. 15 с родины 13 авг. 1918 г. 16 авг. 1918 г.

[1] Изъято у Н. Гумилева во время обыска.

выбыла в гор. Бежецк 21 авг 1918 в указанную квартиру опять прибыли вышеназванные г-не из Бежецка и 4 апр. 1919 выбыли не дав сведений.

30 сент. 1918 с Фонтанки 18 в кв. 15 д. № 20/65 по Ивановской ул. прибыл Гумилев Дмитрий И. (? — *В. Л.*) 34 лет, русский, при родных, с ним жила гр-ка Анна Андреевна Гумилева, сестра милосердия, временно состоявшая при учете в Троицкой общине. 4 апреля 1919 г. выбыли не дав сведения.

Потом значится, что из Царского Села 20 октября 1918 А. И. Гумилева 42 лет, вдова отставного статского советника при сыне, а 25-го янв. 1919 возобновила новые документы, от 1-го гор. Совета, что является гр-кой Тверской губ. Бежецкого уезда, Невской области, дер. Венново, выбыла 4 апр. 1919 г. В этой кв. проживают теперь другие лица.

2/VIII-21. Зам. нач. аген. Матвеев (? — подпись неразборчива. — *В. Л.*)

ЛИСТЫ № 26—27

(Копия доклада в Петрогубчека. — *В. Л.*)

ЛИСТ № 28

Доклад

В Петроградскую Ч. К.

По мимо Д. К. Т. (? — *В. Л.*) установили, что г-н Гумилев Ник. Степанович действительно проживает по Преображенской ул. д. 5/7, кв. 2.

Основная профессия: профессор, служит преподавателем в Губполитпросвете.

2/8-21

подпись Матовилов (?) [1]

ЛИСТ № 29

(Маленькая смятая, пожелтевшая записка. — *В. Л.*)

Екатеринодар

Рашпилевская улица

д. 78, кв. Чхеидзе [2]

---

[1] Это единственный документ, в котором подпись данного лица просматривается четче.

[2] Все неразборчиво, кроме фамилии.

ЛИСТ № 30

Издательство Всемирная литература

Гос. изд. Петербург. Моховая, 36

тел. 4-79-32 73-32 51-19

тел. редактора 1-13-65

(Рука Н. Гумилева — *В. Л.*)

1) Поэтика. ... (неразборчиво — *В. Л.*), арабо-персидская, инду... (неразборчиво. — *В. Л.*), классическая, романтическая, сентиментальническая, реалистическая, символическая, акмеистическая, футуристическая
2) Энгельгардт 10
3) Мои рассказы и статьи
4) Георгий Иванов
5) Ремизов
6) Амфитеатров
7) Замятин

ЛИСТ 31

Милый Николай!

Пожалуйста непременно будь сегодня в Союзе — чтобы уговориться с Кельсоном насчет всех дел... (неразборчиво. — *В. Л.*) молодых и пр. Он будет там в 11 часов вечера.

подпись (неразборчива. — *В. Л.*)

ЛИСТ № 32

(Записка на клочке бумаги, чернила. — *В. Л.*)

Николай Степанович

Ждем Вас до 4½ часов
Звоните 1.00.90.
Есть новости

(Без подписи. — *В. Л.*)

ЛИСТ № 33

(На клочке бумаги. — *В. Л.*)

Кузьм. Караваев
Фурштадская 11, кв. 2
5.70.09
Вагон 14-71
1 кл.
К 11 часам придти

ЛИСТ № 34

(Карандаш. — *В. Л.*)

Тел. 6-75.00.

Акимова

ЛИСТ № 35

(На клочке. — *В. Л.*)

99-28

Брагинский

Изв. 45

ЛИСТ № 36

(На бланке издательства «Петрополис».— *В. Л.*)

Petropolis

Членский билет № 20

Гумилев Николай Степанович

Книжный распределительный пункт под покровительством Комиссии по улучшению быта ученых

ЛИСТ № 37

(На клочке. — *В. Л.*)

Сем. Мих. Горелик

ЛИСТ № 38

(На клочке. — *В. Л.*)

Надежда Александровна Замиу... (неразборчиво. — *В. Л.*).

ЛИСТ № 39

(На клочке. — *В. Л.*)

Зифъ 402-51 т. 22-92

459-57

0712-2

(Карандаш. — *В. Л.*)

ЛИСТ № 40

(Открытка. — *В. Л.*)

Петроград

Угол Невского и Мойки

Дом Искусств квартира Гумилева 21.06.21

Frau Гумилевой

Спешность просьбы не дает возможности узнать Ваше имя отчество а потому вопреки элементарным

правилам корректности приходится писать без обращения. Надеюсь Вы поймете меня и простите такое начало. Возвратившись из Петрограда знакомая курсистка сообщила, что письмо адресованное Вашему мужу за отъездом последнего вручено Вам. Колоссальная просьба сохранить его и передать при встрече Вашему мужу. Кстати, если Ваш муж найдет свободную минуту для ответа пусть кроме дома искусств осведомит меня о доме литераторов. 1) Каковые силы его обслуживают 2) Какого настроения работы пользуются спросом 3) есть ли надежда на сотрудничество и наконец 4) гонорар и т. д. (хорошо бы получить один-два номера журнала). Болезнь выбросила меня за борт жизни, а условия существования сделали из квартиры ракушку «рака отшельника». Культурная жизнь проходит боком, материальный кризис углубляется по определению самой современности. Приходится отложить в сторону «архивы» и стоит (? — *В. Л.*) поискать точку приложения сил в Ваших краях. Прошу простить, что утрудил ваше внимание и с извинениями за беспокойство и принять свидетельство моего к Вам почтения.

Экс журналист Конст. (далее неразборчиво. М. б., Рушанов? Русинов? Рустинов? — *В. Л.*)

ЛИСТ № 41

Почтамтская, 20, кв. 7
т. 28-81
Милый Николай!

Пожалуйста приходите сегодня с Анной Николаевной к нам и приведи с собой Михаила Леонидовича, если он будет у тебя. Приходите непременно. Мне самому нельзя уйти из дому, потому, что у меня будет один корпусной товарищ.

Гво (неразборчиво. — *В. Л.*)

ЛИСТ № 42

(Карандаш. — *В. Л.*)

Александр Морицевич
Данкман
Управдел. и зав. фим. частью
1-го госуд. театра для детей
Неглинная ул. № 9 около Кремля
Между 12 и 2 в понедельник

(Приписано чернильным карандашом сбоку. — *В. Л.*)

ЛИСТ № 43

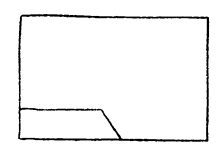
(Карандаш, рука Гумилева. — *В. Л.*)

Понедельник
Нина Шишкина
Фiуме
Немирович
Вторник
Пьеса Оцупа пост... (неразборчиво. — *В. Л.*)
Софроницкий
Флит
Мой роман (обведено овалом. — *В. Л.*)
Среда
Львова
Мой роман
Лозинский
Четверг
Енгаличев и Дубовен
Суббота
Ген. репет. Оцупа
Енгаличев
Воск.
Львова
Халатьян
тел. домаш. Данкман 37-86
тел. Детского театра
2-86-63
(На обороте. — *В. Л.*)
Концерт Ольги Николаевны
Ругомо-Названовой (? — *В. Л.*)
Малый зал МУЗО
б. Никитская
тел. Г. М.
Консерватория
Воскресенье
8 ч. веч.
Даскар (или Ласкар? — *В. Л.*)
т. 2-99-21

ЛИСТ № 44

(Зеленые чернила, рука Гумилева. — *В. Л.*).

Владимир Германович Лидин
Малая Никитская 8, кв. 16
(На этой же записке чертеж. — *В. Л.*)
М. Никитская, 8



ССП

(Подпись карандашом. — *В. Л.*)

Тверской бульвар 25 (особняк во дворе)
Союз писателей (понед. в 9 ч.)

ЛИСТ № 45

(Записка, карандаш. — *В. Л.*)

Аксенов
Мясницкая
М. Харитоньевский, дом 4

ЛИСТ № 46

(На клочке, карандаш. — *В. Л.*)

Собинов 4-82-36
Спросить Елену Константиновну

ЛИСТ № 47

Служебная записка старшего секретаря командующего всеми морскими силами республики. Толстов Н. 25 июня 21 года

Председателю РНД губ союза.

Многоуважаемый товарищ с вами в поезде едет член Коллегии Всемирной литературы и председатель Питерского профсоюза Поэтов товарищ Н. С. Гумилев, который работает вместе с М. Горьким.

Очень прошу Вас оказать всяческое содействие тов. Гумилеву и выдать ему просимое как подарок с юга республики питерским голодающим писателям. Заранее благодарю.

Очень обяжете. С товарищеским приветом

В. Павлов

ЛИСТ № 48

(На папиросной помятой бумаге. — *В. Л.*)

Дорогой Котик конфет ветчины не купила, ешь колбасу не сердись. Кушай больше, в кухне хлеб, каша, пей все молоко, ешь булки. Ты не ешь и все приходится бросать, это ужасно.

Целую Твоя Аня

ЛИСТ № 49

(Записка. — *В. Л.*)

Анне Николаевне на сохранение. Привет

Владислав Ходасевич

ЛИСТ № 50

(Неразборчиво. — *В. Л.*)

ЛИСТ № 51

(Записка, чернила. — *В. Л.*)

Москва 4.07.21

Уважаемый Николай Степанович

Случайно узнала, что вы в Москве и собираетесь завтра домой. Во-первых хотела предложить поехать вместе т. к. тоже завтра уезжаю в Питер. Ждала Вас здесь до 9 ч. вечера, но дальше мне ждать совершенно нет времени. Будьте милым, если успеете позвоните мне по тел. сегодня до 1 ч. ночи № 44884. Вызовите меня.

Если Вы завтра по чему либо не уедете я позвоню в среду сразу по приезде Анне Николаевне и передам, что Вы живы здоровы и собираетесь обратно домой. Желаю всего лучшего. Ваша верная ученица и почитательница Ольга Зиф

ЛИСТЫ № 52, 53

(Неразборчиво. — *В. Л.*)

ЛИСТ № 54

(Записка, карандаш. — *В. Л.*)

Вера Иосифовна
47-02
Нина Евгеньевна
36-55

ЛИСТ № 55

(Записки со стершимся карандашным текстом. — *В. Л.*)

ЛИСТ № 56

(Рука Гумилева. — *В. Л.*)

Дорогой Оцуп!

Пришел вчерашний скандалист, который скандалит еще больше, показывает мандат грядущего и ругается.

Сходи за кем-нибудь из пролеткульта и приведи его сюда, и скорее, пока он не произвел

(оборвано. — *В. Л.*)

ЛИСТ № 57

(Оба письма на одном листе фиолетовым карандашом. — *В. Л.*)

Тов. Каменский

Завед. Художественным отделом

Вельмар, Эдита, Псков, Запсковская Митарная гора дом Вельмар

Дорогая Эдита

очень прошу Вас приютить у себя поэта Гумилева на несколько дней к Вам приглашенного

Ваш (неразборчиво. — *В. Л.*)

Тов. Каменский

К Вам едет поэт Гумилев, без сомнения Вам известный

Я очень прошу Вас помочь ему в Пскове

Ваш Пиотровский

ЛИСТ № 58

(Обрывок бумаги. — *В. Л.*)

...мне по получении этой записочки по тел. 1-42-97 (Гагаринская, 32, кв. 4). Разрешение на клуб уже получено

23.V.21

А. Беленсон

(На обороте рукою Гумилева. — *В. Л.*)

Литейный 31 кв. 12

У д. Калашникова

Мария Петровна Попова

Фрейнг (? — *В. Л.*).

ЛИСТ № 59

(Карандаш. — *В. Л.*)

Надежда Алис (неразборчиво. — *В. Л.*)

Замиунина (? — *В. Л.*)

Кирочная 17 кв. 9

т. 29-29

ЛИСТ № 60[1]

(Рука Гумилева, черные чернила — *В. Л.*)[1]

1) Жираф	Ром. цв.	1
2) Волшебная скр.		
3) Орел	Жемчуга	3
4) Капитаны		
5) Из логова змиева		
6) Я верил, я думал		
7) У камина	Чужое небо	5
8) Туркестанские генералы		
9) Занзибарские девушки		
10) Возвращение		
11) Пятистопные ямбы		
12) Первая канцона	Колчан	4
13) Вторая канцона		
14) Пантум		1*
15) Деревья		
16) Мужик		
17) Первая канцона	Костер	4
18) Эзбекие		
19) Сомали		
20) Птица	Шатер	3
21) (неразборчиво — *В. Л.*)		
~~22)~~ Осветив горящее тело		1*
23) Лес	Огненный столп	
24) Трамвай		3
25) У цыган		

ЛИСТ № 61

(Оборотная сторона листа № 60. — *В. Л.*)
Расписка. Мною взято у Н. С. Гумилева пятьдесят тысяч рублей. Мариэтта Шагинян. 23.VII.21

---

[1] Фигурные скобки объединяют названия стихотворений, выходивших в сборниках поэта; цифры справа — общее количество стихотворений, взятых из каждого упомянутого сборника; единицы справа, которые мы пометили звездочками, означают стихотворения, не входившие в изданные книги поэта.

Сначала мы решили, что перед нами план задуманного Гумилевым сборника избранных произведений. Но список показался знакомым. Стали искать и, к счастью, нашли черновики этого списка, сделанного также рукою поэта, в домашнем архиве. Стихи, обозначенные в нем, предназначались для антологии Гржебина,

ЛИСТ № 62

(Записка со стершимся карандашным текстом.— *В. Л.*)

ЛИСТ № 63

1920 Дом искусств на 1920
при
комиссариате народного просвещения
Мойка 59-тел. 6-05
Членский билет
Гумилев Николай Степанович
Председатель Высшего Совета Дома искусств
М. Горький
Заведывающий канцелярией (неразборчиво.— *В. Л.*)

ЛИСТЫ № 64, 65

(Не поддаются расшифровке.— *В. Л.*)

ЛИСТ № 66

(Записка.— *В. Л.*)

Александр
Иванович
Венедиктов

Москва, Земля (неразборчиво.— *В. Л.*).
Тетеринский пер. д. 12 кв. 27
(относительно поэмы «Мери п/ч
Владивостока
С. Г. Каплун Кирочный 3, кв. 25.
т. 65-04

ЛИСТ № 67

(Не поддается расшифровке.— *В. Л.*)

ЛИСТЫ № 68, 69

Протокол показания гр. Таганцева. «Поэт Гумилев после рассказа Германа обращался к нему в конце ноября 1920 г. Гумилев утверждает, что с ним связана группа интеллигентов, которой он сможет распоряжаться и в случае выступления согласна выйти на улицу, но желал бы иметь в распоряжении для технических надобностей некоторую свободную наличность. Таковой у нас тогда не было. Мы решили тогда предварительно проверить надежность Гумилева, командировав к нему Шведова для установления связей.

В течение трех месяцев, однако, это не было сделано. Только во время Кронштадта Шведов выполнил поручение: разыскал на Преображенской ул. поэта Гумилева, адрес я узнал для него во «Всемирной литературе», где служит Гумилев. Шведов предложил ему помочь нам, если представится надобность в составлении прокламаций. Гумилев согласился, сказав, что оставляет за собой право отказываться от тем, не отвечающих его далеко не правым взглядам. Гумилев был близок к Совет. ориентации. Шведов мог успокоить, что мы не монархисты, а держимся за власть Сов. Не знаю, насколько мог поверить этому утверждению. На расходы Гумилеву было выделено 200 000 советских рублей и лента для пишущей машинки. Про группу свою Гумилев дал уклончивый ответ, сказав, что для организации ему потребно время. Через несколько дней пал Кронштадт. Стороной я услыхал, что Гумилев весьма отходит далеко от контрреволюционных взглядов. Я к нему больше не обращался, как и Шведов и Герман, и поэтических прокламаций нам не пришлось ожидать».

В. Таганцев

6.VIII.1921

ЛИСТЫ № 70, 71

(Копии протокола показаний Таганцева. — *В. Л.*)

ЛИСТ № 72

(Записка. — *В. Л.*)

Все дела, печать, бланк, канцелярские принадлежн. кассовую книгу сдал Владимиру Алекс. Павлову и оплаченными мне счетами всего на сумму 67.000: сдал

ЛИСТ № 73

(Рука Гумилева. — *В. Л.*)

Городецкий, Потемкин, Пяст, Анненский, Сологуб, Сергей Соловьев, Бруни, Верховский, Блок, Клюев, Бальмонт, Вячеслав Иванов, Северянин, Хлебников, Лифшиц, Цветаева, Нарбут, Балтрушайтис, Адамович (неразборчиво. — *В. Л.*)

ЛИСТ № 74

(Рука Н. Гумилева. — *В. Л.*)

Статьи

1. Жизнь в стихах
2. Поэзия в (неразборчиво. — *В. Л.*)

3. (Неразборчиво. — *В. Л.*)
4. (Неразборчиво. — *В. Л.*)

ЛИСТ № 75

(На бланке. — *В. Л.*)

Пригласительный билет. Всероссийский Союз поэтов
Просим Вас пожаловать на открытие клуба Союза,
состоящееся в   июля.
Литейный 24, дом Мурузи
Постоянные билеты для входа в клуб
продаются в помещении Клуба
Начало программы в 9 час. веч.
Повестку просят обязательно предъявлять при входе.
Президиум

ЛИСТ № 76

(Листок замусолен, оборван. На обороте рука Гумилева. — *В. Л.*)

Господину Николаю Степановичу Гумилеву. Москва
Сахар 20 ф — 210
Соль 3 пуда
Чай 4 ф — 60
Горошек 15 ф — 60
Шпик 15 ф — 150
Мука 1 пуд 12 ф — 264
Икра 2 ф — 275
Соленая рыба, рыбцы, 10 ф
У меня сахар 20 ф — 200
Соль 3 п?
Горошек 5 ф — 20
Мука 1 пуд. 6 фунтов — 184
Икра 4 фунта — 100
(Неразборчиво. — *В. Л.*) 6 ф. — 60
Орехов 9 ф — 50
Рис 4 ф — 20
Кофе 4 ф — 20
Кофе — и пол. — 156
Вишня, ягод 2 ф — 30
Гречн. кр. 6 ф — 30
Лимон 5 (неразборчиво. — *В. Л.*).
Подсолнух 3 ф — 10 [1]

[1] Не списан и морщится на листе второй столбец с наименованием и стоимостью продуктов, очевидно предназначенных для распределения в Союзе поэтов.

Купить орехов, изюму, орехов, вина, шпику, лимоны, гречневой крупы Подарки Валицкому, Оцупу, Залу (неразборчиво. — *В. Л.*), (неразборчиво. — *В. Л.*), Караваевым, Аннушке, (неразборчиво. — *В. Л.*), (неразборчиво. — *В. Л.*).

ЛИСТ № 77

(Рука Гумилева. — *В. Л.*)

Petropolis мне должен 285 000
к 5 июню 85 000 } возьми к 10 июлю
к 20 июню 200 000 } 100 0000
Пошли маме 5 июня 45 000
10 — 30 000
20 — 75 00
Тебе остается 5 июля 40 000
10 — 70 000
20 — 25 00

Мои долги
Тете Варе — 3
Саше — 4
в буфет 23 750

ЛИСТЫ № 78—80

(Обрывки бумаг, чистый лист бумаги, обрывок записки с неразборчивым текстом. — *В. Л.*)

ЛИСТЫ № 81—82

(Неаккуратным, размашистым почерком на двух страницах. — *В. Л.*)

Москва, 26 июля, 21 г.

Крестовоздвиженский пер. 9 кв. 12.

Собака Арбата 7 Тел. 1-42-87

Особняк открылся 11-го в понедельник. Подробно тебе все расскажет Пяст. Я доволен. Не доволен, очень нервничаю, но думаю, что все образуется и войдет в колею. Мне показалось, что вчера уже пара колес твоей колымаги взошла на рельсы. Что будет дальше покажет время. Из рассказа Пяста и прилагаемой повестки на текущую неделю ты усмотришь и сообразишь многое из программной жизни особняка, которая пока что приняла такие формы, но они в ближайшие дни должны измениться. В помещении есть прекрасно оборудованная сцена и зрительный зал на 200 мест с ложами. В ближайшие дни начнется работа на этой сцене. Сообщи мне свои репертуарные соображения применительно к себе. (Твои вещи написанные уже и задуман-

ные) и вещи других переводных и старых и очень старых. Теперь о выступлениях в Москве у нас петербургских поэтов. Так обстоит дело с поездкой группы в Крым. Хотелось бы устроить вечер Одоевцевой и Жоржа, потом М. Кузмина — отдельно, Блока, Чуковского, твой тоже — отдельно, диспут Мейерхольд — Чуковский и т. д. (М. б., А. В. Волынский? — *В. Л.*)

Бюджет вечеров пока что гарантировать может от 200 000 до 300 000 в вечер. В случае большего сбора увеличить эту сумму на несколько процентов.

Останавливаться все эти прекрасные люди будут конечно у меня, в моем знаменитом сарае.

(Письмо обрывается. — *В. Л.*)

ЛИСТЫ № 83, 84

Протокол допроса, произведенного в Петроградской губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией по делу за № 2534 от 9.08. 1921 г.

Я, нижеподписавшийся, допрошенный в качестве обвиняемого, показываю:

1. Фамилия Гумилев
2. Имя отчество Николай Степанович
3. Возраст 35
4. Происхождение из дворян
5. Место жительство Петроград, угол Невского и Мойки, в Доме Искусств
6. Род занятий писатель
7. Семейное положение женат
8. Имущественное положение никакого
9. Партийность беспартийный
10. Политические убеждения аполитичен
11. Образование общее высшее, профессор
    специальное филолог
12. Чем занимался, где служил
    а) до войны 1914 года литературой, здесь и за границей
    б) до февральской революции 1917 года тоже
    в) до октябрьской революции 1917 года на военной службе в качестве вольноопределяющегося, а потом — прапорщик

г) с октябрьской революции до ареста в 18 году приехал из Лондона в Петроград и до ареста находился членом коллегии экспертов издательства «Всемирная литература»

13. Сведения о прежней судимости никаких

ЛИСТ № 85

Показания по существу дела: Месяца три тому назад ко мне утром пришел молодой человек высокого роста и бритый, сообщавший, что привез мне поклон из Москвы. Я пригласил его войти, и мы беседовали минут двадцать на городские темы. В конце беседы он обещал мне показать имеющиеся в его распоряжении русские заграничные издания. Через несколько дней он действительно принес мне несколько номеров каких-то газет. И оставил у меня, несмотря на мое заявление, что я в них не нуждаюсь. Прочтя эти номера и не найдя в них ничего для меня интересного, я их сжег. Приблизительно через неделю он пришел опять и стал спрашивать меня, не знаю ли я кого-нибудь, желающего работать для контрреволюции. Я объяснил, что никого такого не знаю, тогда он указал на незначительность работы: добывание разных сведений и настроений, раздачу листовок и сообщал, что эта работа может оплачиваться. Тогда я отказался продолжать разговор с ним на эту тему, и он ушел. Фамилию свою он назвал мне, представляясь. Я ее забыл, но она была не Герман и не Шведов.

Н. Гумилев

9 августа 1921

ЛИСТ № 86
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

гр. Гумилева Николая Степановича.

Допрошенный следователем Якобсоном, я показываю следующее: летом прошлого года я был знаком с поэтом Борисом Вериным и беседовал с ним на политические темы, горько сетуя на подавление частной инициативы в Советской России. Осенью он уехал в Финляндию, через месяц я получил в мое отсутствие от него записку, сообщавшую, что он доехал благополучно и хорошо устроился. Затем, зимой, перед Рождеством, ко мне пришла немолодая дама, которая мне передала неподписанную записку, содержащую ряд во-

просов, связанных, очевидно, с заграничным шпионажем, например, сведения о готовящемся походе на Индию. Я ответил ей, что никаких таких сведений я давать не хочу, и она ушла.

Затем, в начале Кронштадтского восстания ко мне пришел Вячеславский с предложением доставлять для него сведения и принять участие в восстании, буде оно переносится в Петроград. От дачи сведений я отказался, а на выступление согласился, причем указал, что мне, по всей вероятности, удастся в момент выступления собрать и повести за собой кучку прохожих, пользуясь общим оппозиционным настроением. Я выразил также согласие на попытку написания контрреволюционных стихов. Дней через пять он пришел ко мне опять, вел те же разговоры и предложил гектографировальную ленту и деньги на расходы, связанные с выступлением. Я не взял ни того ни другого, указав, что не знаю, удастся ли мне использовать ленту. Через несколько дней он зашел опять, и я определенно ответил, что ленту я не беру, не будучи в состоянии использовать, а деньги 200 000 взял на всякий случай и держал их в столе, ожидая или событий, то есть восстания в городе, или прихода Вячеславского, чтобы вернуть их, потому что после падения Кронштадта я резко изменил мое отношение к Советской власти. С тех пор ни Вячеславский, никто другой с подобными разговорами ко мне не приходили, и я предал все дело забвению.

В добавление сообщаю, что я действительно сказал Вячеславскому, что могу собрать активную группу из моих товарищей, бывших офицеров, что являлось легкомыслием с моей стороны, потому что я встречался с ними лишь случайно и исполнить мое обещание мне было бы крайне затруднительно. Кроме того, когда мы обсуждали сумму расходов, мы говорили также о миллионе работ.

Гумилев

Допросил Якобсон 18.8.1921 г.

ЛИСТ № 87

(Машинопись. — *В. Л.*)

Продолжительное (? — *В. Л.*) показание гр. Гумилева Николая Степановича 20.8.1921 г.

Допрошенный следователем Якобсоном, я показываю: сим подтверждаю, что Вячеславский был у меня один и я, говоря с ним о группе лиц, могущих принять участие в восстании, имел в виду не кого-нибудь опре-

деленного, а просто человек десять встречных знакомых, из числа бывших офицеров, способных в свою очередь сорганизовать и повести за собой добровольцев, которые, по моему мнению, не замедлили бы примкнуть к уже составившейся кучке. Я может быть не вполне ясно выразился относительно такового характера этой группы, но сделал это сознательно, не желая быть простым исполнителем директив неизвестных мне людей, и сохранить мою независимость. Однако я указывал Вячеславскому, что по моему мнению это единственный путь по какому действительно совершается переворот и что я против подготовительной работы, считая ее бесполезной и опасной. Фамилии лиц я назвать не могу, потому что не имел в виду никого в отдельности, а просто думал встретить в нужный момент подходящих по убеждению мужественных и решительных людей. Относительно предложения Вячеславского я ни с кем не советовался, но возможно, что говорил о нем в туманной форме.

Н. Гумилев

ЛИСТ № 88

(Машинопись. — *В. Л.*)

23.8.1921

Допрошенный следователем Якобсоном, я показываю следующее: никаких фамилий, могущих принести какую-нибудь пользу организации Таганцева путем установления между ними связей, я не знаю и потому назвать не могу. Чувствую себя виновным по отношению к существующей в России власти в том, что в дни Кронштадтского восстания был готов принять участие в восстании, если бы оно перекинулось в Петроград, и вел по этому поводу разговоры с Вячеславским.

ЛИСТ № 89

(Машинопись. — *В. Л.*)

В дополнение к сказанному мною ранее о Гумилеве как о поэте добавляю, что насколько я помню в разговоре с Ю. Германом сказал, что во время активного выступления в Петрограде, которое он предлагал устроить (4 слова подчеркнуты красным карандашом.— *В. Л.*) к восставшей организации присоединится группа интеллигентов в полтораста человек. Цифру точно не помню.

Гумилев согласился составлять для нашей организации прокламации.

Получил он через Шведова В. Г. 200 000 рублей

Таганцев

23 авг 21

ЛИСТЫ 90—93

(Машинописные копии листов 83—89. — *В. Л.*)

ЛИСТ № 94

(Машинопись. — *В. Л.*)

Петрогуб. Ч. К.
Телефонограмма № 632
из Дома Искусств

В квартире нашего быв. преподавателя Н. С. Гумилева имеются книги по вопросам искусства и художествен. литературы. Эти книги необходимы нашему учебному заведению. Поручаем нашему библиотекарю П. М. Левину получить означенные книги, находящиеся на квартире Н. С. Гумилева (Преображенская ул. 5)

Зав. литературным отделом
Шловский (так. — *В. Л.*)
Зав. канцелярией
Лефлер (так. — *В. Л.*)

ЛИСТЫ № 95—100

(Неразборчивые или практически неразборчивые документы, свидетельствующие о найме Гумилевыми квартиры по адресу ул. Преображенская, д. 5, квитанции, справки и т. п. — *В. Л.*)

ЛИСТ № 101

(Заявление в домоуправление Софии Штюрмер по поводу занимаемой А. Н. Энгельгардт квартиры, а также принадлежащих мебели, вещей ее мужу Сергею Влад. Штюрмеру — школьному работнику. — *В. Л.*)

ЛИСТ № 102

(Машинопись. — *В. Л.*)

Заключение

по делу № 2534 гр. Гумилева Николая Станиславовича (зачеркнуто, написано сверху чернилами «Степановича».— *В. Л.*), обвиняемого в причастности к

контрреволюционной организации Таганцева (Петроградской боевой организации) и связанных с ней организаций и групп.

Следствием установлено, что дело гр. Гумилева Николая Станиславовича (зачеркнуто, написано сверху чернилами «Степановича». — *В. Л.*) 35 лет происходит из дворян, проживающего в г. Петрограде угол Невского и Мойки в Доме искусств, поэт, женат, беспартийный, окончил высшее учебное заведение, филолог, член коллегии издательства Всемирной литературы, возникло на основании показаний Таганцева от 6.8.1921 г., в котором он показывает следующее: «Гражданин Гумилев утверждал курьеру финской контрразведки Герману, что он, Гумилев, связан с группой интеллигентов, которой последний может распоряжаться, и которая в случае выступления готова выйти на улицу для активной борьбы с большевиками, но желал бы иметь в распоряжении некоторую сумму для технических надобностей. Чтоб проверить надежность Гумилева организация Таганцева командировала члена организации гр. Шведова для ведения окончательных переговоров с гр. Гумилевым. Последний взял на себя оказать активное содействие в борьбе с большевиками и составлении прокламаций контрреволюционного характера. На расходы Гумилеву было выдано 200 000 рублей советскими деньгами и лента для пишущей машины.

В своих показаниях гр. Гумилев подтверждает вышеуказанные против него обвинения и виновность в желании оказать содействие контрреволюционной организации Таганцева, выразив в подготовке кадра интеллигентов для борьбы с большевиками и в сочинении прокламаций контрреволюционного характера.

Признает своим показанием гр. Гумилев подтверждает получку денег от организации в сумме 200 000 рублей для технических надобностей.

В своем первом показании гр. Гумилев совершенно отрицал его причастность к контрреволюционной организации и на все заданные вопросы отвечал отрицательно.

Виновность в контрреволюционной организации гр. Гумилева Н. Ст. на основании протокола Таганцева и его подтверждения вполне доказана.

На основании вышеизложенного считаю необходимым применить по отношению к гр. Гумилеву Николаю

Станиславовичу[1] как явному врагу народа и рабоче-крестьянской революции высшую меру наказания — расстрел.

Следователь Якобсон (подпись синим карандашом.— *В. Л.*)

Оперуполномоченный ВЧК (подпись отсутствует. — *В. Л.*)

ЛИСТ № 103

(Машинопись. — *В. Л.*)

В Президиум Петроградской губернской
Чрезвычайной комиссии

Председатель Петроградского отделения Всероссийского союза поэтов, член редакционной коллегии государственного издательства «Всемирная литература», член Высшего совета Дома искусств, член комитета Дома литераторов, преподаватель Пролеткульта, профессор Российского института истории искусств Николай Степанович Гумилев арестован по ордеру Губ. Ч. К. в начале текущего месяца.

Ввиду деятельного участия Н. С. Гумилева во всех указанных учреждениях и высокого его значения для русской литературы нижепоименованные учреждения ходатайствуют об освобождении Н. С. Гумилева под их поручительство.

(Чернила. — *В. Л.*)

Председатель Петроградского отдела Всероссийского Союза писателей А. Л. Волынский

Товарищ председателя Петроградского отделения Всероссийского Союза поэтов М. Лозинский

Председатель коллегии по управлению Домом литераторов Б. Харитон

Председатель Пролеткульта А. Маширов

Председатель Высшего совета Дома искусств (машинопись. — *В. Л.*) М. Горький

Член издательской коллегии «Всемирной литературы» (машинопись. — *В. Л.*) Ив. М (неразборчиво. — *В. Л.*)

ЛИСТ № 104

(Машинопись. — *В. Л.*)

Выписка из протокола заседания Президиума Петрогуб. Ч. К.

---

[1] Исправление отчества чернилами, очевидно, сделано гораздо позднее, и, судя по тому, что исправлено не во всех случаях, — не самим следователем Якобсоном.

от 24.08.21 года:
«Гумилев Николай Степанович, 35 лет, б. дворянин, филолог, член коллегии издательства «Всемирная литература», женат, беспартийный, б. офицер, участник Петроградской боевой контрреволюционной организации, активно содействовал составлению прокламаций контрреволюционного содержания, обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, кадровых офицеров, которые активно примут участие в восстании, получил от организации деньги на технические надобности».

Верно:

(Справа приписка. — *В. Л.*)

«Приговорить к высшей мере наказания — расстрелу».

ЛИСТЫ № 105—106

(Переписка с домоуправлением по поводу квартиры, мебели и вещей в Доме искусств. — *В. Л.*).

ЛИСТ № 107

(Справка из домоуправления. — *В. Л.*)

Удостоверяю, что квартира № 2 по Преображенской улице, 5—7 в марте 19 года взята во временное пользование со всей обстановкой и инвентарем моим покойным мужем Н. С. Гумилевым у С. В. Штюрмера, а поэтому вся в ней обстановка принадлежит Штюрмеру, кроме 1303 экз. книг, принадлежат моему мужу Н. С. Гумилеву.

Анна Гумилева
22 сентября 1921 г.

ДКТ заверяет правильность подписи.
Председатель ДКТ Прокофьев
(Две печати и штамп домоуправления. — *В. Л.*)

Возникает много вопросов.

Что такое «дополнительные показания гр. Гумилева Николая Степановича»?

После каких экзекуций они были даны Гумилевым?

Почему не были опрошены его близкие, его мать, его жена, его друзья, люди, с которыми он встречался в последние дни перед арестом?

Почему не был опрошен поэт Борис Верин?

Почему не была опрошена М. Шагинян?

Как могла не заинтересовать следователя ее расписка?

Для каких нужд М. Шагинян взяла у Гумилева «заговорщицкие» деньги? Может быть, на картошку, а может быть, на 10 почтовых марок (почтовая марка стоила в то время 5000 рублей, по теперешним меркам 200 000 — это 2 рубля).

Почему не была опрошена И. Одоевцева, которая утверждает, что была настолько близка Гумилеву, что знала о нем все?

Почему в деле не содержится ни одного вопроса следователя к Гумилеву?

Почему идет муссирование фактов из показаний всего лишь одного имевшегося свидетеля, Таганцева, который к тому же сам сомневался в надежности Гумилева как возможного контрреволюционера?

Разве из показаний Таганцева не ясно, что он излагает следователю предположительную форму отношений с Гумилевым?

Почему следователь переводит предположительные обороты в утвердительные и, добавив кое-что от себя, выносит приговор?

Из записок Сергея Лукницкого

18.10.89.

При обыске у Гумилева было изъято всего 16 000 рублей. Очевидно, другим своим голодающим друзьям он раздавал деньги без расписок.

Возникает еще один вопрос: почему, приобщив к делу расписку Мариэтты Шагинян и не вызвав ее в качестве свидетеля, следователь не заинтересовался, куда девались остальные деньги?

Вызывает недоумение и то, что с каждой страницей обвинение становится все более пространным, — и Гумилев дает все более самообличительные показания; отвечает на незаданные вопросы. Вспомнил каких-то лиц, якобы приходивших к нему с поручением: бритоголового незнакомца, передавшего ему привет из Москвы, таинственную пожилую даму, которая якобы предложила Гумилеву дать информацию о походе на Индию (?! — *С. Л.*), малоизвестного поэта Бориса Верина...

Подтвердились ли эти визиты, этот бритый москвич или, может быть, пожилая дама, интересовавшаяся Индией, после успешных поисков, была обнаружена следствием, допрошена и дала показания против Гумилева?

Никто не найден, никто не допрошен.

Тогда, может быть, Герман и Шведов подтвердили показания В. Таганцева и тем самым сообщили важные улики, которые и привели к расстрелу поэта?

В деле Гумилева показаний Германа и Шведова нет. И не может быть.

КГБ СССР установил: Ю. П. Герман, морской офицер, убит погранохраной 30.5.21 года при попытке перехода финской границы, а В. Г. Шведов, подполковник, был смертельно ранен чекистами во время ареста в Петрограде 3.8.21 года. То есть обоих не было на свете еще до начала производства по делу Гумилева...

Таким образом, только показания В. Таганцева, никем не проверенные, никем не доказанные, послужили обвинением.

Следователь Якобсон в обвинительном заключении заявил, что на первых допросах Гумилев ни в чем не признавался, а потом полностью подтвердил то, что было ему инкриминировано. С чего бы это? Ведь в деле не прибавилось ни строчки. И вдруг подследственный стал признаваться... Может быть, из личной симпатии к следователю — за то, что следователь, по словам Одоевцевой, был очарован поэтом и читал на память его стихи?

«На основании вышеизложенного считаю необходимым применить по отношению к гр. Гумилеву Николаю Станиславовичу как явному врагу народа и рабоче-крестьянской революции высшую меру наказания — расстрел».

Цитирую этот невероятный документ по следующим причинам:

1. Потому что в полном его тексте в трех случаях из трех написано чужое отчество;

2. Потому что нигде в мире не было законодательства, где следователь предлагал бы суду или органу, его заменяющему, свое мнение о мере наказания.

3. Потому что заключение должны были подписать двое. Вторым — оперуполномоченный ВЧК. Подпись отсутствует...

4. Потому что пункт 3 «Положения о правах и обязанностях ВЧК» от 20.XII.1917 года гласит:

«Комиссия ведет только предварительное (разрядка моя. — *С. Л.*) расследование...»

Вопрос о том, существовал ли вообще заговор В. Таганцева или в известной мере был сфабрикован «для

острастки» Петроградским ЧК (Новый мир, 1989, № 4), не может быть освещен без открытия документов архива КГБ по всему этому делу.

В 1989 году журнал «Неман» опубликовал статью А. И. Куприна «Крылатая душа», написанную сразу после гибели Гумилева.

А. Куприн не был близким Гумилеву человеком, не все факты точны в его публикации, но, быть может, некоторая отстраненность, дистанция помогли Куприну увидеть то, что не смогли увидеть стоящие рядом — фигуру Поэта как бы во весь рост.

КРЫЛАТАЯ ДУША

В нем было нечто, напоминающее какую-то дикую и гордую перелетную птицу: маленькая, круглая сзади, голова на высокой шее, длинный прямой нос, круглый глаз со сторожким боковым взором, неторопливые движения.

Так же, как птица, любил он простор и свободу, любил не метафорически, не теоретически, а любовью духа. Его радостью были далекие пути. Я не знаю всей его жизни, но мне хорошо известно, что бывал он в Африке, где от негуса Абиссинского получил милостивые и совсем ненужные ему разрешения: охотиться на слонов и добывать золото в пределах абиссинских владений. Бывал он также на Крайнем Севере, на Вайгаче и на Новой Земле, в очарованных странах полугодовой ночи, безмолвия и северных сияний. Зимою 1919 г. я встречал его на петербургских улицах в длинном лапландском малахае из оленей-выпоротков, шитом по краям и по рукавам мелким цветным бисером. Высокий, с медлительной важной походкой, с серьезным лицом — он сам был похож на стройного, сурового экзотического жреца.

И жил он всегда в замкнутом одиночестве, как свободолюбивая, большая птица, не признающая стаи, вьющая свое гнездо в недоступных местах. О нем лично мало знали и говорили. Кому, например, было известно, что всю Великую войну Гумилев прослужил в Сумском кавалерийском полку? Я только раз услышал об этом от него, когда пришлось к слову. Он лишь коротко установил факт и не обронил ни одной подробности.

Совсем недавно я узнал, что за свою выдающуюся храбрость Гумилев был награжден Георгием трех степеней. Не сомневаюсь, что храбрость эта была сдержанна, холодна и молчалива.

Мало того, что он добровольно пошел на современную войну — он — один он! — умел ее поэтизировать.

Да, надо признать, ему не чужды были старые, смешные ныне предрассудки: любовь к родине, сознание живого долга перед ней и чувства личной чести. И еще старомоднее было то, что он по этим трем пунктам всегда готов был заплатить собственной жизнью.

Он писал стихи, насыщенные терпкой прелестью, обвеянные ароматами высоких гор, жарких пустынь, дальних морей и редких цветов, прекрасные, полнозвучные, упругие стихи, в которых краткая и емкая форма вмещает гораздо больше, чем сказано. Странствующий рыцарь, аристократический бродяга, — он был влюблен во все эпохи, страны, профессии и положения, где человеческая душа расцветает в дерзкой героической красоте. Когда читаешь его стихи, то думаешь, что они писались с блестящими глазами, с холодом в волосах и с гордой и нежной улыбкой на устах. А потом их равнодушно отдали в печать и высокомерным молчанием встретили чужое навязчивое суждение. Единственная награда заключена была в самом трепете творчества.

— Как мог Гумилев — один из самых независимых, изящных, вольных и гордых людей, каких только приходилось встречать и можно вообразить, — как мог он выносить всю нищенскую тоску, арестантскую узость, подлейшую, унизительную зависимость днем и ночью от любого вздорного случая и любого упившегося властью скота? Что перетерпела его крылатая душа в эти черные дни, обратившие великую страну в сплошной вонючий застенок?

Никогда, ни в каком заговоре он участвовать не мог. Заговор — это стая. В обезумевшей, голодной, холодной России, заведенной за пределы того, что может стерпеть человек, — заговор из пяти людей уже не заговор, а провал и катастрофа. А у Гумилева был холодный, скептический и проницательный ум. Я не думаю также, чтобы он удостоил допросчиков каких-нибудь разъяснений по поводу своего политического символа веры.

Но, знаете, сорвется иногда у человека, умеющего глубоко презирать и холодно ненавидеть, сорвется, может быть, даже совсем невольно, — всего лишь один,

быстрый, как молния, пронзительный взгляд, но в нем палач мгновенно прочтет: и то, как он микроскопически мал, гадок, глуп, грязен и труслив в сравнении со спокойно стоящей перед ним жертвой, и то... что эта бесконечная разница пребудет во веки веков. И тогда конец. Тогда неизбежна смерть избраннику, тому, кого сам Бог отметил при рождении прикосновением своего перста на возвышенную жизнь и ужасную кончину.

Но вот вопрос, где же был Горький, когда Гумилев томился на Гороховой № 2, в одиноком молчании, ожидая своей участи? Мы что-то не слыхали о Горьком в связи с расстрелом Гумилева. Или, может быть, на одном из заседаний «Всемирной литературы», где автор «Челкаша» так часто клал ноги на стол и плевал через губу, может быть, и сам Горький поймал на себе этот случайный, рассеянный взгляд в тот самый момент, когда Гумилев кристаллизовал в своем сознании художественный образ Горького в подштанниках и туфлях?

Это бывает. Невидимые стальные нити протягиваются иногда от глаз к глазам и по ним пробегают, как искры, страшные мысли, не нуждающиеся в словесной форме.

В портрете, со страстью и болью написанном Куприным, подчеркиваются такие черты личности поэта, как гордое достоинство, романтическое одиночество. Но похоже, что Куприн не считал Гумилева политически наивным человеком, скорее человеком, все видящим и сознательно уходящим от политики, понимая, что любой протест обречен. А уехать из России в такое трудное время для Гумилева значило — предать.

Г. Адамович: «13 июля 1921 года (по ст. ст.), дня за два — за три до его ареста, Гумилев в разговоре произнес слова, очень меня тогда поразившие... Гумилев с убеждением сказал: «Я четыре года жил в Париже... Андре Жид ввел меня в парижские литературные круги. В Лондоне я провел два вечера с Честертоном... По сравнению с предвоенным Петербургом, все это „чуть-чуть провинция“».

Я привожу эти слова без комментария, как свидетельство «мужа». В Гумилеве не было и тени глупого русского бахвальства: «У нас, в матушке-России, все лучше». Он говорил удивленно, почти грустно».

Марина Цветаева: «Есть у Гумилева стих — «Мужик»...

В гордую нашу столицу
Входит он — Боже спаси! —
Обворожает Царицу
Необозримой Руси...

Вот, в двух словах, четырех строках, все о Распутине, царице, всей той туче. Что в этом четверостишии? Любовь? Нет. Ненависть? Нет. Суд? Нет. Оправдание? Нет. Судьба. Шаг судьбы.

Вчитайтесь, вчитайтесь внимательно. Здесь каждое слово на вес крови.

В гордую нашу столицу (две славных, одна гордая: не Петербург встать не может) входит он (пешая и лешая судьба России!) — Боже Спаси! — (знает: не спасет!) обворожает Царицу (не обвораживает, а именно по-деревенски: обворожает!) необозримой Руси — не знаю, как других, меня это «необозримой» (со всеми звенящими в нем зорями) пронзает — ножом.

...Дорогой Гумилев, есть тот свет или нет, услышьте мою, от лица всей Поэзии, благодарность за двойной урок: поэтам — как писать стихи, историкам — как писать историю.

Чувство Истории — только чувство Судьбы. Не «мэтр» был Гумилев, а мастер боговдохновенный, и в этих стихах уже безымянный мастер, скошенный в самое утро своего мастерства — ученичества, до которого в «Костре» и окружающем костре России так чудесно — древесно! — „дорос“».

Из дневника Лукницкого

12.04.1925. Воскресенье

АА рассказывает, что сегодня ночью она видела сон. Такой: будто она вместе с Анной Ивановной, Александрой Степановной, с Левой у них в доме на Малой, 63. Все по-старому. И Николай Степанович с ними... АА очень удивлена его присутствием, она помнит все, она говорит ему: «Мы не думали, что ты жив... Подумай, сколько лет! Тебе плохо было?» И Николай Степанович отвечает, что ему очень плохо было, что он много скитался, в Сибири был... где-то... АА рассказывает, что собирается его биография... Николай Степанович отвечает: «В чем же дело? Я с вами опять, со всеми... О чем же говорить?..»

СОДЕРЖАНИЕ

Вера
ЛУКНИЦКАЯ

НИКОЛАЙ
ГУМИЛЕВ

Жизнь поэта
по материалам
домашнего архива
семьи Лукницких

Заведующая редакцией А. М. Березина
Художник Б. Н. Осенчаков
Художественный редактор И. В. Зарубина
Технический редактор Л. П. Никитина
Корректор В. В. Безымянская

ИБ № 5573

Сдано в набор 08.05.90. Подписано к печати 13.11.90. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 2. Гарн. литерат. Печать высокая. Усл. печ. л. 15,96+вкл. 2,52. Усл. кр.-отт. 21,42. Уч-изд. л. 19,07. Тираж 200 000 экз. Заказ № 425. Цена 1 р. 40 к.

Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

Вера Лукницкая

Л82 Николай Гумилев: Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких.— Л.: Лениздат, 1990.— 302 с., ил.

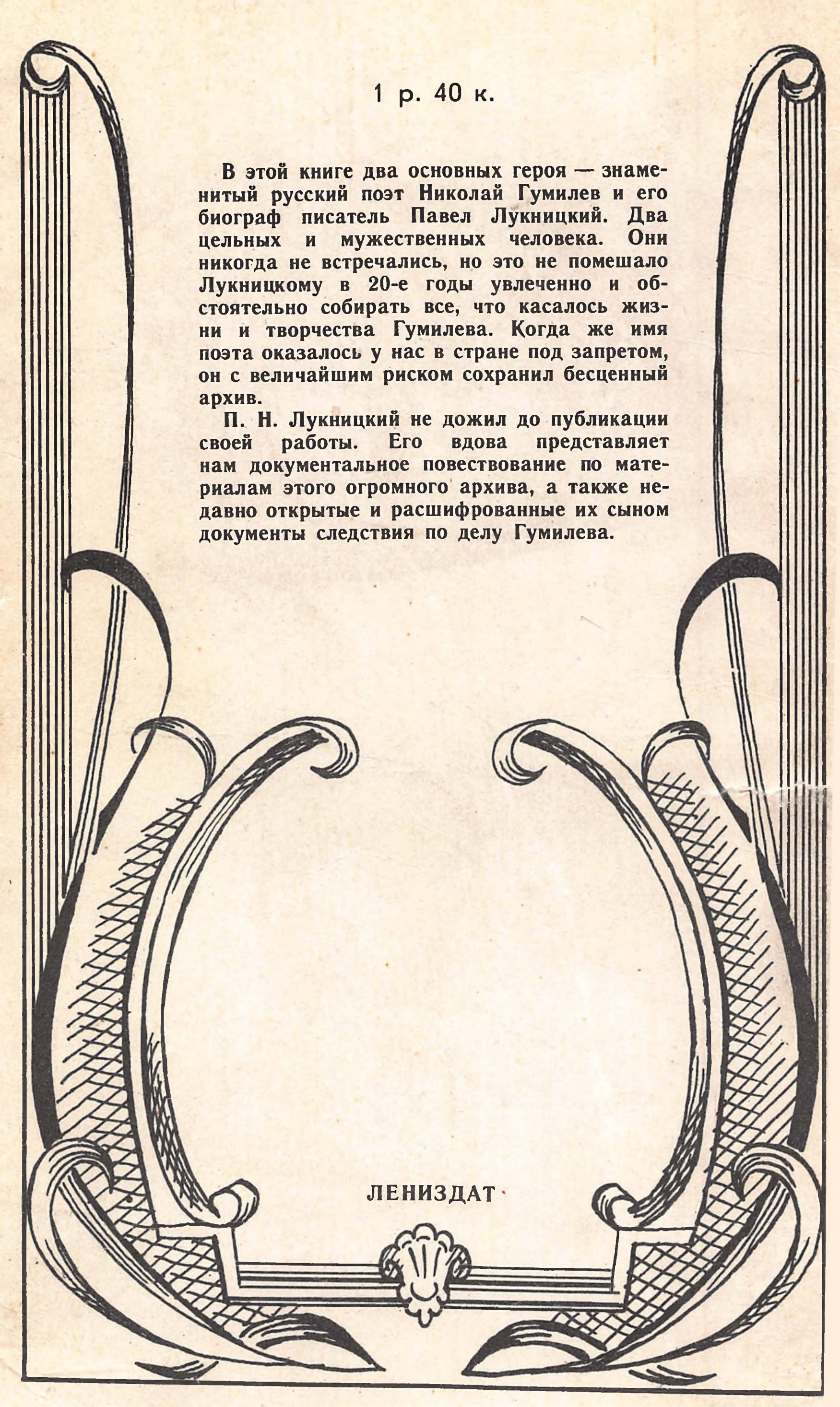
5-289-00908-6

Автор дает возможность широкому читателю наиболее полно познакомиться с жизнью и деятельностью русского поэта — одной из центральных фигур литературного мира начала века.

Л $\frac{4603020101-224}{М171(03)-90}$ 134—91 без объявл. 47



П. Н. Лукницкий.
Снимок, сделанный А. А. Ахматовой
в 1927 году.



1 р. 40 к.

В этой книге два основных героя — знаменитый русский поэт Николай Гумилев и его биограф писатель Павел Лукницкий. Два цельных и мужественных человека. Они никогда не встречались, но это не помешало Лукницкому в 20-е годы увлеченно и обстоятельно собирать все, что касалось жизни и творчества Гумилева. Когда же имя поэта оказалось у нас в стране под запретом, он с величайшим риском сохранил бесценный архив.

П. Н. Лукницкий не дожил до публикации своей работы. Его вдова представляет нам документальное повествование по материалам этого огромного архива, а также недавно открытые и расшифрованные их сыном документы следствия по делу Гумилева.

ЛЕНИЗДАТ